



ОЛЕГ ШМЕЛЕВ

# ТРИ ЧЕРЕПАХИ





Scan Kreyder - 27.05.2018 - STERLITAMAK



---

ОЛЕГ ШМЕЛЕВ

**ТРИ  
ЧЕРЕПАХИ**

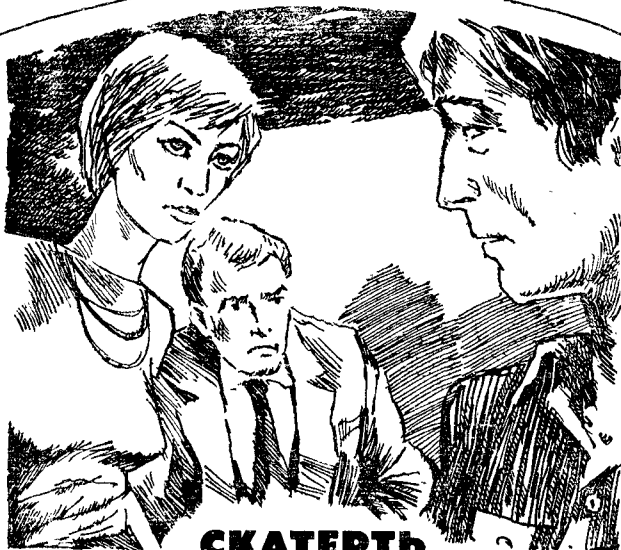


---

МОСКВА  
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ  
1984

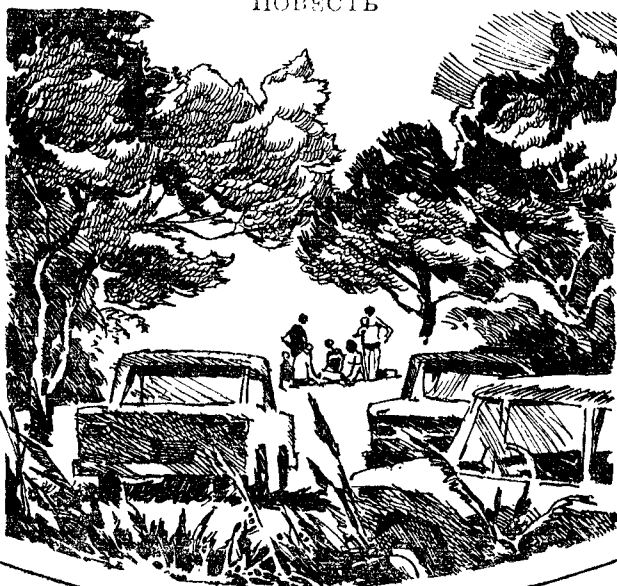
84P7  
III 72

Ш  $\frac{4702010200-092}{078(02)-84}$  Без объявл.



# **СКАТЕРТЬ НА ТРАВЕ**

ПОВЕСТЬ



Всякий бы признал: картина была великолепна. Все это походило на сказку, но не для детей, а исключительно для взрослых.

На круглой полянке, окаймленной нежно-зелеными кустами орешника, на самой середине ее, расстелена на траве скатерть, даже и накрахмаленная, в синюю и красную клетку. На скатерти стоят бутылки — водка, коньяк, ликер. На бумажных белых тарелочках — что угодно для души: семга и осетрина, икра черная и колбаса копченая. А вокруг скатерти сидит прекрасно настроенная компания, семь человек: три красивые молодые женщины и четверо мужчин, из которых красивым и молодым можно считать только одного, но зато остальные три обладают иными, не менее ценными достоинствами. Сидят, как полагается, попарно, и вроде бы седьмой — лишний, но это нисколько не нарушает общей гармонии. Ее нарушает разве что разнокалиберность стаканчиков, из которых вкушается нектар, то есть упомянутые выше водка, коньяк и ликер.

Так как, выражаясь трафаретно, вокруг буйствует июнь, а идет только пятый час пополудни и на небе ни облачка, то на полянке жарко. Женщины одеты в разноцветные купальные костюмы, молодая кожа атласно блестит на солнце, и на них приятно смотреть. Мужчины в плавках, и на мужчин можно не смотреть, потому что в этом мало интересного, однако женщины смотрят на них с удовольствием, а может быть, и с известной любовью, ибо они достойны женского внимания. Лишь один одет в том, в чем приехал, — коричневые вельветовые брюки и синяя рубаша с закатанными по локоть рукавами. Он — седьмой лишний, и это выглядит несколько странно, потому что именно он молод и неслащаво красив. На него женщины часто бросают более чем нежные взоры.

Для купальных костюмов есть в числе прочих еще и тот повод, что совсем рядом, в тридцати шагах, течет неширокая, но очень глубокая речка, которую у горожан принято называть не по ее настоящему имени, а

просто Маленькой, в отличие от Большой, в которую она впадает и которая течет через город.

Этот берег Маленькой крут и высок, обрыв этажа в два, но под обрывом у воды тянется узкой полоской песчаный пляж, а в обрыве протоптаны наискосок пологие спуски-лесенки. За речкой на том берегу — необозримые ровные дали, и оттуда ветер приносит душистые охапки неведомых в городе запахов: идет сенокос.

А на этом берегу, отступя от речки подальше, но не настолько, чтобы у воды не было слышно свиристенья, шелканья и чиликанья озабоченных птиц, которые, наверное, докармливают своих птенцов первого выводка, дремлет под солнцем густолистый лес.

Через два дня, в субботу, здесь будет людское столпотворенье и гам, но сегодня среда, рабочий день, и поэтому вокруг ни души.

Одна из женщин, блондинка с удивительно голубыми глазами, сказала низким голосом своему соседу, очень упитанному брюнету лет сорока, давно начавшему лысеть:

— Виль, вруби что-нибудь веселенькое.

Брюнет дожевал то, что было у него во рту за жирной щекой, поднялся и, осторожно ступая, будто под ногами была не июньская бархатная трава, а ржавые железные пробки и битое бутылочное стекло прошлогодних пикников, пошел на другую поляну, где стояли с распахнутыми дверцами три «Жигуленка» — синий, белый и гороховый. Он не глядя поманипулировал ловкими толстыми пальцами на панели синего «Жигуленка», и над полянами заскакали барабаны. Музыка была веселенькая, как и просила блондинка.

— Потише! — крикнул молодой и красивый, тот, что был не в плавках, а в брюках и рубахе.

Виль убавил звук и вернулся к скатерти. Блондинка встала и оказалась выше брюнета на полголовы.

— Ой, ноги затекли. — Она сделала мученическую гримасу, но тут же улыбнулась. — Потанцуем.

Виль хотел ее обнять, но она легонько оттолкнула.

— Это же рок.

Они недолго потоптали молодую траву и сели на свои места, выставив зеленые пятки.

— Жарко, — сказала блондинка. — Давайте выпьем.

Налили и выпили. Все, кроме молодого и красивого.

— Ты чего это? — спросил у него Виль.

— Не идет. Наверстаю.

— Купаться пора, — сказала блондинка.

Другая женщина, с глазами чуть менее голубыми, с коротко стриженными пепельными волосами, захлопала в ладоши и радостно воскликнула:

— Ура, ура, ура, идем купаться!

Мужчина, сидевший напротив нее в паре с яркой темноволосой женщиной, похожий упитанностью, движениями и еще чем-то неуловимым на брюнета Виля, хотя и был рыжеват, поглядел на нее с усмешкой и сказал:

— Ты что, Манюня, воды не видала? Не мылась никогда?

Она не рассердилась, несмотря на то, что «Манюня» уж никак ей не подходило. Это все равно что назвать Манюней какую-нибудь длинноногую манекенщицу, выхаживающую журавлиным шагом на помосте перед самой изысканной и понимающей публикой. Ее безмятежно-беспечные глаза имели всегда одинаковое выражение и смотрели одинаково на все — и на людей, и на вещи, но зато всегда одинаково ласково.

Так она посмотрела и на красивого молодого человека и спросила весело:

— Славка, а ты почему не переоденешься? Не хочешь купаться?

Он отмахнулся:

— У меня плавок нет. Не захватил.

— Можно и без ничего, девочки не возражают, — так она пошутила и сама засмеялась.

Слава бросил на нее короткий взгляд, который можно было расшифровать так: «Эх ты, Манюня! Зачем пошлить?» Но она не расшифровала, она еще раз пошутила:

— А ты возьми у Володи, у него запасные есть. — И рассмеялась еще пуще. Она подразумевала совершенно несоразмеримые габариты Славы и толстого Володи.

— Дура, чего ты ржешь? Я ему и дам, у меня японские, безразмерные, сжимаются, — сказал Володя.

Она опять не рассердилась, а сидевший рядом с нею мужчина, которому полагалось бы рассердиться, казалось, ничего не слышал. Вообще он как бы отсутствовал, на лице его блуждала некая рассеянная улыбка, словно он вспоминал о чем-то приятном. Но на самом



деле он был просто пьян, гораздо пьянее всех остальных. По сравнению с Вилем и Володей он выглядел человеком нормального телосложения, но имел тот существенный недостаток, что ему можно было дать все шестьдесят.

Слава, располагавшийся по левую от пьяного руку, негромко посоветовал ему:

— Ты бы, Александр Антоныч, окунулся. Освежает. — И повернулся к Володе. — Машка дело брякнула, дай попробую.

Они с Володей пошли к машинам, и минуты три спустя Слава явился пред ясными прекрасными очами молодых женщин в пестрых плавках. Он был весь обвит выпуклыми жгутами-мускулами и строен.

— Ах! — как бы удивляясь, воскликнула Манюня. Маша и больше ничего не сказала, только вздохнула.

И в лад ей вздохнуло в воздухе, и лес встряхнул в своих кудрях взрослых птиц и взъерошенных птенцов.

Но Слава не обратил на это никакого внимания. Он громко сказал:

— Еще по одной — и купаться! — Видно было, что он здесь законодатель.

Слава сел на свое место, по левую руку от Александра Антоновича, и спросил тихо, для него одного:

— С тебя еще не съехало?

Тот отрицательно покрутил головой, по-прежнему неопределенно усмехаясь.

Дальше Слава говорил словно чревовещатель — у него даже губы не двигались:

— Глупо. Что будет с Леной?

Александр Антонович поглядел на него с таким наклоном головы, будто у него болела шея, и впервые вымолвил несколько слов кряду:

— Конфискация? У тебя еще много есть.

— Но не будет, если ты не очухаешься, — зло ответил Слава.

Тут в их беседу вмешалась Маша-Манюня, как видно, все-таки слышавшая тихий разговор:

— Давайте, мальчики, конфискуем у Нинки «Наполеона». — Она показала пальцем на более яркую блондинку, перед которой стояла большая черная бутылка коньяка.

— Машка, ты уже хороша, — лениво возразил Слава. — Не выступай.

— Подумаешь, конфискация! — Она пожала плечиком. — У Вили дома этих пузатых бутылок — в кегли играть можно.

Рыжий Володя крикнул своим грубоватым барионом:

— Купаться, черт вас побрал! — И нежно добавил для своей яркой темноволосой соседки: — Пойдем, Танюша?

Слава, закулив сигарету, молвил:

— Землянички поискать, что ли? — И медленно побрел в глубь орешника, огибая стоявшие на поляне автомобили.

Все встали. Манюня взяла безразличного Александра Антоновича под руку и повела его по тропинке вправо — тропинка эта, как и остальные, выводила к реке, но чуть дальше, метров за сто.

Виль рядом с Ниной и Володя в обнимку с Танюшей пошли прямо.

Они спустились на узкий песчаный пляж. Володя поболтал ногой в воде и закричал:

— О-го-го-го-го!

— Ты что, дурной? — возмутилась Танюша.

— А ты сама попробуй.

Она окунула в воду руку.

— Правда, как лед.

Они не удивились, что вода холодная, хотя жара стояла, пожалуй, градусов под тридцать. Все в городе знали, что Маленькая река рождается из ключей и вода в ней всегда намного холоднее, чем в Большой. Весна этим годом выдалась поздняя, и понятно, что Маленькая еще не успела прогреться.

Четверо вернулись к скатерти-самобранке и продолжили застолье.

Никто не заметил, сколько прошло времени — может, минут двадцать, — но вдруг с той стороны, куда удалились Александр Антонович и Манюня, донесся громкий вскрик. Они прислушались, но все было тихо.

А еще минуты через две на тропинке появилась Манюня. Она была растеряна и дышала тяжело.

— Скорей, там Саша... — охрипшим голосом сказала она, подходя. — Ему плохо.

Вскочивший Виль потряс ее за плечи.

— Что с ним?

— Не знаю. Упал и не дышит, — ответила Манюня.

— Где он?

— Там, на пляже, у воды! — Ноги у Манюни неожиданно подкосились, и она мягко шлепнулась на траву.

— Черт, нажрется всегда как свинья, — в сердцах сказал Виль и с раздражением обернулся к Нине и Танюше: — Да помогите же вы ей!

Нина виновато развела руками:

— А что мы должны делать?

Но Танюша оказалась находчивее. Взяв из-под куста бутылку «Боржоми» и умело открыв ее, она прямо из горлышка облила лицо Манюни. Та села на траве и долго терла глаза, тихо постанывая.

— Идти можешь? — спросил у нее Володя.

— Могу-у-у, — простонала Манюня.

— А где Славка? — не обращаясь ни к кому в отдельности, спросил Виль.

И, словно услышав его вопрос, на поляне, где стояли автомобили, появился Слава. Последние метры он преодолел бегом.

— Что случилось? — Он сразу оценил ситуацию. — Где этот старый алкоголик?

— Она говорит, — Виль кивнул на Манюню, — на пляже.

— А ну вставай, — приказал Слава.

Он взял ее под одну руку, Виль под другую, и вся компания поспешила к реке.

Манюня привела их на пляж, на то место, где Маленькая делала крутой изгиб.

На песке были отпечатки босых ног — их, впрочем, сразу затоптали так, что похоже стало, будто пляж перекопали лопатой. Но Александра Антоновича на этом пляже не оказалось.

— Ты уверена, что здесь? — спросил Слава.

Манюня показала пальцем в угол, где в пляж упиралась отвесная глиняная стена обрыва.

— Он тут лежал.

Долго они молчали, шестеро в купальных одеяниях, молчали, не глядя друг на друга, и за время этого молчания совершенно протрезвели.

Наконец Слава спросил у Манюни:

— Он плавать умеет?

— Откуда я знаю?! — визжащим голосом ответила она.

— Может, в лесу гуляет? — предположил Виль. — А может, она путает, может, он в другом месте лежит?

Они обшарили все пляжи, потом ходили по лесу и громко звали Александра Антоновича. Но он не откликнулся.

На этом кончилась сладкая сказка для взрослых. Начиналась горькая строгая проза.

Вернувшись к машинам, все быстро оделись. Виль, заткнув пробкой недопитую черную бутылку, отдал ее Нине. Из остальных бутылок вылил остатки на траву, побросал пустую посуду на скатерть, завязал скатерть углами крест-накрест со всем, что на ней было, и положил разноцветно промокший узел в багажник своего «Жигуленка», сказав Нине мимоходом: «Выбросим по пути».

Потом Слава велел женщинам садиться в машины, а Виля и Володю отозвал в сторону и спросил:

— Что будем делать?

— Надо заявлять в милицию, — сказал Виль.

— Это ясно. Кто будет заявлять?

— По-моему, женщин нечего мешать, — сказал Володя. — Пойдем втроем.

Слава сказал:

— Мне не с руки. Я же нездешний. Начнутся вопросы...

— Брось трепаться! — неожиданно взорвался Виль, и Слава сразу потерял вид законодателя.

— В чем я треплюсь?

— Тебя у нас каждая собака знает. Ты этому Перфильеву лучший друг... Ты его и сюда сам привез... Чего ж юлишь?

Слава посмотрел на Вилю в упор.

— Ладно. Тогда едем все.

Теперь настала очередь юлить Вилю.

— Не могу же я Нинку в милицию тащить...

— Верно, — поддержал его Володя.

— Что же предлагаете? — спросил Слава. — Как объясним? Мол, вчетвером мальчишник устроили? Кто поверит?

— Зачем? — возразил Виль. — Есть Манюня. А у нее никого, одна бабка.

— Значит, всё на одну Манюню валим?

— Она с ним была. И она же его последняя видела. Это важно, — со значением уточнил Виль.

Слава немного подумал, опустив голову.

— Ну что ж, пусть будет так.

Виль сел за баранку в синий автомобиль, Володя — в гороховый, Слава — в белый, на котором был московский номер. В таком порядке они и тронулись.

Слава посмотрел на притихшую Манюню-Машу, сидевшую рядом.

— Проверь, есть там деньги? Все равно пропадут.

Он имел в виду одежду Александра Антоновича — синий пиджак и серые брюки, лежавшие под рубашкой на заднем сиденье. Манюня перегнулась, взяла пиджак.

В левом внутреннем кармане она нашла служебное удостоверение, расческу в чехольчике из тисненой кожи и блокнот в переплете из зеленого сафьяна. В блокноте между страницами лежала пачка новеньких пятидесятирублевых.

Слава взял блокнот.

— Про это молчок.

Манюня прокричала ему в ухо:

— Сволочь!

Слава выдернул из блокнота деньги, правой рукой, держа левую на руле, открыл сумочку Манюни, сунул в нее пачку, защелкнул и, не глядя на Манюню, ударил ее костяшками кисти по губам, ударил больно, не шутя.

Машина вильнула на узкой и ухабистой лесной дороге, послышался какой-то хрустальный хруст, и Слава резко затормозил. Выйдя и осмотрев капот и радиатор, он чертыхнулся: его угораздило въехать левой фарой в сук, торчавший из ствола высокой ели. Фара вдребезги, лампа тоже. Но в целом пустяки. Этот сук мог бы торчать и на уровне ветрового стекла...

Слава сел за руль, сунул в карман лежавший на сиденье блокнот, и они поехали дальше.

Перед выездом на шоссе он сказал задумчиво и как будто с догадкой, только что пришедшей на ум:

— Слушай, милая, а ты его не купнула?

Манюня плакала и потому не сразу поняла вопрос, а когда поняла, судорожно всхлипнула и попыталась открыть дверцу, но Слава сжал ее руку, дернул на себя так, что Манюня оказалась к дверце спиной.

— Ты и правда дура. Шутки не понимаешь.

— Останови, я выйду, — уже совсем трезвым голосом устало попросила она.

— Нет, милая, едем в милицию. Ты его последняя видела. Ты.

Манюня не уловила в его словах ничего особенного и, кажется, успокоилась, но через минуту снова заплакала, уткнув лицо в ладони.

## *Глава II*      || **СОМНЕНИЯ ИНСПЕКТОРА СИНЕЛЬНИКОВА**

Когда старший инспектор угрозыска Малинин, возглавлявший дежурившую в те сутки оперативную группу, выслушал кратко изложенную дежурным по городу суть происшедшего на берегу реки Маленькой, он автоматически прикинул, что хорошо бы тут же, по свежим следам, подключить к делу Лешу Синельникова. Они были не то чтобы закадычными друзьями, но относились друг к другу с симпатией. Синельников работал инспектором в отделе розыска, и ему, как пошучивал Малинин, везло на утопленников: почти все заслуживавшие внимания случаи в последние года два-три поручались именно Леше.

Переняв заявителей — троих разномастных мужчин и не совсем трезвую девицу — с рук на руки от дежурного по городу, Малинин пригласил их в комнату опергруппы и позвонил Синельникову. Хотя шел уже восьмой час вечера, тот оказался на работе.

— Алексей Алексеич, припозднились вы, — сказал Малинин — Занят?

— Это ты, Коля? Звоночек один жду, да то ли будет, то ли нет. Там какие-то домашние мероприятия. А ты эт скуки звонишь?

— Тут происшествие. Утонутие. Наверно, тебя не минует. Не хочешь по горяченькому?

Синельников вздохнул.

— Ну что ж, заменим проблематичное свиданье на готовое утонутие. Тоже неплохо. Спускаюсь во двор.

Малинин, положив трубку, мельком подумал: если бы присутствовавшие в комнате услышали слова Синельникова, они могли бы решить, что он законченный



циник и, может быть, тут, в угрозыске, все такие, и, между прочим, сильно бы ошиблись. Да и это «утонутие» нетрудно всерьез принять — мол, хороши грамотеи...

Осмотр полянок, где всего час назад веселилась тесная компания, обследование пляжа, откуда непонятным образом исчез Александр Антонович Перфильев, ничего не дали, если не считать тюбика губной помады, подобранной Синельниковым на поляне, где прежде стояли автомобили.

Участники пикника рассказывали, как они здесь отдыхали, кто где сидел, кто куда ходил, упомянули даже, что на Александре Антоновиче были черные плавки в голубую полоску, — рассказывали правдиво, умалчивая, однако, о том, что с ними были еще две женщины, Нина и Таня. Но Синельников явно смутил их, когда нашел в траве тюбик.

Держа его двумя пальцами, он посмотрел на Манюню и спросил:

— Вы красите губы?

— Раньше пробовала. Сказали — не идет.

Губы у нее были цвета спелой малины, таким никакая краска действительно ни к чему.

Тюбик был темно-бордовый, с золотым вензелем на крышке. Синельников, чтобы не оставлять своих впечатлений, не хотел его раскрывать.

— Помада, надо полагать, того же цвета, что и футлярчик? — снова спросил он Манюню. — Вам, по-моему, такая не подходит.

— Танька только такую любит, — скороговоркой объяснила Манюня.

Синельников заметил, что при этих словах рыжеватый участник пикника искоса и недобро взглянул на девушку.

Так, значит. Компания рассказывает не всю правду, что-то они скрывают. Синельников отметил это про себя как первый сомнительный пункт. Это было важно, но для него гораздо важнее был тот факт, что Манюня проговорила — нечаянно и, кажется, совершенно не представляя, какие выводы способны делать другие люди из случайно, произвольно вырвавшихся слов. Можно было биться об заклад, что эта красивая девушка не умеет сначала думать, а уже потом говорить. Для сыщика такие личности — настоящий клад, но, встречаясь

с подобными людьми по долгу своей службы, Синельников никогда не мог расценивать эту далеко не многим присущую черту характера — безоглядную непосредственность — только с чисто профессиональной стороны. Такие личности, хоть убейся, нравились ему.

Синельников положил помаду в белый конверт и отдал его эксперту научно-технического отдела, уже отснявшему все, что надо было отснять.

Потом с собакой-ищейкой прочесали кустарник и лес, но ничего и никого не нашли.

В половине десятого, на закате, вернулись в управление внутренних дел. Малинин доложил дежурному о результатах осмотра места происшествия, а потом они с Синельниковым позвонили начальству, и Синельников получил приказ принять это дело к дознанию.

Он взял вещи исчезнувшего (утонувшим он Александра Антоновича пока считать не желал), пригласил всех четверых заявителей к себе в кабинет, и, еще не предложив рассаживаться и оглядев их понурые фигуры, сказал:

— Вы устали и переволновались, я понимаю. Но необходимо сейчас же кое-что оформить и закрепить. Надеюсь, вы тоже меня поймете.

Заметно лысеющий брUNET, которого на поляне называли Вилем, слегка робея, спросил:

— Нельзя ли позвонить домой? Семья волнуется, я обещал быть в восемь.

— Пожалуйста.

Синельников сложил костюм, брюки и рубаху исчезнувшего Перфильева на маленький столик.

Виль говорил с женой недолго, сказал, что задерживается на работе.

Когда он положил трубку, Синельников обратился к мужчинам:

— Вы все трое были за рулем?

Он мог бы и не задавать этого вопроса. Все трое сказали «да».

— И там довольно крепко выпили?

Мужчины пожали плечами.

Синельников позвонил по внутреннему телефону.

— Павел Петрович, это Синельников. Надо тут проверить на алкоголь... Да, у меня в кабинете... Что? А, трое... Да нет, самую простую, остальное необязательно.

Виль просительно приложил руку к груди:

— Простите, не знаю имени-отчества... Но нельзя ли без этого? Мы вас очень просим... Мы же не нарушали... Мы же сами к вам приехали... Если б все в порядке, никто бы нас не задержал, уверяю вас... Я лично езжу десять лет, и ни одного замечания...

— Вы не беспокойтесь, — с легкой усмешкой сказал Синельников. — Я это не для ГАИ. Порядок требует.

Потом Синельников связался со справочным бюро и попросил справку о Перфильеве Александре Антоновиче — обычные данные, какие содержатся в бюро о всех обычных гражданах: адрес, год и место рождения. Место работы и должность он уже знал из служебного удостоверения. Что входило в круг его обязанностей, надо завтра выяснить. Фамилия Перфильев показалась Синельникову знакомой, но он не мог вспомнить откуда.

Павел Петрович, судебно-медицинский эксперт, пришел со своим приборчиком, мужчины подышали в него, и выяснилось, что двое — Виль и рыжеватый, которого звали Володя, — принимали алкоголь, а третий, красавец Слава, не брал в рот ни капли спиртного.

Синельникова это несколько удивило, но он постарался не показывать вида, только пошутил, обратившись к Виле и Володе:

— У вас есть прекрасный пример для подражания.

Оба через силу улыбнулись, а Слава объяснил серьезно:

— Я тоже не прочь, но мне к утру надо быть в Москве, а это путь неблизкий.

— Вы разве не здешний?

— Можно считать — наполовину. — Слава хотел добавить еще что-то, но Синельников остановил его:

— Ну это потом. Займемся формальностями, не ночевать же нам здесь. Вас, товарищи мужчины, попрошу посидеть в коридоре.

Мужчины вышли, а Синельников встал из-за стола и, сев на стул у стены рядом с девушкой, спросил:

— Вас как зовут?

— Свои — Манюня.

— А не свои?

— По паспорту — Мария Федоровна Лунькова.

Она отвечала неохотно, но без всякого намека на неприязнь. Перед Синельниковым был безмерно уставший, будто изверившийся во всем на свете человек, и

это никак не вязалось с яркой голубизной глаз и тугими выпуклыми губами.

— Вам сколько лет?

— Двадцать один, — уже с некоторым вызовом сказала она, открыла лежавшую на коленях сумочку, вынула пачку зеленых пятидесятирублевых и протянула Синельникову. — Возьмите. Мне не надо.

— Чьи? — Принимая деньги, он не смог скрыть, что это для него неожиданно. И мимолетно обратил внимание на ее пальцы: ногти совсем короткие, словно она их обгрызала, и вместо маникюра какой-то странно-неровный коричневатый налет. Это не соответствовало, так сказать, общему облику.

— Александра Антоновича Перфильева.

— Он сам их вам дал?

— Славка дал.

— Кто это — Славка?

Она кивнула на дверь.

— Этот самый, молодой, красивый. Они в пиджаке лежали. И еще, гад, шуточки шутил: купнула я Сашу.

Синельников на мгновение испытал давно знакомое ощущение, чем-то схожее с чувством человека, который идет по тропинке в незнакомом лесу, упирается в развилку, не знает, по какой тропе идти дальше, чтобы выбраться к жилью, и вдруг видит шагающего навстречу путника.

— Уточним. Этот Славка взял их из пиджака Перфильева и отдал вам?

— Да.

— Он знал, что там были деньги?

— Конечно, знал. Они же дружки. Он думает, меня за червонец купить можно, сам говорил, а я...

Синельников развернул пачку, как карты, веером. Штук двадцать, не меньше. Тысяча рублей...

— Пойдите, Мария. — Сейчас Синельникову сообщать надо было очень быстро. — А в чем они лежали? Где бумажник?

— Саша-папаша бумажников не носил. Просто в блокноте.

Синельников подошел к маленькому столику, положил на него деньги и начал проверять карманы пиджака, но они были пусты.

— Блокнот ищите? — спросила Манюня. — Он у Славки.

— Как его фамилия? — на ходу, по пути к двери, спросил он.

— Коротков, если не врет.

Синельников машинально взглянул на часы. Он говорил с Марией, проводив мужчин в коридор, не более трех минут. За стены управления они уйти не могут. Но три минуты — достаточный срок, если кто-нибудь захочет уничтожить кое-что, особенно если это кое-что — простая бумажка. Нескладно получилось, но он не маг и не волшебник, всего предугадать нельзя, а обращаться с заявителями как с арестованными он не имел права.

Открывая дверь, Синельников уже был уверен, что дело тут нечисто.

— Коротков, войдите, — позвал он.

Тот был спокоен, но лицо его выражало некую настороженность.

Синельников, прикрыв за ним дверь, сказал самым будничным тоном, не придавая своим словам никакого особого значения:

— У Перфильева в пиджаке был блокнот. Дайте мне его, пожалуйста.

Пока Слава, задумавшись, доставал из кармана своих плотно обтянутых брюк блокнот в зеленом сафьяновом переплете, Синельников все же успел заметить, что он этого не ожидал.

— Садитесь пока, Коротков. Я отпущу ваших товарищей, а потом мы с вами поговорим.

— А мне? — подала голос Манюня.

— Вас дома ждут?

— Дома бабушка одна. Она привыкла. Могу хоть до утра.

— Тогда посидите.

Слава Коротков сел в противоположном от Манюни углу и смотрел на нее не мигая. Она повернулась к нему боком.

Синельников знал, что на сегодня — и даже хоть до утра, как выразилась Манюня, ему хватит и того узелка, который Манюня дала ему в руки. Поэтому он позвал Вилю и Володю и записал только самые необходимые сведения.

Вильгельм Михайлович Румеров — главный инженер автобазы № 2. 1942 года рождения. Женат, двое детей. Адрес такой-то, телефоны — домашний и рабочий — такие-то.

Владимир Иванович Максимов — директор кинотеатра «Луч». 1945 года рождения. Женат, есть сын десяти лет (как он объяснил, жена и сын в данный момент отдыхают на Южном берегу Крыма). Адрес, телефоны...

Синельников позвонил в проходную, попросил постоянного пропустить товарищей Румерова и Максимова, а им сказал, что вызовет их для беседы в ближайшие дни. Оба покинули кабинет с величайшей благодарностью к товарищу инспектору. Она была настолько велика, что ни тот, ни другой не сказали «до свидания» ни Манюне, ни Славе.

Прежде чем начать разговор с оставшимися, Синельников позвонил дежурному по городу и попросил: если поступит заявление от родных Перфильева, не сообщать пока, что он, возможно, утонул. Утро вечера мудренее.

Манюня сказала тихо, когда Синельников положил трубку:

— Да некому там заявлять.

— Почему же так? А жена?

— Она еще в семьдесят девятом умерла.

— И больше никого нет?

— У него только дочка, мне ровесница. А он у меня по две ночи ночевал. Чего ей за шнур хвататься?

Синельников понял, что на языке Манюни это означало хвататься за телефон. Положительно, она в своей откровенности не знала предела.

Полистав блокнот и убедившись, что среди его страниц, густо заполненных адресами и телефонами, нет ни одной вырванной, Синельников сказал:

— Это не вопрос, но все же... — Он помолчал, подыскивая подходящую формулировку. — В общем, я кое о чем вас спрошу, и мы кое-что запротоколируем.

Он положил перед собой несколько синеватых разлинованных листов, взял ручку и заговорил казенным языком:

— Товарищ Коротков, почему деньги, лежавшие в кармане пиджака, принадлежавшего Перфильеву, вы отдали Луньковой?

Твердым голосом тот ответил:

— Ничего я ей не отдавал. Она сама и пиджак взяла, он на заднем сиденье валялся, сама и деньги взяла.

— Что ты врешь! — приподнявшись со стула, крикнула Манюня.



— Спокойно, — остановил ее Синельников. — Хорошо, Коротков. В таком случае зачем вы взяли блокнот Перфильева?

Он ответил, как бы злясь на самого себя:

— Не знаю. Просто так, сунул в карман, и все. Механически.

Тут позвонили из справочного бюро. Синельников записал: Перфильев Александр Антонович, 1931 года, родился в Смоленской области, проживает на улице Белинского, дом 6, квартира 28, телефон 3-49-49.

— Между прочим, вам сколько лет? — обратился он, отложив ручку, к Короткову.

— Двадцать девять.

— Давно дружите с Перфильевым?

Немного подумав, Слава ответил:

— Года два. Может, чуть больше.

— Перфильеву пятьдесят один. Что вас связывало?

Слава усмехнулся.

— Мало ли. — И, кивнув на Манюню, добавил: — Хотя бы вот она.

Синельников посмотрел на часы — было без пятнадцати одиннадцать. Он быстро вписал в лист протокола свои вопросы и полученные от Короткова ответы и попросил Короткова прочесть и расписаться в том, что все записано правильно. Тот охотно это сделал.

— А сейчас вот что, — сказал Синельников. — Вы, Лупькова, где живете?

— Да тут рядом, на Ямковской.

— А вы? — обернулся он к Короткову.

— В гостинице «Юность».

— Кстати, я у вас документы не спрашивал. Паспорт можете показать?

— У администратора он, в «Юности».

— Тогда сделаем так. Сегодня уже поздно, спать пора. Попрошу вас обоих быть у меня утром в девять. Пропуск я закажу. А сейчас подьем к гостинице, я там живу рядышком. Если не возражаете, конечно...

Слава не возражал. Они вышли из управления. Светлый «Жигуленок» Славы стоял на улице против проходной. Манюня попрощалась и быстро зашагала по пустынному тротуару, четко стуча своими высокими тонкими каблуками.

По пути к гостинице Синельников договорился с Коротковым, что тот попросит у администратора свой па-

спорт на минутку, — мол, придрался инспектор ГАИ, — а он, Синельников, подождет его в машине. Не надо, чтобы у администратора возникали по отношению к жильцу гостиницы всякие посторонние мысли.

Так и сделали.

Паспорт Короткова Владислава Николаевича, прописанный в Москве, оказался, насколько мог судить Синельников, без всяких подделок. Но он крепко держал в уме слова и тон Манюни Луньковой, когда она на вопрос о фамилии Короткова прибавила: «если неврет», и вскользь упомянутую шуточку Короткова насчет того, что Манюня «купнула» Перфильева.

Он записал себе в книжку номер паспорта, когда и каким отделением милиции выдан и домашний адрес. А уходя, запомнил московский номер белого «Жигуленка».

Расставшись с Коротковым, он на автобусе проехал две остановки до управления и отправил по телетайпу запрос в Москву, в дежурную часть на Петровку, 38: проживает ли по данному адресу Коротков Владислав Николаевич и соответствуют ли истине сообщаемые сведения о паспорте, а также кому принадлежит автомобиль марки ВАЗ-2106 белого цвета, с номерным знаком таким-то и где он зарегистрирован. Просьба дать ответ к девяти часам утра.

Потом через дежурного связался по рации с экипажем патрульной машины, которая занимала квадрат, где располагается гостиница «Юность», и попросил присмотреть за белым «Жигуленком» с московским номером...

### *Глава III* || **ТЯЖКИЙ ДЕНЬ**

Рано утром водолазы — их было двое — нашли труп мужчины метрах в полторастах от впадения реки Маленькой в Большую. Он зацепился плавками за сучок затопленной коряги, запутался в ее мощном корневище, и потому его не унесло течением в Большую. Иначе водолазы так легко утопленника не обнаружили бы. Окончив свое невеселое дело, водолазы отбуксировали труп на катер, ожидавший их в устье Маленькой.

Как раз в это время Синельников приехал в управление и, не заходя к себе, поднялся в дежурную часть. Его ждали два сообщения. По телетайпу из Москвы пришла телеграмма: Коротков Владислав Николаевич 1953 года рождения действительно проживает по указанному адресу, сведения о паспорте верны, машина марки ВАЗ-2106 с указанным номерным знаком принадлежит ему и зарегистрирована в ГАИ Фрунзенского района. Все было правильно, Коротков не врал. Работает фотографом в системе бытового обслуживания в фотоартели.

Дежурный же дал Синельникову листок с записью сообщения, переданного ночью по радиии экипажем патрульной машины. В нем было всего несколько строк: «В 0.30 белые «Жигули» направились на улицу Белинского, остановились у дома № 6. Водитель вошел в дом и находился там пятнадцать минут. Затем вернулся к гостинице «Юность».

Улица Белинского, 6 — это был адрес Александра Антоновича Перфильева. Маня Лунькова сказала, что у него есть дочь, ее ровесница... Понятно, что Коротков ездил ночью к ней. Но зачем? Тоже понятно — чтобы сказать о несчастье с отцом. Но почему не позвонил, а поехал? Такие безрадостные, горькие вещи людям всегда легче сообщать именно по телефону. Во всяком случае, телефонным разговором легче подготовить человека к страшной для него вести...

Рассуждая так, Синельников медленно шел путаным коридором управления, спускался с этажа на этаж боковыми лестницами, где не было лифтов. А когда добрался до своего кабинета, у него созрело решение немедленно проверить одну неясно мелькнувшую неприятную догадку. Но для этого ему необходимо точно знать, что Перфильев утонул. Едва вошел в кабинет, зазвонил телефон.

— Алексей, для тебя есть новости, — услышал он голос дежурного. — В Маленькой обнаружили утопленника, мужчина лет под шестьдесят.

— В чем одет, тебе сказали?

— Все записано. На трупе только плавки. Черные в голубую полоску.

— Спасибо.

Положив трубку, Синельников достал из сейфа папку, вынул листок с адресом и телефоном Перфильева и

набрал номер 3-49-49: теперь он мог проверить неприятную догадку.

Ему ответил не очень приветливый, но чисто и нежно звучащий девичий голос.

— Это квартира Перфильева? — спросил Синельников.

— Да. Кто говорит?

— Инспектор угрозыска Синельников. Вы дочь Перфильева?

— Да, — с ноткой удивления подтвердила она.

— Простите, не знаю имени...

— Елена. А что случилось?

В глубине души Синельников желал, чтобы его догадка оказалась пустым вымыслом, но, увы, она, кажется, начинала подтверждаться.

— У вас дома все в порядке?

— В каком смысле? — уже с настороженностью уточнила она.

— Ну, например, с отцом.

— Он сегодня не ночевал, но тут ничего особенного. Бывало и раньше.

Так, значит, Мария Лунькова правильно разобралась в ситуации, когда говорила, что дочь может и не беспокоиться по поводу долгого отсутствия отца.

— Вы чем занимаетесь, Елена Александровна?

— Вообще? Или в данную минуту?

— Вообще, конечно.

— Но что с отцом? — сердито спросила она. — Вы делаете какие-то странные намеки...

— Вам лучше приехать ко мне в управление. Если вы должны быть на работе, это неважно, я дам вам справку.

— Я студентка, окончила четвертый курс технологического, — раздраженной скороговоркой объяснила она. — Наш стройотряд в следующий четверг едет на БАМ.

— Нужно поговорить. Жду вас в управлении внутренних дел. Знаете, где мы находимся?

— Разумеется. Это совсем недалеко от нас.

— Моя комната двести восемнадцать, на втором этаже. Я скажу, чтобы вас пропустили. Только не забудьте взять паспорт.

— Когда я должна быть?

— Чем скорее, тем лучше. Приезжайте прямо сейчас.

— Хорошо...

Было над чем подумать после этого разговора. Одно из двух: или Коротков не сказал Елене Перфильевой о гибели отца, или сказал. Если не сказал, то для его ночной поездки имелись какие-то иные важные причины. И вообще при этом варианте возникали, как выражался Синельников, вопросы с длинными шлейфами. Что же за тип этот красавчик Слава, если может, зная о несчастье с отцом, приехать на пятнадцатиминутное экстренное свидание с его дочерью и ни словом не обмолвиться о случившемся?

Если же он все-таки сказал, тогда только что происшедший разговор с Еленой Перфильевой не укладывался у Синельникова в голове. Как может дочь, осведомленная о трагедии с отцом, столь хладнокровно разыгрывать неведение? Синельникову этот вариант представлялся чудовищным. Он отказывался от мысли, что девушка в двадцать один год способна на столь кощунственный цинизм. Но профессионально он не имел права не допускать такого варианта...

Чтобы не терять времени в ожидании своих посетителей, он взял чистый лист бумаги и шариковую ручку и, немного поразмыслив, начал писать. Нужно было поставить перед судебно-медицинской экспертизой несколько вопросов. Первый — самый обычный: что явилось непосредственной причиной смерти? Второй: каково было состояние жизненно важных органов — сердца и головного мозга — в момент, предшествовавший смерти? Третий: каково количество посторонней жидкости в легких утонувшего? Четвертый: каково содержание алкоголя в организме? И наконец, пятый, выглядевший несколько необычно: учитывая состояние сердца и головного мозга, способен ли был утонувший в период последнего времени, непосредственно предшествовавшего смерти, двигаться самостоятельно?

Синельников пока не решил признаться самому себе, что в уме его вырисовывается версия, вся правота или неправота которой определится ответом на третий и пятый вопросы.

Тяжко начинается денек, подумалось Синельникову, тяжким он и будет.

Елена Перфильева пришла без десяти девять. Она была такая же высокая и яркая, как и Мария Лунько-

ва, чем-то на нее похожа, но заметно интеллигентнее. Серые глаза ее глядели прямо и строго.

— Что с отцом? — спросила она от порога, едва прикрыв дверь.

— Вы садитесь. — Синельников пододвинул ей стул, она села. Он, стоя сзади и держась за спинку стула, сказал тихо: — Отец ваш утонул.

Она резко обернулась к нему, и он увидел, как побелело ее нежно-розовое лицо.

— Что?! Не может быть! — дрожащими губами произнесла она, и это было похоже на то, когда люди в ужасе кричат шепотом.

— Сожалею, но это так. При каких обстоятельствах, я еще не могу вам точно сказать...

— Но где он? Где его... его тело? Его же нашли?

— Безусловно. И вам предстоит опознать труп отца. У вас в городе родные есть?

Она не плакала, но по всему ее виду Синельников чувствовал, что с нею происходит нечто такое, чего не выплечешь никакими слезами. Она, видимо, не расслышала его последних слов, и он повторил:

— Есть у вас в городе родные?

— Тетка, — ответила она, — сестра отца.

— Она работает?

— Да.

— Где?

— На текстильном комбинате.

— А фамилия?

— Степанова. Евдокия Антоновна.

— Адрес?

— На Панфиловской, дом четыре... Квартиру не помню...

Синельников записал и, поглядев на понуро сидевшую девушку, предложил:

— Знаете что, я сейчас вызову вашу тетю, и в морг вы поедете вместе. Так, наверное, будет лучше?

— Наверное, — согласилась она с полным безразличием.

Синельников положил бумаги в сейф, запер его.

— Вы посидите тут минут пять, я быстро все организую.

Захватив лист, на котором был записан составленный им вопросник для судебно-медицинской экспертизы, Синельников вышел в коридор и увидел Лунькову и



Короткова. Они стояли у стены шага на три друг от друга и, видно, о чем-то разговаривали — о чем-то неприятном, судя по выражению лиц, — но при его появлении умолкли.

Оба с ним вежливо поздоровались, а он попросил подождать минут десять.

Вернулся Синельников раньше и опять попросил Лунькова и Короткова подождать еще немного.

Елена сидела в той же позе, как он ее оставил.

— За Евдокией Антоновной послали машину, — сказал Синельников и, помолчав, осторожно спросил: — Можно мне задать вам только один вопрос, Елена Александровна?

— Пожалуйста.

— У отца не было каких-нибудь неприятностей?

Он тут же выругал себя за бессердечность, потому что считал бессердечным в такие вот моменты спрашивать человека о вещах, касающихся криминальных дел (а в том, что здесь явный криминал, он уже не сомневался).

— Не знаю, — по-прежнему бесстрастно отвечала она. — В последнее время пил не в меру. С какими-то сопливыми девчонками гулял.

— Не будем об этом, извините, — сказал он.

— Простите... — Она замялась на мгновение и спросила: — Могу его взять?.. Его тело...

— Разумеется. Завтра утром.

Главный свой вопрос к Елене Перфильевой — о чем говорила она со Славой, когда он приезжал к ней ночью на пятнадцать минут? — Синельников считал еще более несвоевременным. Он был очень рад, что его догадки насчет кошунственной игры в незнание оказались неверными. Скорей всего Коротков не сказал Елене, что ее отец утонул.

...Привезли Евдокию Антоновну Степанову. Это была женщина лет сорока пяти, полная, с добрым выражением лица. Синельников обратил внимание, что поздоровалась она со своей племянницей довольно сухо, не по родственному. Но ему было пока не до оттенков. Он отправил тетю и племянницу в морг и пригласил из коридора Марию Лунькову.

Сев напротив него к столу, Лунькова попросила разрешения закурить. Она была свежа и подтянута, от вчерашнего никакого следа. Наверное, сладко спала. Си-

нельников позавидовал, на что способна молодость, хотя ему самому едва сравнялось двадцать семь.

Лунькова держала сигарету не изящно — в кулаке, как это делают тайком курящие мальчишки: она прятала свои ногти со странным коричневатым налетом.

— Хотите, погадаю? — спросил Синельников и улыбнулся.

Она была настроена дружелюбно и улыбнулась в ответ.

— Вы колдун?

— Не совсем, но могу спорить на коробку спичек, что вы на работе имеете дело с химикалиями.

Она посмотрела на ногти своей левой руки и даже покраснела. Но не обиделась, лишь сказала протяжно:

— Ага-а, все я-ясненько...

— А где работаете?

Она кивнула на дверь.

— У него.

— То есть как? Он что, начальник ваш? И что за учреждение?

— Кустарь-одиночка. Оформляет колхозы-совхозы.

— Что значит — оформляет? — Синельникову становилось все интереснее.

— Ну, доски Почета, лозунги, стенды всякие. И декорации для клуба может. По трафарету и плакаты делает. Вообще, большой мастер.

В голосе ее сквозила ирония, и это было Синельникову непонятно.

— А вы что делаете?

— Он фотографирует, я проявляю и печатаю.

— А лаборатория где?

— В Снегиревке, при клубе колхоза «Золотая балка».

— Туда ведь пятнадцать километров. На электричке добираетесь?

— Когда как. У него же машина.

— А почему вы сомневаетесь насчет его фамилии?

— Да не поймешь этого типа... Темнит... Один раз идем по улице, подходит дядька, солидный такой, говорит: «Здрасьте, Виктор Михалыч!» А какой он Виктор Михалыч?

— И давно вы у него?

— Второй год.

— А раньше что делали?

— Училище закончила, медсестрой работала.

— А у него вы что же, на договоре?

— Какой договор?! Двести в месяц отваливает. Без налогов. И на праздники по сотне. Жить можно. А у медсестер зарплата — не разъедешься. Бабка моя большая пенсию получает.

Синельникову захотелось сказать ей нечто нравоучительное — мол, теперешняя ее служба в стаж не засчитывается, а ведь надо думать о будущем, о старости... Но тут же ему самому стало смешно: разве может эта цветущая Манюня думать о собственной пенсии?!

Он резко повернул разговор:

— Слава с Александром Антоновичем вчера не ссорились?

Она пожала плечами.

— Да нет вроде.

— А почему «вроде»?

Ее тонкие нарисованные брови чуть сдвинулись — это означало, что она нахмурилась. Тычком затушив в пепельнице окурок, она сказала:

— Конфискация... Я хотела конфисковать у Нинки «Наполеона»...

Это было как будто ни к селу ни к городу, но у Синельникова что-то екнуло в груди. Он спросил с несколько напускным недоумением:

— При чем здесь конфискация?

— Понимаешь... — Она прищелкнула досадливо пальцами и поправилась: — Понимаете, Славка на Сашу чего-то бочку катил, а Саша сказал про какую-то конфискацию, и тогда я предложила взять у Нинки бутылку. Она одна из нее пила...

Он видел, что Мария Лунькова не то чтобы волновалась — она просто очень горячо вновь переживала вчерашний день. Сама того не подозревая, она давала Синельникову такие сведения, что он готов был расцеловать ее.

Чтобы немного ее остудить, он задал вопрос попроще:

— А Нинка — это кто?

— Виля подруга, который на автобазе заворачивает.

— Припомните, пожалуйста, Мария... Вот прибежали вы на поляну, сказали компании, что Перфильеву плохо... Короткова там не было. А когда же он появился? И откуда?

Она подумала немного.

— Ну тут же и появился. Из кустов.

— Что значит — тут же? Через минуту, через две?

— Там же у нас крик был на лужайке... Не помню... Пока я рассказывала...

— Но с вами же тоже было плохо, вас минеральной водой отливали.

— Было дело, — мрачно согласилась она.

— А Коротков появился, когда вы уже в себя пришли?

— Ну да.

Значит, прикинул Синельников, Слава появился на поляне не менее как на пять минут позже Луньковой. А ей потребовалось на то, чтобы прийти с пляжа, две минуты — приблизительно столько прошло времени с мгновения, когда остальные слышали отдаленный крик. За пять минут много можно успеть, если человеку двадцать девять и он атлетического сложения...

— Вы вчера, когда мы ездили на место, говорили, что Перфильев упал и закричал, словно его ножом ударили. Вы не пробовали его поднять?

— Что вы?! — У нее даже округлились глаза от такого немыслимого предположения. — Он двигаться не мог. У него, наверно, инфаркт был. Я как-никак медучилище кончала.

В последних ее словах звучала некая легкая оскорбленность, и это понравилось Синельникову.

— Ну хорошо, Мария, на сегодня хватит. Я вас еще позову. — Он подписал ей пропуск и добавил: — Поставьте в двести второй комнате печать.

Когда она уже подошла к двери, он сказал:

— Между прочим, служба ваша у Короткова может и прекратиться.

Она сделала презрительный жест и ответила, не оборачиваясь:

— Подумаешь! Без работы не останусь. Медсестры нарасхват. Могу и на две ставки устроиться.

— Счастливый человек. Ну ладно, позовите его сюда.

Открыв дверь и выйдя в коридор, она молча показала Короткову рукой — дескать, просят.

Коротков был хмур, но вполне спокоен. Правда, по его подглазьям можно было заключить, что спал он эту

ночь в отличие от Марии Луньковой несладко, если вообще спал.

— Знаете, Владислав Николаевич, диковатая мысль у меня возникла, — сказал Синельников словно бы в раздумье. И, закулив, продолжал: — Друзья ваши, Румеров и Максимов, гуляли вчера от души. А вы ни капли в рот не взяли. Обидно, а? Лучше бы вам выпить.

— Не злоупотребляю. Я за рулем.

— Все мужчины были с такими красивыми женщинами, а вы без...

Синельников замолчал, решив молчать до тех пор, пока не заговорит сидевший перед ним самоуверенный, красивый и, судя по всему, весьма деловой и неглупый человек. Синельников, собственно, высказал сейчас вслух то, что подспудно служило исходной точкой складывавшейся у него версии. И сделал он это умышленно. У Короткова хватит сообразительности понять, к чему все это клонится. Синельников ставил ловушки. Если его версия верна, то Коротков в эту минуту должен выработать для себя линию поведения: как реагировать на открытый ход? Сам Синельников ничем не рисковал, так как было совершенно ясно, что при любом варианте прямых улик в доказательство своей версии ему не добыть, а получению косвенных Коротков помешать не сможет.

Синельников, несмотря на молодость, имел уже некоторый опыт и знал цену молчания на допросах. Он даже развивал перед товарищами полушутя-полусерьезно идею шкалы, по которой можно с большой точностью определять, насколько успешно идет дознание. Не отвечает допрашиваемый на ключевой вопрос, скажем, тридцать секунд — значит, ты на правильном пути. Отвечает, не задумываясь, через две секунды — твой путь сомнителен.

Он докурил сигарету — стало быть, прошло не менее минуты, а Коротков все сидел, как прежде, закинув ногу за ногу и сцепив пальцы на колене, и глядел на черный пластмассовый стаканчик, из которого торчали давно не чиненные карандаши. Выражение лица его насколько не изменилось, разве что чуть прищурились глаза.

Если рассчитывать по той самой шкале, то Коротков изобличал себя на сто двадцать процентов, но он, кажется, вообще не собирался рта раскрывать.

— Что же вы молчите? — наконец не выдержал Синельников.

— А вы меня ни о чем не спрашивали, — по-прежнему спокойно ответил Коротков.

Но Синельников все же уловил в его тоне, что не просто так он молчал — он раздумывал над предыдущими словами, и не напрасно раздумывал. И смысл их понял.

— Тогда ответьте на несколько вопросов. По возможности правду.

— Охотно.

— Все-таки отдавали вы Луньковой деньги Перфильсва или нет?

— Отдавал.

— Почему вчера говорили: нет?

— Растерялся... Все-таки деньги... Мало ли что...

— Почему ей?

— Она их заслужила.

— У Перфильева есть дочь.

Тут Коротков опять задумался, но ненадолго.

— Простите, не знаю, как к вам обращаться, — сказал он.

— Меня зовут Алексей Алексеевич.

— Видите, какое дело, Алексей Алексеевич... Мы, конечно, с Леной знакомы, но как бы это вам сказать...

Он, казалось, подыскивал подходящие выражения, но Синельников отлично видел, что не в выражениях суть. Просто Коротков не заготовил ответа на этот вопрос.

— Ну-ну, вы знакомы — и что?

— Как бы я ей объяснил, откуда у меня отцовы деньги?

Это было крайне неубедительно.

— Вы не имели права брать из пиджака ни деньги, ни блокнот.

Коротков изменил позу — сел прямо.

— Виноват, Алексей Алексеевич. Не сообразил. — Самоуверенности у него заметно поубавилось, но смирение было неискренним.

— Чем вы занимаетесь? — смягчая тон, спросил Синельников.

— Художник. У меня договоры с колхозами. Наглядная агитация, декорации и прочее. Все совершенно законно, есть соответствующие документы.

— Но официально где-нибудь числитесь?

— На профсоюзном учете состою в Худфонде РСФСР. — И, усмехнувшись, Коротков прибавил: — Взносы плачу аккуратно.

— Это как понимать — Худфонд?

— Художественный фонд РСФСР. Раньше я работал в издательстве. Четыре года.

— А вы имеете право нанимать рабочую силу?

Коротков смутился, но как-то деланно.

— Нет-нет... Но Маша меня просила... Умоляла... Понимаете...

— А почему вы думаете, что она «купила» Перфильева?

Этого вопроса Коротков, кажется, вообще не ожидал. Он передернул плечами, лицо его на секунду стало злым.

— Вот балаболка! — И голос его тоже звучал зло. — Она же дура набитая!.. Шутил я, понимаете? Шутил... Ну зачем ей Сашу топить?! Он же ее любил, понимаете?

— Хорошо, не будем трогать эту тему, — великодушно помог ему Синельников. — Сегодня я вас больше затруднять не буду, но вот такая штука. Вы должны быть в городе, потому что можете в любой момент понадобиться нам. Я могу, конечно, оформить в прокуратуре подписку о невыезде, но, по-моему, это лишнее. Лучше так договориться, по-джентльменски. Вы как думаете?

— По-моему, тоже, — заметно огорченный словами о невыезде, совсем уже смиренно согласился Коротков. — Но мне, видите ли, необходимо раза два-три съездить в колхозы. Обязательства...

— Это не возбраняется. Только, будьте любезны, общайтесь, где вас искать... И потом, у вашей машины, кажется, левой фары нет?

— Я уже договорился, поставят.

— А зачем сказки насчет Худфонда? — спросил Синельников. — Там вы не числитесь. Вы же работаете в артели, в бытовом обслуживании.

Коротков посмотрел на него как бы издалека.

— Я подал в Худфонд заявление.

— Но вас, наверное, не приняли?

Коротков ничего не ответил.

Синельников записал на бумажке свой телефон, дал Короткову и с тем отпустил его. Как часом раньше он не спросил Елену Перфильеву о ночном визите, так те-

перь счел неуместным спрашивать об этом самого Короткова, но совсем по иным соображениям. Он оставил это впрок, до более подходящих времен...

Без четверти десять показывали часы, а у него уже столько навертелось в голове, что пора было менять ритм. Но сначала требовалось повидать начальство. Начальник отдела оказался на месте. Синельников доложил о происшедшем, поведал о своих сомнениях и подозрениях, о том, что делал и что собирался предпринять. Андрей Сергеевич одобрил, сказал: «Тянешь нитку — тяни...»

Теперь оставалось два неотложных дела, а потом можно будет засесть за изучение записной книжки.

Комиссия, где работал Перфильев, располагалась в здании рядом с облисполкомом. Синельников отправился туда пешком и прибыл удачно: через пятнадцать минут там должно было начаться совещание.

Начальница Перфильева, седая дородная женщина со строгим, озабоченным лицом, приняла Синельникова без промедления. Услышав о трагическом происшествии, она всплеснула руками и жалостно запричитала: «Ах, Александр Антонович, Александр Антонович, бедная головушка! Так и не оправился...» Синельников в деликатной форме поинтересовался, от чего должен был, но не оправился Перфильев. И она объяснила, что три года назад у Александра Антоновича умерла жена, в которой он души не чаял, которую боготворил. Да ее и весь город любил — разве он, Синельников, ее не знал? И тут он вспомнил, откуда ему знакома эта фамилия. Перфильева была заведующей кафедрой в технологическом институте, доцентом, доктором наук, ее дважды избирали депутатом областного Совета. И действительно, ее знал и любил весь город.

Однако для сетований не оставалось времени — на двигалось совещание. Что касается круга обязанностей Перфильева, начальница сказала, что их было много, может быть, даже слишком много. Она их перечислила, и Синельников выделил для себя тот факт, что Александр Антонович имел самое непосредственное отношение к распределению фондируемых товаров и материалов, в частности строительных, и таких дефицитных, как кровельное железо. И автомобили, предназначенные для продажи передовикам сельского хозяйства, тоже подле-



жали его контролю. Второй раз за это утро услышал он слово «фонд».

Когда Синельников покидал кабинет начальницы, она еще при нем вызвала секретаршу и начала давать указания насчет похорон Перфильева...

Он зашел в кафе, съел яичницу и выпил стакан чаю.

Было двадцать минут одиннадцатого. Ему не терпелось пойти к патологоанатому, но тот наверняка еще не успел закончить свою работу. Поэтому Синельников вернулся к себе, достал из сейфа записную книжку Перфильева и сел в старое мягкое кресло.

Каждый раз, когда ему приходилось разбираться в бумагах и бумажках, принадлежавших преступнику или пострадавшему, он испытывал странное чувство. Тут было что-то и от стыда, с которым человек, мнящий себя порядочным, не устояв перед непреодолимым искушением, решается прочесть чужое письмо. Но больше это походило на чувство историка, заполучившего в архиве древние рукописи, к которым до него никто еще не прикасался.

Перфильев, наверное, носил в кармане свою записную книжку очень давно. Зелень на корешке и по краям вытерлась с сафьяна. Листки, помеченные буквами алфавита, были сплошь заполнены именами, телефонами и адресами, только на последних буквах — У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я — странички остались полупустыми. Против многих фамилий нарисованы крестики: две горизонтальных, одна косая — изображение крестов, какие ставят на православных кладбищах. Можно было догадаться, что владелец книжки отмечал таким образом своих умерших знакомых. Но не зачеркивал...

За алфавитом шли листки без букв, составлявшие половину толщины всей книжки, и на них Синельников обнаружил кое-что интересное. Две страницы заполнены непонятными записями, расположенными столбиками: заглавные буквы — одна, две, а иногда и три, — потом черточка и потом числа, все трехзначные. Покойный Перфильев обладал каллиграфическим почерком, буквы были выведены очень красиво. Некоторые буквы заключены в кавычки.

Судя по тому, что цвет пасты — Перфильев пользовался шариковой ручкой — несколько раз менялся, запи-

си были сделаны не в один присест, а велись на протяжении долгого времени.

Всякий, кто увидит такие записи, без сомнений решит, что это карманный бухгалтерский счет, а еще точнее: левая сторона — дебет счета. Скорее всего хозяин книжки фиксировал какие-то поступления от лиц, а может, и от организаций. Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы сообразить, какое значение могут приобрести эти каллиграфически исполненные буквы и цифры, если их расшифровать.

Простейший ряд: фондируемые материалы — дефицит; Перфильев ведал ими; есть много людей, которые ради получения дефицита готовы на любые услуги. Перфильев пользовался своим служебным положением.

В этот ряд вполне естественно мог вписаться и Владислав Коротков. Иначе к чему бы ему брать записную книжку?

А с другой стороны, что могло соединить какого-то залетного оформителя колхозных стендов двадцати девяти лет от роду и сотрудника комиссии, которому пятьдесят один?

Это настолько же не в порядке вещей, насколько необычно выглядит на зеленой траве белая крахмальная скатерть. Не всем по карману уставлять ее дорогими винами и закусками, однако там, на берегу реки Маленькой, веселая компания стелила же скатерть на траву...

Синельников выписал на отдельный лист в два столбика заглавные буквы из книжки Перфильева — у него это получилось не так красиво, зато компактно, можно было охватить единым взором все вместе. Он бегал глазами по столбикам сверху вниз и снизу вверх, как по лесенкам, и вылавливал одинаковые ступеньки.

Сами собой выделились два повтора — С и «ЗБ». Буква С повторялась восемь раз, «ЗБ» — три. Мария Лунькова говорила, что лаборатория Короткова находится при клубе колхоза «Золотая балка». И кавычки к месту. А буква С не означает ли — Слава Коротков?

Чтобы проверить эту элементарную догадку, Синельников поискал ВР и ВМ — Вильгельма Румерова, главного инженера автобазы, и Владимира Максимова, директора кинотеатра, — и нашел их.

Против «ЗБ» во всех трех строчках стояли одинаковые цифры — 500. Против С разные — от 300 до 900.

ВР и ВМ присутствовали по одному разу, и против них значились цифры 400.

Если все верно, то впору было возглашать славу педантичности покойного Перфильева. Но это надо проверить, и Синельников решил действовать немедленно. Позволив Румерову, он попросил его срочно приехать.

Тот явился скоро, вошел в кабинет с искательной улыбкой.

— Вильгельм Михайлович, вспомните, пожалуйста, когда вы передали Перфильеву четыреста рублей, — без предисловий начал Синельников.

Румеров перестал улыбаться. Состояние, в которое он мгновенно впал, Синельникову доводилось наблюдать при дознаниях много раз.

Долго собирался с духом Румеров, а когда пришел в себя, то сказал своим тонким, не по комплекции, голосом:

— Если не ошибаюсь, в сентябре прошлого года. Но не четыреста, а шестьсот.

— Какого числа?

— Простите, вот этого не могу точно сказать.

— А за что? Только прошу, не говорите, что отдавали долг.

Румеров, опять помолчав, признался:

— За машину.

— Максимов заплатил столько же?

— Да.

— Тогда же?

— Немного раньше.

— А отдавали Перфильеву из рук в руки?

— Нет, что вы! Мы давали Славе.

— Сейчас составим маленький протокол, и вы свободны, — сказал Синельников. — Но одно условие: никому ни слова.

— Ну что вы! Как можно?! Я все понимаю.

Подписав протокол, вконец расстроенный Румеров ушел, а Синельников отправился к начальнику отдела.

Андрей Сергеевич выслушал его и сказал:

— Знаешь что, инспектор Алексей, нам эту кашу и в семь ложек не расхлебать. Выходы будут...

Он по внутреннему телефону позвонил начальнику отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности. Тот сказал: «Прошу», и они поднялись к нему на третий этаж.

Уяснив суть дела, начальник ОБХСС вызвал своего сотрудника Ковалева, которого Синельников часто встречал в управлении, но знакомства они не вели.

Договорились так. Ковалев с помощью опытного ревизора займется проверкой отчетности, связанной с деятельностью бывшего сотрудника комиссии Перфильева, и вообще всем, что имеет отношение к распределению фондов, а Синельников будет разрабатывать свою версию и вести дознание по линии Перфильев — Коротков — Румеров — Максимов.

Синельников с Ковалевым вместе спустились в буфет, поели и вышли во двор покурить. Синельников рассказал Ковалеву кое-что поподробнее, и они расстались, условившись каждый день поутру обмениваться добытыми сведениями.

— Жалко, завтра пятница, — сказал на прощанье Ковалев.

— Да, придется пару деньков позагорать...

Был третий час. Синельников прикинул: теперь уже можно, пожалуй, и к патологоанатому. И пошел в морг.

Евгений Исаевич, низенький крепкий черноволосый старик с квадратным лицом и кустистыми бровями, стеснявшийся, как знал Синельников, собственной специальности, встретил его у входа в свое мрачное рабочее обиталище. Он покуривал по старинке папиросу, блаженно щурясь на солнце. Дверь морга была открыта, и оттуда тянуло ледяным холодом.

Поздоровавшись с ним, — Евгений Исаевич никому никогда не протягивал руки, опять же из-за стеснительности, — Синельников спросил, как дела с Перфильевым.

— Немного хуже, чем у нас с вами, — сказал старик хрипловатым баском и, как бы извиняясь за непервосортную шутку, поспешил прибавить: — Я имею в виду, милый Алексей Алексеич, что если бы он и был еще жив, то ему не позавидовал бы, представьте, никто.

— Почему так, Евгений Исаевич?

— Я ответы на ваш вопросник еще не писал, но я его помню. Вы ведь ради этого меня навестили?

— Конечно.

— Ну так вот, могу ответить устно. Умер Перфильев, попросту говоря, оттого, что захлебнулся, совсем немного захлебнулся, может быть, всего от одного вдоха.

Про мозг ничего пока сказать нельзя, нужно произвести гистологическое исследование, а что касается сердца, то могу утверждать совершенно определенно: у него непосредственно перед смертью случился обширный инфаркт задней стенки левого желудочка.

— Интересно, интересно.

— Да, так вот. Посторонней жидкости, то есть речной воды, в легких было совсем мало. Он ведь сделал, по-видимому, всего один вдох, да и то поверхностный... Да... А насчет того, мог ли он самостоятельно двигаться в момент, предшествовавший смерти, должен вам сказать, милый Алексей Алексеич, что в таком состоянии человеку не то что двигаться, а и вздохнуть трудно... И больно... Он же испытал кинжальную боль.

Синельников вспомнил рассказ Марии Луньковой, ее слова о том, что Перфильев закричал так, словно его ударили ножом.

— Это что, термин такой — кинжальная боль? — спросил он.

— Ну, термин не термин, а у нас так принято говорить.

— Вы забыли об алкоголе, — сказал Синельников, наперед зная, что ничего Евгений Исаевич не забыл, а просто желая немного подыграть старику, не упускавшему случая показать и защитить свой высокий профессионализм.

— Я ничего никогда не забываю, — так и ответил Евгений Исаевич. — Послал в лабораторию на анализ.

— Спасибо большое. — Синельников обеими руками взял его правую руку и пожал ее.

— Не за что, милый, не за что. Будьте здоровы. А бумажку я пришлю, как только принесут анализ.

— Будьте здоровы, Евгений Исаевич.

Уходя, Синельников имел право быть довольным собою. Его версия начала обретать прочную опору — по крайней мере, со стороны судебно-медицинской экспертизы.

Сегодня ему ничего нового предпринять не удастся. Надо подробно поговорить с дочерью и сестрой Перфильева, но это невозможно, пока они не похоронят его. Теперь для Синельникова самое важное — как можно больше узнать о том, каков он был при жизни, как прожил последние свои три года.

## РАССКАЗЫВАЕТ СЕСТРА

Вы представляете, как это больно, когда вдруг перестасшь узнавать родного брата? Вот был человек, ты считала его верхом совершенства, преклонялась перед ним, и на твоих глазах он превращается в существо, совсем чуждое твоему идеалу, самому себе противоположное... Я ведь на шесть лет моложе Саши, он всегда был для меня идеалом... Пожалуй, я его считала скорее отцом, чем братом. Отец наш погиб на войне. В сорок пятом мне было восемь лет, а Саше четырнадцать, он в ремесленном учился и уже что-то там зарабатывал. Но не в этом даже дело. Он, например, задачки мне решать помогал, домашние задания, а я, сказать по правде, была в математике порядочная бестолочь. Ему ребята со двора свистят, а он не уйдет, пока все мне не растолкует. И никогда не воспитывал, не наставлял и подзатыльников не давал. Просто я с ним одним воздухом дышала, и это уже было воспитанием. Мать иногда и то срывалась, а он обладал какой-то совсем непонятной мне способностью понимать и прощать людей. Будто он всегда был старше всех на свете...

Но я слишком далеко забралась, а вам надо поближе.

Как объяснить? Мне кажется... нет, я уверена, что всему причина — смерть Тамары, Сашиной жены. Она мне ровесница и умерла сорока двух лет... Рак крови... Это невозможно вообразить. Такая обаятельная женщина... Умница, веселая, работающая... В тридцать четыре года защитить докторскую диссертацию — это не каждому дано, правда? А у нее маленькая дочь на руках, и дом сама вела, и работу не оставляла.

Мы с нею дружили еще с шестидесятого года, можно сказать — со дня их свадьбы. Они с Сашей поженились, когда она только-только окончила институт и приехала в наш город по распределению. И Саша любил ее с первого дня.

Я несколько не преувеличиваю: с того самого дня и

до самой ее смерти... нет, до своей смерти... Саша любил ее так, что готов был прыгнуть из окна, лечь под поезд... Ну все, что хотите. Он девятнадцать лет каждый день — понимаете, каждый день — встречал ее у института после работы... А когда она уезжала в командировки по заводам, каждый день посылал письма.

Как они друг друга любили, думаю, вряд ли кто любит, я, во всяком случае, других примеров не видела.

Правда, как-то Тамара, это уже незадолго до смерти, примерно за полгода, жаловалась мне, что у них с Сашей был разговор на щепетильную тему. Знаете, бывает, когда жена зарабатывает намного больше мужа, то муж чувствует себя ущемленным, и на этой почве получаются разлады. Оказывается, спровоцировала разговор их непаглядная доченька Лена. Он пытался в чем-то ее ограничить — кажется, не позволял носить Тамарины серьги, — а она говорит: «Ты, отец, молчи, ты тут не хозяин, мама шестьсот получает, а ты двести пятьдесят». Вот так... Но Саша с Тамарой вскоре объяснились, и он забыл об этом и думать...

А насчет Лены... Это, знаете, для меня большой вопрос. Умом-то я сознаю, что глупо и недостойно относиться так к девочке, тем более она мне родная племянница. Но ничего не могу с собой поделать. Я уж иногда думала: может, это бродит во мне какая-то ревность? У нас с Сашей детство было несладкое, а тут перед ребенком расстилаются, как перед всесильным повелителем. Она себе ни разу носового платка не постирала. Отец ей туфли чистил, пуговицы на пальто пришивал. Мило, не правда ли? Так и из ангела недолго сделать мучителя, а Лена, простите меня, далеко не ангел. Вот и дошло до того, что она потребовала автомобиль. Купили и автомобиль.

Но я опять как будто в сторону...

В общем, представьте себе положение Саши, когда ему сказали, что его жена безнадежна. Он потерял голову.

Мы однажды вместе навещали Тамару в больнице. Он бодрился, шутил, а она только посмотрела ему в глаза и все сразу поняла. В артисты он не годился.

Нет, это нельзя вообразить, это надо было видеть. В день похорон я боялась, что он помешается. А потом началось что-то ужасное.

Неделю не ходил на работу, сидел дома и пил бес-

пробудно. Раньше никогда не позволял себе лишнего.

На работе к нему очень хорошо относились, неделю эту, конечно, простили, но я чувствовала: не останови его — покатится до конца. Кое-как вытащила его, пришлось на день запереть, чтобы в магазин не ходил. А когда протрезвел, я ему говорю: «Что ж, ты и на могилу к Тамаре пьяный ходить будешь?» Только это и подействовало. Да ненадолго. С месяц держался, а потом опять... Правда, на работу ходил — значит, днем был трезвый, зато каждый вечер напивался до беспамьтства.

Как-то я заглянула, Саша лежит на тахте, смотрит в потолок безумными глазами и не реагирует ни на что. Лена на кухне сидит, читает учебник, пьет кофе. Я хотела посоветоваться, как нам его сообща отвадить от пьянства, надо же спасти человека, а она, представьте, заявляет: «Он не маленький, должен сам понимать, а если хотите спасти — дело ваше, вы ему сестра». И вообще я ей немножко надоела своими посещениями. Вот так...

У меня были Тамирины ключи от квартиры. Я их выложила перед нею и ушла. По-бабьи, конечно, поступила, теперь вижу, что вела себя неправильно, несолидно. Она же в дочку мне годится, а я с нею на одной доске. Стыдно вспомнить, да что поделаешь? Не исправишь.

С месяц не показывалась я у Саши. И вдруг он сам является, и совершенно трезвый. Я так обрадовалась, хоть и невесел он был. Оказалось, сидит без денег, пришел просить займы.

Насколько я знала, накоплений у них с Тамарой не было, тем более они недавно купили для своей дочки машину. А я одна, сын в армии служит. Пошли мы с Сашей в сберкассу, я сняла пятьсот рублей, сколько просил, даю ему, а он плачет. Совершенно, понимаете, распустился. Жалко смотреть, сердцу больно. Такой был великолепный человек, настоящий мужчина — и вот пожалуйста...

Успокоился он, слезы вытер и объясняет... даже не объясняет, а скорее жалуется. Лена из него последние нервы вытянула: в доме ни рубля, молока купить не на что, до отцовой полочки десять дней, а ей еще надо кожаную юбку купить, продается по случаю...

Руки мне целует — и опять в слезы. Еще бы немного — и дошел бы до истерики,



Ну вот... С тех пор мы с Сашей встречались редко, а к ним я вовсе перестала ходить. Но один раз, на его день рождения, двадцать пятого сентября, зашла поздравить, вечером. Еще светло было, а в квартире уже дым коромыслом. Дверь мне открыл красивый молодой человек — он только и был трезвый, а остальные за столом ну как последние пьянчужки. Их там человек двенадцать было, шесть пар. Девушки совсем зеленые, возраста Лены. И Саша с такой же в обнимку сидел. И Лена присутствовала. А мужчины все гораздо моложе брата.

Поглядела я, вижу — Саша едва меня узнал. Ухмыляется, а встать со стула не может. Положила я хризантемы на тахту и ушла. Горько было — невыносимо... Безобразно... Тамару-то мы схоронили в июне, вот в такой же солнечный день, как сегодня.

После этого я его долго не встречала. Потом перед Октябрьским праздником столкнулись в универмаге, в парфюмерном отделе, он духи покупал и был вроде бы в порядке. Извинялся, что еще долг не отдал. А под Новый год забежал ко мне на минуту. Очень вальяжничал. В дубленке, в новом костюме и чуть под хмельком. Долг принес. Я говорила — могу и подождать, но он деньги на стол бросил.

Вот, пожалуй, и все. Больше мы ни разу не разговаривали. Так, на улице иной раз встретимся... «Как живешь?» — «Ничего...» И разойдемся.

Он даже внешне стал неузнаваем. Костюмы на заказ. Какая-то лихость в лице. А впечатление жалкое...

## РАЗГОВОР С ЕЛЕНОЙ ПЕРФИЛЬЕВОЙ

— Что я могу сказать об отце? О мертвых — или ничего, или только хорошее.

— Меня интересуют последние три года. Кажется, он сильно изменился...

— Ничего удивительного. Он безумно любил маму... Ее смерть была большим ударом.

— А в чем это выражалось?

— Пить стал.

— И все?

— Ну сами понимаете, где гулянка — там женщины.

- Вы знали его знакомых?
- Кое-кого видела.
- Что это были за женщины?
- Молодые.
- Вы не пробовали его образумить?
- Это было бы бесполезно.
- У него, если мне не изменяет память, день рождения — двадцать пятое сентября?
- Да.
- Простите, нескромный вопрос: тогда, в семьдесят девятом, вы ведь этот день тоже отмечали?
- Пушистые ресницы едва приметно дрогнули.
- Вы уже разговаривали с моей очаровательной тетей?
- Разговаривал.
- Да, отмечали. Не очень-то весело, правда.
- Слава Коротков тоже был?
- Да.
- Между прочим, вы не знаете, как он познакомился с вашим отцом?
- Понятия не имею.
- Отец никогда ничего об этом не говорил?
- С какой стати ему об этом говорить?
- А вы, если не секрет, как относитесь к Короткову?
- Нормально. По-моему, очень приличный человек. Самостоятельный.
- Еще более нескромный вопрос: он за вами не ухаживал?
- Кажется, на такие вопросы можно и не отвечать?
- Не только на такие.
- Ну хорошо. Он учил меня водить машину. И вообще, мы дружим на автомобильной почве... Но какое все это имеет значение? Отец мертв.
- Поверьте, мне самому неприятно ворошить прошлое, вторгаться в вашу личную жизнь. Но необходимо кое-что прояснить. Служба обязывает.
- Прояснить, чтобы бросить тень на отца?
- Вы вначале сказали, что о мертвых или — или... Но есть и другая поговорка: мертвые сраму не имут.
- Мне дорого доброе имя моих родителей.
- Понимаю ваши чувства... Ваш отец, кажется, не очень беспокоился о своем добром имени, но мне не хотелось бы на него покушаться. Вы постарайтесь войти в мое положение. Поверьте, я спрашиваю вас не из празд-

ного любопытства. Существует некая истина, до которой я должен добраться.

— Ничего не имею против.

— Благодарю вас... Так вот, скажите, пожалуйста, кого отец считал своим лучшим другом?

— У него не было друзей отдельно от мамы.

— Мы говорим о последних трех годах. С кем он чаще всего встречался?

— Откуда мне знать? Гости у нас бывали редко.

— А в тот раз, на дне рождения, кто еще был, кроме Славы Короткова?

— Не помню.

— Но все-таки... Вы так молоды... Неужели память уже отказывает?

— Три года прошло... Были какие-то совершенно незнакомые мне люди.

— А Слава с кем?

— Можете записать — он был ради меня.

— Вы же видите — я ничего не записываю. Отец ваш, кажется, испытывал тогда материальные затруднения?

— Я всегда говорила, у моей тетушки язык как по-мелю. Ничего не скажешь, героический подвиг — дать родному брату взаймы полтысячи.

— У меня не осталось впечатления, что она этим хотела похвалиться.

Пушистые ресницы широко распахнулись.

— А у вас, товарищ Синельников, нет такого впечатления, что вы копаетесь в старом, грязном белье?

— Признаюсь — есть. Но тем не менее... Раз уж мы начали, давайте пройдем до конца... Значит, затруднения были, а к декабрю все наладилось. Вы не интересовались у отца, откуда появились деньги?

— Во-первых, я его денег не считала. А во-вторых, к чему вы все это подводите?

— Я просто сопоставляю. А когда приблизительно Коротков познакомился с вашим отцом?

— Ну... кажется, в тот год, когда умерла мама, они уже были знакомы.

— Это понятно, он же был на дне рождения. А что их связывало? Общих интересов как будто никаких. Разница в двадцать два года.

— Об этом вам лучше спросить у Короткова. По-мо-

ему, отец никогда не придавал значения разнице в возрасте. Во всяком случае, в отношении женщин.

— Вы его осуждали?

— Ни капельки!

— Марию Лунькову знаете?

— Это Манюня? Еще бы! Последняя любовь...

— Что она собой представляет?

— Проходит под глупенькую, а по-моему, прикидывается. Доила его, наверно.

— Ну я вас утомил... Еще два-три момента, и пора закругляться...

— Ничего. Мне любопытно; меня еще ни разу не допрашивали.

— Но это не допрос. Формально допрашивают не совсем так.

— Тогда надеюсь, что до формального дело не пойдет.

— Я тоже... Скажите, тогда, в прошлую среду, когда случилось несчастье, вы с Коротковым виделись?

— Нет.

— Зачем же вы говорите неправду? Он был у вас. Могу даже назвать время. В половине первого ночи.

Пушистые ресницы сомкнулись, голова поникла, русский локон упал на чистый белый лоб.

— Был. Я ошиблась.

— Он не сказал вам, что произошло с отцом?

— Нет. Он же сам тогда не знал точно. Дал понять, что, возможно, с отцом случилось какое-то несчастье, сказал — он исчез непонятным образом.

— А для чего же он к вам приезжал так поздно? Только для намеков? О чем вы говорили?

— Наверно, хотел как-то смягчить, подготовить...

— Он добрый человек?

— Ко мне Слава всегда относился по-товарищески.

— Хорошо. Извините за назойливость. Вы ведь должны в четверг ехать со стройотрядом на БАМ?

— Должна была... Из-за отца мне разрешили приехать позже... Когда мне будет удобно...

— Ну и правильно. Если я вам не надоел, мы еще как-нибудь поговорим.

— Пожалуйста.

Раньше я в судьбу не верила. Мистика — три листика... А тут поверила...

Это прошлым летом было, я уже у Славки работала. Раз вечером бабуся моя в аптеку попросила сходить, раунатин у нее кончился. Ну топаю в дежурную, на угол Комсомольской и Павловской. А там скверик есть, знаете? Лавочки стоят... Ветрено было, пыльно, в сквере ни собаки, а на одной лавочке под фонарем кто-то сидит. В шляпе, голова запрокинута. Иду мимо, а он: «Девушка, можно вас на минутку?» Думаю, ханурик какой-то, алкаш, но остановилась. Гляжу — мне в папаши годится, говорю: «Вы, дядя, совесть в чужих очках покупали?» Но вижу: не пьяный. А он: «Если нетрудно — нитроглицерин». Он, видно, в аптеку и шел, да не дошел. Ну я бегом, в кассе пробивать не стала, говорю в штучном: дайте нитроглицерину, человеку плохо, сейчас вернусь. Ну она поняла, сунула колбочку, я обратно к нему бегом — хорошо, на низком каблучке была. А он уже и «мама» сказать не может. Положила я ему в рот таблеточку, а он пальцами показывает — две надо. Я присела, подождала, пока в себя придет... Ну он быстренько оклемался. Спрашиваю: может, «неотложку» вызвать? Ничего, говорит, уже все в порядке, а как вас зовут? Ну если «как зовут?» — значит, правда все в порядке. Встала я, а он: «Ради бога, ради бога, мое имя Александр Антонович, не подумайте плохого, я вам так благодарен». И так далее. Сказала и я свое имя-отчество, а он в кармане роется — ну, думаю, если сейчас деньги предложит, плюну ему на сапоги, на туфли то есть. А он достает шариковую ручку, красивая такая, фээргэшная, — возьмите на память. Я сдуру пошутила — короткая больно память, к ней же нового баллончика не найдешь, а он спрашивает: «Вы курите?» — «Курю, конечно». И он дал мне газовую зажигалку. «Ронсон», дорогая... Я отказывалась, но он за сердце начал хвататься, и пришлось взять. Хотела его проводить, а он говорит: мне тут недалеко. Ну до свидания — до свидания. Я в аптеку, взяла раунатин, расплатилась — и домой.

Зажигалка — люкс. Она какая-то электронная, что ли, камушки вставлять не надо, только заправляй газом. Но я этого дядечку скоро бы забыла, если бы не Славка.

Едем мы как-то из Снегиревки в город, он заводит толковище: то да се, не надоело ли тебе со всякой шантрапой валандаться? В смысле — с мальчишками. А я как раз со своим Витькой разбежалась. Зануда он порядочный. Все хорошим манерам учил — не так повернулась, не туда пошла. На мои мороженое ели, я ему пиво выставляла, а он на мотоцикл откладывает. Говорит, куплю — и махнем на Черное море. Я, значит, на заднем сиденье. И каску на меня наденешь, спрашиваю. «А как же? — говорит. — Так полагается по правилам». Ну и сказала я ему «ку-ку».

А Славка пристал: давай познакомлю с мужиком. Уже немолодой, но к молодым женщинам не ровно дышит. И не жлоб. И деньги есть. И вдовец. И все при нем.

Черт с тобой, говорю, познакомь, но чтобы без хамства. Сам-то Славочка тоже под меня шары катить пробовал, он же неотразимым себя считает. Да фигушки — не для него росла...

У Славки и план готов — я домой, он в гостиницу, помоемся, переоденемся, он этого мужика захватит, потом заедут за мной, и втроем в «Избушку». На Московском шоссе загородный ресторан знаете?

Почистила я перья, блеск навела, а тут и Славка сигналит. Еще светло было, выхожу, они у машины стоят, мужик этот курит. Славка уже хотел нас знакомить, а у того сигарета изо рта на землю упала. Стоит он как столб и шепчет: «Это же Мария». Оказалось, Славка Александра Антоновича привез, того самого, которого я нитроглицерином кормила. Запомнил он меня.

Ну скажите: не судьба? Я его тоже, конечно, узнала, но он не таким старым показался, как тогда. Костюмчик — шик. Галстук повязан, как у дипломата. А главное — глаза мне понравились. Сразу видно — добрый мужик.

Гульнули мы по всем правилам, но он ко мне в гости не набивался. Визитку дал, просил звонить — хоть домой, хоть на работу. А мне тем более набиваться ни к чему, не собиралась я звонить. Но тут Славка начал мозги пудрить: Саша не ест, не пьет, Саша сохнет, всем расчет дал — одна я ему снюсь.

Короче, опять встретились, потом еще, и пошло-поехало. Он мне стал вроде отца. Своего родного я не

помню, они с матерью развелись, когда мне четыре года было, а мать умерла, когда восемь.

Но это только сначала, а потом все наоборот. Такой он был неприятный, такой несчастный... Честно, я перед ним себя старухой чувствовала.

Нет, на людях он марку держал, солидный такой, серьезный. А останемся вдвоем — раскиснет и как ребенок.

Меня он, наверно, и вправду любил. Раз говорит: давай поженимся. Я хохотать стала, но он не обиделся, сказал, что у него дочь такая же, даже на полгода старше. А жить он рассчитывал не больше десяти лет. Так что все кончилось шуткой: не захотел он оставлять меня молодой вдовой.

Но эта идея у него в голове долго шевелилась. Потому и решил познакомить меня с Еленой. И вышла ерунда.

Привез меня Саша к себе домой, по дороге все объяснял, что очень она у него строгая и капризная. Поглядели мы друг на друга: о чем говорить? У нее такое выражение, как будто я кровь из вены брать приехала с толстой иглой. А я вижу: тоже хороша штучка. После мы еще раза три встречались, а тогда она сумку в руки — и упорхнула. Кто я, что я — Саша ей не уточнял, и так ясно. А он перед ней как побитый. А когда Саша мне квартиру показывал, вижу — в ее комнате на стуле Славкины брюки серые и кожаная куртка. Спрашиваю: он что, живет у вас? Говорит: бывает. Я Славку потом прикупила, он обозлился: не болтай, кричит, она девушка приличная, интеллигентная. Я, значит, неприличная, потому что не исполнила его желаний. Но не в этом дело...

Саша очень переживал, что мы с Еленой не сошлись. Один раз приехал совсем расстроенный. Прекрасная Елена устроила ему из-за меня такой концерт — нитроглицерин не помогал. Ну отпоила я его, и он кается. Раньше у него знакомые менялись, а тут — я одна. А это уже опасно для дома. Я говорю: пусть она не беспокоится, ничего мне не нужно. Он мне деньги на вещи, конечно, давал, приделась. Но — хотите верьте, хотите не верьте — не за тряпки он мне нравился... Не могла я его вот так взять и бросить...

Зимой что-то с Сашей случилось. Придет хмурый, слова не вытянешь. И сразу водку на стол. А напьет-

ся — смотреть противно. Анекдоты какие-то дурацкие, и сам над ними хихикает. Или начнет про своих знакомых рассказывать — этот благородный, этот хам, тот ни рыба ни мясо. А мне неинтересно, я их никого не знаю. Тем более Саша людей не по именам называл. Он любил разные прозвища давать. Славку, например, он звал «Отдел кадров».

Был у него какой-то Клешня. Саша при мне никогда матом не ругался, а тут вспомнил этого Клешню — и хоть уши затыкай. Успокаивать стала, а он голову в подушку — и навзрыд. А потом расхныкался: держит его этот Клешня за горло, что-то надо делать. Или с горла долой, или задушит Клешня. А утром говорит: «Я вчера чушь городил, не обращай внимания».

В другой раз закончатся на Клешне — и давай самого себя ругать. Клешня вроде уж и не враг, а так — знает, что делает, и силой его не тащил. Куда тащил? Зачем тащил? Ничего не разберешь. Называет себя последним подонком, таких, говорит, стрелять надо, и вообще — жизнь идет под откос.

Я заметила: это на него находило, когда в кармане негусто. Через недельку заявится — кум королю, и Клешню не поминает, и себя не ругает.

Но все-таки странный он стал зимой. Шли мы вечером из кино, он трезвый был, но знал: бабуся нам ужин приготовила и в магазин сходила, так что теплая беседа обеспечена, торопиться некуда. Между прочим, бабуся его уважала, только все уговаривала пить поменьше, а лучше — совсем бросить.

Ну идем мы, толкуем, и он ни с того ни с сего брякает: а вот посадят меня в тюрьму — передачи носить будешь? Буду, говорю. Тыквенные семечки. А сама чую: не шутит он. И ничего не пойму. Не вор, не жулик, занимает солидную должность — и про тюрьму толкует. Дура я, конечно, только сейчас дошло, что на его гулянки никакой зарплаты ему бы не хватило, а тогда и мысли не было...

К весне он опять переменялся, вроде другую шкурку надел. Все молчит, молчит. И трезвый молчит, и выпьет — тоже. Прямо на нервы действует. Мне Славка даже сказал один раз: «Ты бы его расшевелила». Послала я Славку подальше, чтобы не совался, после Саше рассказала, а он говорит: Славка обижается, потому что Саша разжаловал его из «Отдела кадров», а я должна



относиться к Славке с почтением и уважением, потому как именно он нас познакомил, вечная ему за это благодарность. Потому он больше и не «Отдел кадров», что я есть...

При мне они ни о каких делах не разговаривали. Так, травили что придется. Славка больше слушать любит, лишнего никогда не сболтнет, а Саша если заведется — не остановишь.

В мае, на праздники, мы у Саши на квартире собрались. Елены не было — в Москву на своей машине уехала вместе со Славкой. Саша планы строил — в июле мы едем на юг, даем гастроли по маршруту Одесса — Батуми. А потом, говорит, будем решать очень важный вопрос. Какой вопрос — я не уточняла. Мало чего он в таком состоянии плел.. А теперь вот его нет...

#### ДОПРОС РУМЕРОВА

— Вы сказали, что заплатили Перфильеву за машину шестьсот рублей и передали деньги через Короткова. Подтверждаете эти свои показания?

— Да, полностью подтверждаю.

— Расскажите подробнее, что вас к этому побудило и при каких обстоятельствах это произошло.

— Понимаете, я дружу с Володей, с Максимовым. У меня имелся «Жигуленок», но уже старый, первого выпуска. Хотелось новый. А Володя имел «Москвича», и он без очереди заимел «Жигуленка» последней модели. Вы же понимаете, я спросил: как удалось? У друга от друга нет секретов. Володя познакомил меня со Славой. Слава сказал: шестьсот рублей — и машина ваша. Володя объяснил мне, что это идет через Перфильева.

— Лично Перфильева вы до этого знали?

— Вы же понимаете, его все знали, но лично знаком я раньше не был.

— Когда познакомились?

— На Первое мая. Вернее, Слава познакомил нас еще в апреле, а на праздники Александр Антонович пригласил заглянуть, отметить, так сказать...

— О деньгах у вас с Перфильевым разговора не было?

— Что вы! Никогда!

— Но он знал, что устроил вам покупку вне очереди?

— Думаю, догадывался.

— А вам было известно, что Перфильев получил не шестьсот, а четыреста?

— Я догадывался. Но не знал точно, какую сумму Слава оставляет себе.

— Вам известно об ответственности за дачу взятки?

— Если я скажу — неизвестно, вы же не поверите... Но я очень вас прошу, учтите мое положение... У меня маленький ребенок... Я могу отдать эту проклятую машину...

— Единственное, что в вашу пользу, — чистосердечное признание. И помощь дознанию. Это будет учтено судом. Можете идти.

### ДОПРОС МАКСИМОВА

— Давно вы знакомы с Коротковым?

— Дай бог память... Может, года два с половиной.

— При каких обстоятельствах познакомились?

— Он сам пришел.

— Куда пришел?

— А ко мне в кинотеатр.

— Как зритель, что ли?

— Зачем? Насчет работы. Он же художник.

— Афиши рисовать?

— Точно.

— И вы дали ему работу?

— У меня художник был, но он тогда как раз болел.

Дело Славке нашлось.

— Он разве без дела ходил?

— Зачем? У него по договору солидная работа. У меня он просто подхалтуривал.

— Расскажите, как все это организовалось с приобретением машины.

— Ну как? Я в очереди на «Жигуленка» записан был, да очередь — она, сами знаете, не так быстро движется. Славка знал — я машину хочу, ну и помог. Он парень оборотистый.

— Вы что же, попросили его помочь?

— Не помню, как получилось, может, и попросил.

— Постарайтесь вспомнить. Это имеет некоторое значение. И для вас тоже.

— Понимаю... Я на него лишнего валить не буду, но он мне в общем намекал.

- На что?
- Ну что у него есть возможность достать автомобиль без очереди.
- И подразумевалось, что нужно кому-то дать на лапу?
- Мы же не маленькие...
- А кому — Коротков не говорил?
- Это я потом уже узнал про Александра Антоновича. Когда лично познакомились.
- Коротков сказал?
- Зачем? Он не такой дурной. Виль догадался.
- Румеров?
- Да. Мы тогда у него вечерок для Славки устроили, а он Александра Антоновича привел. Ну у Вилия голова не кочан, он быстро вычислил.
- Это было до того, как Виль тоже приобрел автомобиль, или после?
- После.
- Вилия с Коротковым вы свели?
- Что значит — свел? Мы друзья. И со Славкой стали друзья... Чего ж тут сводить?
- А кроме Вилия, вы Короткову никого не рекомендовали?
- Нет.
- Хорошо, Максимов, скажите, вы дочь Александра Антоновича знаете?
- Лену? Конечно. Мы с Вилем у них дома бывали.
- Простите за нескромный вопрос: в каких она отношениях с Коротковым?
- В хороших.
- Ну а точнее?
- Они, кажется, собирались пожениться.
- И раздумали?
- По-моему, Александр Антонович не одобрял.
- Из чего вы это заключили?
- Антоныч цену Славке знал.
- Станный вы человек, Максимов. Вы же цену тоже знали, а все-таки дружили и сами пользовались.
- Я один раз попользовался, а до остального мне дела нет.
- Вы когда-нибудь Уголовный кодекс читали?
- Не приходилось.
- И Виль вас не просвещал?
- Чего ему просвещать? Мы с ним одинаковые.

- Очень жаль... А кого Перфильев звал Клешней? Максимов нахмурил брови.  
— Какая клешня? Первый раз слышу.  
Он не играл, не притворялся.  
— Ладно, Максимов, вы свободны.

## *Глава V*

## || АВТОМОБИЛЬНАЯ АВАРИЯ

Двадцатисемилетнему человеку, который за пять лет службы видел семнадцать трупов и который ежедневно общается с себе подобными людьми, общающимися, в свою очередь, — опять-таки по роду службы — исключительно с преступным миром, — такому человеку очень трудно сохранить изначальную веру во всеобщую чистоту человечества. Об очерствении и бесчувственности сыщиков Синельников читал и слышал, но когда искал среди старших примеры подобных очерствений — почему-то не находил их. Скажем, кто-кто, а его начальник, Андрей Сергеевич, сорок лет работающий в розыске, смог бы явить в этом смысле отличный образец. Между прочим, его немцы расстреливали, он два раза бежал из плена, у него сволочи полицаи убили жену и сына, и, когда он был в партизанах, посчастливилось ему, на свое горе, поймать полицаю, который насиловал его жену перед тем, как скинуть ее в ров. Но даже того грязного полицаю, за которого никто бы и слова не сказал, Андрей Сергеевич своей рукой, своей волей не казнил — отдал его под трибунал...

Дружба по профессии — это хорошо, и Синельников дружил со старшим инспектором угрозыска Малининым. Но какой-то здоровый инстинкт (впрочем, нездоровых инстинктов не бывает) устроил так, что у Синельникова образовалось два близких друга, не имеющих отношения ни к дознанию, ни к следствию, ни к суду. Один работал тренером по плаванию в спортобществе «Динамо» и был ему ровесник, другой, на тринадцать лет старше, сосед по лестничной клетке, отец шустрого конопатого второклашки и забавной трехлетней девочки с белыми косичками, которая называла Синельникова дядей Лесей, работал на металлургическом комбинате

начальником мартеновского цеха. И главное, жила в городе девушка, которую Синельников, кажется, всерьез любил — во всяком случае, он готов был жениться на ней хоть завтра, но возражали ее родители, и не потому, что Синельников обитал в коммунальной квартире, занимая комнату в шестнадцать квадратных метров, и не по каким-нибудь иным причинам, а лишь потому, что они постановили так: их дочь выйдет замуж после окончания института. Она перешла на пятый курс — значит, ждать (поскольку она была тоже за) оставалось какой-нибудь год.

Здоровый инстинкт повелевал ему ежедневно общаться с людьми иной профессии и не в рабочей обстановке, и он был рад, что у него есть друзья, не говоря уже о невесте. Порою у него возникало ощущение, что он все время идет по тем тайным тропам, по которым ходят разоблачаемые угрозыском преступники. Он знал, что в любом государстве существуют преступные элементы — другое дело, какой процент они составляют и каков характер типичных преступлений. Он сознавал, что ему не грозит опасность стать человеконенавистником в силу своей специфической профессии, ибо тот процент, против которого он поставил себя на службу, ничтожно мал. И все-таки...

Все-таки он никак не мог забыть нечаянно подслушанный однажды разговор. Это было в апреле. Он шагал в обеденный перерыв мимо кинотеатра, из которого высыпал целый рой маленьких школьников — кончился сеанс. Среди этой низкорослой, пестрой, шумливой толпы возвышались, как маяки, три или четыре женские фигуры — должно быть, учительницы. Две девочки, обе с широко раскрытыми глазами, остановились у тротуара, и Синельников услышал, как одна сказала другой: «А я не верю, что Наташке не страшно было». Другая сказала: «Чего не страшно?» — «Ну, когда он его сжигал, она говорит — не страшно». — «Врет она, всем было страшно...»

Кто кого там сжигал, для Синельникова осталось неясно, но зачем же водить детей на такие фильмы? С тех пор всякий раз, когда он думал о циническом воздействии одних людей на других, он вспоминал этот детский разговор и, к стыду своему, по какой-то нелепой аналогии сравнивал себя с Наташкой, которая из голой бравады врала, что ей не страшно...

Конечно, он ни за что на свете никому бы не признался в таких сопоставлениях. Но от себя-то самого никуда не денешься, и ему приходилось успокаиваться лишь тем, что с возрастом и с опытом все эти рефлексии исчезнут...

В последнюю неделю Синельников ни с кем, кроме как на работе, не встречался, однако тоски по друзьям не испытывал — не было для нее ни места, ни времени, потому что дело закручивалось очень серьезно. К нему подключился и следователь.

Инспектор ОБХСС Ковалев, вместе с ревизором-бухгалтером изучавший деятельность покойного Перфильева на ниве распределения фондируемых материалов, пришел к Синельникову в четверг утром. Он положил на стол перед собою отпечатанную на машинке копию реестра из блокнота Перфильева, и Синельников обратил внимание, что строчки, обозначающие колхоз «Золотая балка» и, по-видимому, садовый кооператив, отмечены карандашными галочками.

Закурив сигарету, Ковалев спросил:

— Как считаешь, чем крышу лучше крыть — черепицей или железом?

— Затрудняюсь. Но одно могу сказать совершенно точно — соломой хуже.

— Правильно. — Ковалев постучал пальцем по реестру. — Они тоже так считают.

— Что-нибудь раскопал?

Ковалев достал из кармана записную книжку в клеенчатой обложке, полистал ее.

— Грубо твой Перфильев работал. Вот, например, колхозу «Золотая балка» по разнарядке полагалось пять тонн кровельного железа, а выдано согласно накладной — шесть.

— А получил колхоз все же пять?

— Правильно.

— За что же взятки?

— Слушай дальше. По разнарядке ему выделили двадцать пять кубометров пиломатериалов, а по накладной — тридцать. Считать умеешь?

— А получил двадцать пять?

— Нет, двадцать восемь.

— Понятно.

— Сколько три кубометра стоят, знаешь?

— Не покупал.

— По госцене — ерунда, а если налево — будь здоров. Не жалко и взятку. Вот, например, у Перфильева записано девятьсот рублей, а толкач говорит: он две тысячи девятьсот дал.

— Куда же разница ушла?

— Наверно, кому-то покрупнее.

— Популярно.

— Это мы с ревизором только по двум позициям прошлись, а там, кроме пиломатериалов и кровельного железа, еще много чего есть.

— С председателем колхоза говорил?

— Председатель ничего не знал. У него других забот хватает. Там жук-толкач есть. Его я допрашивал.

— Ну и что?

— Бьет себя в грудь и размазывает по щекам скупую мужскую слезу. Говорит, бес попутал.

— А как зовут беса? Случаем, не Владислав Коротков?

Ковалев слегка удивился.

— Правильно. А ты откуда знаешь? Почему сразу не сказал?

— Да у меня одни догадки, а теперь, видишь, сошлось. Так еще лучше... А толкач что же, Перфильеву из лапы в лапу давал?

— Через Короткова.

Синельников показал на реестр.

— Ты, кажется, и садовый кооператив навещал?

— Да. У них оборот, сам понимаешь, помельче, но два раза и их нагрели. Или облагодетельствовали.

— Кто нагрел? Перфильев?

— Коротков, конечно. К Перфильеву у кооперативников хода нет.

— Какой план?

— Слушай дальше, я еще не все вытряхнул. Тут как из мохнатого одеяла. Вчера на выезде с центральной базы по моей просьбе задержали грузовик с прицепом, вез кровельное железо. Груз перевесили — три тонны сверх накладной. Я организовал учет по железу — оказалось восемнадцать тонн излишков.

— А директор базы что же?

— Сейчас ревизоры общий учет производят. Он при них. Но не суетится.

— Ты с ним не беседовал?

— Рано еще. Между прочим, он у нас давно на

примете. Дважды делали ревизию, но тогда было все в порядке.

— Знать бы, какие у них отношения были...

— С Перфильевым? — насмешливо спросил Ковалев. — Думаю, довольно теплые.

— Почему?

— Перфильев без этого Казалинского фигу с маслом имел бы. Дома восемнадцать тонн кровельного железа не спрячешь. Тут все в одной завязке.

— Перфильев работал грубо, Казалинский — тонко. Коротков — посредник. Так?

— А еще как же? Только никакой тонкости нет, ребенок придумал бы. Тут наглость, звериная ненасытность.

Синельников тоже закурил, взял у Ковалева отпечатанный на машинке реестр.

— Не оскорбляй зверей. А у Перфильева еще автомобили имелись. Мог бы обойтись и без Казалинского.

— Ну-ка, ну-ка, — оживился Ковалев, доставая авторучку.

— Не надо, — сказал Синельников. — У тебя и так хватает. Оставь на потом.

— Ну ладно, дорогой Алеша. — Ковалев примял сигарету в пепельнице, встал. — Это все от утопленника у тебя пошло?

— Угу. Какой же план? — спросил Синельников.

— Буду разрабатывать Казалинского. А у тебя?

— Мне что же? Надо передавать Короткова целиком и полностью следствию.

— Пока наполовину, — возразил Ковалев.

— Да, извини. Но мне хочется еще кое-что уточнить. А Короткова надо брать.

— Видишь, сколько чести одному мазурику — его персоной занимаются и розыск, и ОБХСС, и следствие. Завонил телефон. Синельников снял трубку и услышал голос Малинина:

— Здравствуй, Леша.

— Привет. Ты что, опять дежуришь?

— А что делать, настало время отпусков... Ты крепко сидишь на своем стуле?

— Ну-ну, не тани.

— Сейчас сообщили из ГАИ: твой Коротков потерял аварию на двадцатом километре Московского шоссе. Улетел через кювет.



— Жив?

— Жив. Подробности не имею.

— Хотел бы сказать спасибо, да язык не поворачивается.

— Ну не унывай. Может, там ничего особенного.

Положив трубку, Синельников повернулся к Ковалеву.

— Вот так. Теперь Коротковым будет заниматься еще и ГАИ.

— Авария?

— Да. — Синельников собрал со стола бумаги, запер сейф. — Пойду попрошу гаишников подбросить на двадцатый километр.

— Ну будь здоров...

...Он приехал на место аварии через сорок минут. Шоссе тут шло слегка под уклон и делало плавный поворот вправо. Белый «Жигуленок» Короткова лежал на левом боку посреди зеленого лужка, за которым начинались молодые лесопосадки. До первого дерева ему не хватило метров десяти. Машина была целенькая, если не считать выдавленных стекол. Возле нее стояли и разговаривали четверо в милицейской форме, старший по званию был майор. Чуть поодаль пасла белорыжую корову, держа ее на длинной веревке, обмотанной вокруг рогов, девочка лет двенадцати.

Синельников представился, спросил, что с пострадавшим. Его уже увезла «Скорая» в больницу. Опасности для жизни нет, он даже не потерял сознания. Перелом левого бедра и левой плечевой кости.

— Что здесь произошло?

Майор показал на серую ленту шоссе, потом на девочку, пасшую корову.

— Эта стрекоза не удержала, тут трава сочнее. Они на той стороне паслись, стали переходить дорогу, а у него скорость была восемьдесят. Тормознул, а тормоза отказали. На асфальте тормозного следа нет.

— Я не автомобилист. Объясните, пожалуйста, отчего это могло случиться, — попросил Синельников.

— Он говорит, жал на педаль до упора, но тормоза отказали. — Майор кивнул на стоявшего рядом лейтенанта. — Вот наш специалист лучше вам растолкует.

— Понимаете, установлен один факт — тормозная жидкость вытекла, — глядя на машину, заговорил лейтенант, как бы рассуждая с самим собой. — Могло быть

так. Он держал восемьдесят. Девочка с коровой появилась на шоссе. Потребовалось экстренное торможение. При этом в тормозных шлангах создается высококонцентрированное давление. Шланги не выдержали, лопнули, машину понесло. Ручным тормозом в таких случаях воспользоваться обычно не успевают, да он тут и не помог бы.

— Но если шланги нормальные, они же выдерживают в подобных случаях?

— Безусловно.

— Значит, у Короткова машина была не в порядке?

— Техосмотр он проходил месяц назад. Все было в ажуре. И машина новенькая.

— А можно установить, что со шлангами?

— Для этого их надо изъять.

— А для того чтобы изъять, надо иметь основания, — вмешался майор.

— Например? — уточнил Синельников.

— Ну если есть подозрения в каком-то злоумышлении.

— Основания есть. Оформите все, как у васлагается, а основания я вам представлю. — Синельников подумал немного и обратился к лейтенанту: — Скажите, а можно так повредить эти самые шланги, чтобы они лопнули именно при аварийной ситуации?

— Вообще-то можно.

— А как?

— Например, надрезать ножом.

— Ну а как же тогда ездить на машине без тормозов?

— Я сказал — надрезать, а не перерезать. С надрезанными шлангами можно ездить при плавных торможениях довольно долго. Они лопаются лишь при резком, экстренном торможении.

— Благодарю. А Короткова куда отвезли?

— В первую городскую, — сказал майор.

— Вы говорите, кроме ноги и руки, у него все в порядке?

— Так определил доктор со «Скорой».

Синельников обменялся с майором телефонами, обошел вокруг машины, обратив внимание, что вместо фары, которую Коротков разбил о сук в среду на прошлой неделе, вставлена новая, попрощался и уехал в город.

## Глава VI || ВЫХОД НА КЛЕШНЮ

В больнице хирург сказал Синельникову, что побеседовать с Коротковым сегодня нельзя: он перенес довольно болезненные процедуры, ему дали снотворного, и теперь он будет спать до следующего утра. Завтра же пострадавший вполне сможет без ущерба для здоровья отвечать на любые вопросы. Так у Синельникова образовалось время, чтобы подвести предварительные итоги. Он позвонил следователю Журавлеву, который занимался этим делом, тот пришел к нему, и они обсудили положение.

Что же получалось? Из того, что удалось собрать, общая картина предположительно складывалась так.

Перфильев, имея возможность влиять на распределение фондируемых материалов, вступил в преступный сговор с директором базы Казалинским. Коротков подбирал подходящую клиентуру из лиц, добивавшихся этих фондируемых материалов, и служил посредником между ними и Перфильевым, а может быть, и между Перфильевым и Казалинским.

С учетом личности Перфильева и образа его жизни до кончины жены не будет противоестественным предполагать, что он был втянут в преступные махинации Казалинским или Коротковым, использовавшими его малодушие и недостойное поведение.

Не будучи человеком, без остатка потерявшим совесть, Перфильев в конце концов решил явиться с повинной. Это выглядит правдоподобно, если принять во внимание разговор между Перфильевым и Коротковым за скатертью-самобранкой, в котором упоминалось слово «конфискация», и показания Марии Луньковой о том, что Перфильев не исключал для себя в перспективе тюремное заключение.

Сообщники, узнав о его намерениях, пытались отговорить Перфильева, но тщетно. Боясь возмездия — а оно должно быть самым суровым, — они видели один выход: убрать его. Возможно, именно для этого был организован пикник. Сердечный приступ облегчил Короткову его задачу.

Коли главой преступной группы является Казалинский, легко объяснить автомобильную аварию — при условии, если экспертиза установит, что тормозные шланги на машине Короткова были надрезаны. Ковалев обнаружил излишки кровельного железа на базе и, может быть, обнаружит еще что-нибудь, но страшнее всего для Казалинского живой свидетель и соучастник. Излишки — это не смертельно...

Версия выстраивалась стройная, вот только бы еще и доказать ее.

Мария Лунькова говорила, что Перфильев боялся и ненавидел человека по прозвищу Клешня. Если установить его настоящее имя и если им окажется Казалинский — это будет просто подарок. В общем, сплошные «если»...

О роли Короткова в гибели Перфильева можно лишь догадываться, и тут все останется именно на стадии догадок. Относительно того, что Коротков вдруг возьмет и признается в убийстве, Синельников иллюзий не питал.

Иной вопрос — покушение на жизнь самого Короткова. Он не дурак, он, конечно, понимает, что предпочтительней оказаться под следствием по делу о хищениях, чем по делу об убийстве. Улик он не оставил, но все же нацеленность дознания именно на версию об убийстве несомненно почувствовал, и это должно его пугать...

Синельников с Журавлевым условились, что завтра утром отправятся вместе в больницу к Короткову, но, прежде чем Журавлев ушел, Синельников позвонил по внутреннему телефону в ГАИ. Лейтенант, с которым он разговаривал там, на лужке, сообщил: экспертиза установила, что тормозные шланги имели надрезы, сделанные острым предметом; состояние вещества в месте надрезов позволяет определить, что они произведены совсем недавно, а когда именно — можно будет точно сказать по прошествии нескольких дней: для этого необходим специальный эксперимент.

— Садись, — сказал Синельников поднявшемуся было Журавлеву. — Еще два звонка.

Сначала он соединился, опять же по внутреннему телефону, с Ковалевым.

— Скажи, пожалуйста, у Казалинского автомобиль есть?

— «Жигули» последней модели.

— Значит, он в устройстве мотора и всего прочего разбирается?

— А кто его знает... У меня вот приятель лет двадцать машину держит, а умеет только баранку крутить. Свечи ему сосед по гаражу меняет.

— Ну спасибо.

Потом Синельников позвонил по городскому телефону Румерову.

— Вильгельм Михайлович, прошу приехать ко мне. Буквально на пять минут.

Румеров как бы даже обрадовался звонку.

— Немедленно буду.

— Посиди, — положив трубку, сказал Синельников Журавлеву. — Сейчас познакомишься с одним из взяточдателей. Все равно тебе с ним общаться придется.

Едва Синельников кончил излагать Журавлеву подробности истории с тормозными шлангами и свои соображения по этому поводу, приехал Румеров. Как в последний свой визит сюда, он вошел в кабинет с улыбкой, всем своим видом показывая, что готов расшибиться в лепешку, лишь бы люди остались им довольны.

— Надеюсь, Вильгельм Михайлович, вы никому не передавали содержание наших бесед? — спросил Синельников.

— Как можно?! — воскликнул Румеров. — И вы же меня предупреждали.

— Скажите, на машину Короткова новую фару у вас на базе ставили?

Румеров зарделся.

— Вы же понимаете, товарищ Синельников, мне неудобно сразу ему во всем отказать... По-моему, так даже деликатнее... Мы были друзьями.

— Когда ставили фару?

— Позавчера.

— А с Казалинским вы не дружите?

— С Артуром Георгиевичем? Это нельзя считать дружбой. Скорее доброе знакомство.

— Ему вы никаких услуг по автомобильной части не оказывали?

Лицо Румерова сделалось пунцовым.

— Представьте, он два дня назад попросил проверить развал колес. У нас это можно...

— Когда он привел свою машину, машина Короткова была уже у вас на базе?

— Он не сам приезжал. Какой-то молодой человек.

— Но автомобиль Короткова уже был тогда на базе?

— Да, — с некоторым испугом отвечал Румеров. — Разве что-нибудь случилось?

Синельников не счел нужным оповещать его об аварии, он лишь заметил:

— Поразительная вещь, Вильгельм Михайлович. Автобаза государственная, а вы ею распоряжаетесь, как личной. Вам это в голову никогда не приходило?

У Румерова был глубоко страдальческий вид.

— Это, конечно, нарушение... Но я же с вами откровенно...

Действительно, было чему поражаться: этот сорокалетний дядя, по всей вероятности, всерьез полагал, что его откровенность вполне оправдывает нарушения.

— Идите, Румеров, вас еще вызовут.

Поглядев на закрывшуюся за Румеровым дверь, Журавлев сказал:

— Теперь бы ножичек найти.

— Недурно бы, — согласился Синельников.

Он понимал, что Журавлев имеет в виду. Научно-технический отдел управления располагает лазерным микроанализатором, который позволяет определять химическое строение вещества на молекулярном уровне. Если найти нож, которым делались надрезы на тормозных шлангах, микроанализатор безошибочно выявит на нем следы вещества этих шлангов. Это для суда неопровержимое доказательство — вещественное в буквальном, изначальном смысле слова.

— Поискать бы в машине у Казалинского, — мечтательно продолжал Журавлев.

— Придем мы с тобой к прокурору: мол, дайте, пожалуйста, санкцию на изъятие ножей и других режущих предметов из автомобиля, принадлежащего гражданину Казалинскому. А он нас спросит: на каких основаниях? Это же обыск.

— Ну не квартиру же мы будем обыскивать. Подключим Ковалева и ГАИ — можно убедить прокурора.

— Нет, сначала надо допросить Короткова. Посмотрим, что он нам даст.

Был уже седьмой час. Синельников вытряхнул в газету окурки из пепельницы.

— Пошли. Завтра в десять прямо у больницы, или как?

— Можно, — согласился Журавлев и, остановившись у двери, оглянулся на Синельникова. — Одного не пойму: зачем надо было на автобазе шланги резать? Лишний след, лишние свидетели.

— Коротков свой автомобиль у гостиницы «Юность» ставил. Там милицейский пост, там центральная стоянка патрульного экипажа. Там неудобно.

Синельников не предусмотрел важной детали. Когда они пришли к главному врачу больницы и тот вызвал хирурга, чинившего травмы Короткова, выяснилось, что пострадавший находится в хорошем состоянии и его можно допрашивать, но выяснилось также, что лежит он в шестиместной палате, где, разумеется, никакой допрос недопустим. Поскольку одного больного перемещать легче, чем пятерых, Короткова перекатили в рентгеновский кабинет, не функционировавший в этот час. Кроме кривотолков в палате, это временное перемещение вызвало неудобства для медперсонала и для самого Короткова, но что поделаешь...

Коротков, кажется, не был особенно испуган, увидев в рентгеновском кабинете уже знакомого ему Синельникова и незнакомого Журавлева.

— Мы просим прощения, но откладывать нельзя, — сказал Синельников.

— Ничего, — вяло отозвался Коротков. — Мне, правда, спешить некуда...

— Тогда начнем. Как вы считаете, почему отказали тормоза?

Можно было по выражению лица догадаться, что не такой вопрос ожидал Коротков услышать в первую очередь: Синельников работает не в ГАИ.

— Трудный случай, — ответил он, подумав. — Сам хотел бы знать...

Синельников достал из папки копию акта экспертизы автоинспекции.

— Вот тут объясняется причина. Читать можете?

— Темновато, — сказал Коротков, беря лист.

Шторы на окнах кабинета были задернуты, а лампочка светила тускло. Синельников отдернул штору на одном окне и снова стал слева у кровати, рядом с Журавлевым. Коротков прочел акт дважды и закрыл глаза.

— Кому понадобилось резать шланги? — спросил Синельников. — Кто хотел вас угробить?

Коротков вернул ему акт, но ничего не отвечал. Требовалось его подтолкнуть, и, следуя разработанному плану допроса, Синельников вынул из папки акт судебно-медицинской экспертизы, содержащий ответы на вопросник по поводу гибели Перфильева.

— Прочтите еще и это.

Долго читал Коротков, читал и перечитывал. Он ни разу не поднял взгляда на стоявших у его кровати, но Синельников испытывал странное ощущение, будто видит сквозь его приспущенные веки тайную работу мысли.

Уже из одной последовательности вопросов Коротков, если он неглупый человек, должен понять, какие подозрения держат против него. Синельников пришел к нему не торговаться, но продешевить не хотел. Ему нужно было задушить заразу, которая, как жирное пятно, расплзлась от этого раздавленного паука. У него в душе не было к Короткову ни капли жалости и сочувствия. Это не Манюня и не Перфильев.

— Или я ошибаюсь, или Александр Антонович утонул не сам, — наконец вяло, как прежде, произнес Коротков.

— Совершенно верно, — подтвердил Журавлев.

Коротков поглядел на Синельникова, не обратив никакого внимания на Журавлева.

— Думаете, утопил его я?

— А вы как думаете? — не смягчая тона, спросил Синельников.

— Зачем вы мне даете это читать?

— Для информации.

— Напрасно стараетесь. Никого я не топил. А вам утопленника повесить не на кого.

— Вы, Коротков, наглее, чем я считал. И слову своему не хозяин. Мы же договаривались, что вы из города надолго отлучаться не будете, а поехали в Москву. Смо-



трите, как бы не пришлось ограничить сферу вашего передвижения.

Коротков скривил губы.

— Уже и так ограничили.

— Повторяю вопрос: кто надрезал шланги?

— Хулиганы какие-то, наверно.

— В таком случае сообщу вам еще кое-что, также для информации. Александр Антонович называл вас своим «Отделом кадров», а вы его бесстыдно обманывали.

— Каким образом?

— Например, Румеров и Максимов дали вам по шестьсот рублей, а вы Александру Антоновичу отдали по четыреста. Или я опять на вас зря вешаю?

Коротков молчал, и Синельников продолжил:

— Не припомните ли вы, сколько получили от толкача из колхоза «Золотая балка» и от садового кооператива и сколько передали Перфильеву?

Коротков молчал.

— Однажды, — продолжал Синельников, — толкач дал вам две тысячи девятьсот рублей. Александр Антонович получил из них девятьсот. Куда девались остальные? Себе взяли?

Коротков все еще молчал.

— Так вы слишком много сами на себя навешаете. Тяжело нести. Поделитесь с Казалинским Артуром Георгиевичем. Легче станет.

Коротков держал в правой руке акт судебно-медицинской экспертизы, и при упоминании имени Казалинского рука его непроизвольно сжалась, скомкав угол листа. Синельников осторожно высвободил лист, положил в папку и сказал:

— Один мой коллега любит выражение «как из мохнатого одеяла». Я вам вытряхнул все именно как из мохнатого одеяла. По-прежнему будете молчать?

Коротков пошевелил пальцами левой, сломанной руки, заключенной в гипс, и застонал. Может быть, хотел дать понять, что этот разговор его измучил. Журавлев сказал:

— Если вам плохо или вы устали, мы можем уйти. Отдохните, после продолжим.

— Чего уж там, — как бы даже снисходительно возразил Коротков. — Давайте все к разу.

— Тогда запишем. — Синельников сел за стол, стоявший в углу, у двери, ведущей в комнату, где прояв-

ляются рентгеновские снимки, и вынул из папки несколько синеватых разлинованных листов. — Относительно Перфильева отвечать будете?

— Не надо, товарищ Синельников, все равно не подложите, — тем же тоном сказал Коротков.

Синельников и сам знал, что тут пустой номер, он сделал эту попытку просто на всякий случай.

— Хорошо, пусть Перфильев останется на вашей совести. Кто мог надрезать шланги?

— Например, Казалинский.

— Отвечайте точно на вопросы. Почему «например»? Мог бы и еще кто-нибудь?

— Ну Казалинский.

— Это покушение на жизнь. Каковы мотивы? Почему он покушался?

— А это вы у него спросите.

— Вам мотивы неизвестны?

— Пока нет.

— Вы друзья?

— Можно считать и так.

— В каких отношениях были Перфильев и Казалинский?

— В деловых. Водку вместе не пили.

— С кем вы познакомились раньше — с Перфильевым или с Казалинским? — задал вопрос Журавлев.

— Приблизительно в одно время.

— А именно?

— Три года назад.

— Все-таки с кем раньше?

Коротков помолчал, словно бы взвешивая значение этого вопроса, и, кажется, не сочтя его серьезным, ответил:

— Ну, предположим, с Казалинским. Какая разница...

Синельников записал, посмотрел на Журавлева.

— У тебя все? — И обратился к Короткову: — Вам Перфильев дал прозвище «Отдел кадров». Кого он звал Клешней?

— Казалинского.

Все, что надо было установить срочно, они установили. Синельников слова посмотрел на Журавлева, подмигнул ему, положил листы протокола на папку, подошел к кровати.

— Прочтите и подпишите.

Коротков взял протянутую шариковую ручку.

— Я вам доверяю, товарищ Синельников. — Он написал протокол, не читая.

— На сегодня хватит, — сказал Журавлев. — Поправляйтесь, мы еще поговорим.

Они вышли из больницы.

— Да, ножичек нужен позарез, — задумчиво сказал Журавлев, сам не замечая, что сострил, хотя и не совсем умело.

Это получилось смешно, но Синельников скрыл улыбку. Он относился к Журавлеву с уважением, и не по той только причине, что был лет на пятнадцать моложе. Журавлев был добрый человек и принадлежал к тому немногочисленному племени людей, над которыми легко подшутить и которые готовы поверить самой невероятной небылице.

Зато в чисто профессиональной области он был на редкость трезвомыслящ, прозорлив и даже хитроумен. Самый продувной мошенник не смог бы его провести. Он умел добыть факты там, где, казалось, были одни химеры.

Как это в нем сочеталось, никто понять не мог. Синельников, во всяком случае, был рад, что дело попало в руки Журавлева...

Они сели в автобус и до управления ехали молча, а когда сошли, Синельников предложил:

— Зайдем к Ковалеву?

Журавлев, кажется, угадал его мысль.

— Пожалуй. Возможно, у него все уже определилось с Казалинским.

Ковалева они застали с телефонной трубкой в руке.

— А я вам поочередно называю — нет и нет, — сказал он.

— Как на базе? — спросил Синельников.

— Там раскопали столько — всеми излишками кровельного железа не укроешь.

— Что это вдруг Казалинский так крупно прокололся?

— Сам не пойму. Последняя ревизия — я ж тебе, кажется, говорил — проводилась три месяца назад. Тогда ничего не нашли.

Они помолчали немного, а потом Синельников сказал, поднимаясь со стула:

— Жалко выпадать из команды, но остальное не по моей части.

Дальнейшее действительно не входило в сферу его деятельности. Он и так уже несколько — правда, совсем немного — вышел за рамки своих обязанностей в деле об утонувшем Перфильеве, которое теперь разрослось и приобрело совсем иной характер и окраску.

— Не горюй. Мы тебя в курсе будем держать, — сказал не без иронии Ковалев.

— Спасибо. Ты Казалинскому какую меру пресечения просить будешь?

— Под стражу.

Синельников повернулся к Журавлеву.

— Короткову, надеюсь, тоже?

— Пока мало оснований.

— Они тут есть. А первым долгом очень тебе желаю ножичек отыскать.

— Постараемся.

— Какой еще ножичек? — заинтересовался Ковалев.

— Он тебе разъяснит, — сказал Синельников и не упустил случая съязвить в ответ: — А вообще-то ножички — это не для тебя. Ты копайся в бумажках, вешай железки, считай усушки.

Они пожелали друг другу удачи и разошлись.

## *Глава VII* || **ЛИНИЯ ПОВЕДЕНИЯ**

Перед Журавлевым сидел Казалинский — плотного телосложения мужчина лет пятидесяти пяти, с загорелым лицом, с серыми усталыми, но недобро глядевшими глазами, с сединой на висках, в дешевом полушерстяном коричневом костюме. Пиджак был чуть тесноват ему в плечах, и, может быть, от этого он держался скованно, хотя по всем повадкам в нем чувствовался человек, привыкший не смущаться.

При первой встрече он показался Журавлеву вполне интеллигентным, по крайней мере внешним видом и осанкой, но впечатление было ложным.

— Что вы мне подсовываете какую-то липу? — грубым, густым баритоном произнес Казалинский и швырнул на стол три листа, скрепленных маленькой металлической скобочкой.

Это было заключение экспертов научно-технического отдела о проведенном ими исследовании трех ножей и двух тормозных шлангов автомобиля марки «Жигули» с помощью лазерного микроанализатора.

— Вы напрасно называете это липой, — спокойно и слегка назидательно заговорил Журавлев. — Суд, любой суд, будет считать это совершенно неопровержимым доказательством. Мой долг предостеречь вас от заблуждений. Вот, прошу вникнуть...

У Журавлева на отдельном столике лежали под газетой три разномастных ножа: один — складной, второй — финский, с рукояткой в форме козьей ноги, третий — самоделка, смастеренная из лезвия опасной бритвы, со сточенным обухом и наборной плексигласовой рукоятью. Журавлев откинул газету и продолжал таким тоном, словно читал лекцию:

— ...Вот смотрите. Эти ножи были изъяты у вас в присутствии понятых. Финка — в гараже, складной и бритва — в принадлежащей вам машине. Ни на одном из них, разумеется, нет видимых следов вещества тормозных шлангов. Но аппарат, производивший анализ, — очень точный и чувствительный аппарат. Он не обнаружил вещества шлангов на финке и складном, а на сделанном из бритвы обнаружил. Почему?

— Мало чего он там обнаружит... Бред какой-то, — отмахнулся Казалинский.

Журавлев был терпелив.

— Хорошо, но все же постарайтесь усвоить — это заключение имеет для суда силу вещественного доказательства. — Он накрыл ножи газетой и продолжал: — Скажу более. Следствие располагает еще одним заключением, а именно: надрез на шлангах сделан в тот самый день, когда принадлежащая Короткову машина находилась на автобазе номер два. Это установлено экспертизой совершенно точно. В тот же день вашу машину проверяли на автобазе — развал колес, не правда ли?

— Проверяли, ну и что? Я туда не приезжал.

— Машину приводил какой-то молодой человек. Кто он?

— Так, попросил одного.

— Кто он? Как фамилия?

— Зовут Сашкой, а фамилию не знаю. Я его всего пару раз видел.

— Где он живет?

— Не знаю. Кажется, нездешний.

— И так вот, без сомнений, доверили машину?

— А что бы он с ней делать стал?

— Для чего нужно было резать шланги?

Казалинский подался вперед, вытянул перед собой руки ладонями вверх.

— Вот и я спрошу: ну для чего мне резать эти проклятые шланги? Что мне — моей базы мало? Еще и это на свою голову?

— У вас были с Коротковым общие интересы?

— Были.

— Какого рода?

— Известно какого — он мне записочки от Перфильева носил, я исполнял.

— Вы хотите сказать, что хищения на базе производились по приказу Перфильева?

— Не хочу. Уже сказал.

— Значит, главным был Перфильев?

— Неужели я?..

Журавлев позвал из-за двери конвойного. Казалинского увели. У Журавлева была давно выработавшаяся манера — кончать допрос на болевой, как он называл, точке. Это часто помогало.

Достав из сейфа личное дело Казалинского, он еще раз перечитал его.

Из анкеты явствовало, что гражданин Казалинский — 1928 года рождения, беспартийный, образование — семь классов, трудовой стаж с 1945 года — всю жизнь работал, имея дело с материальными ценностями. Он начинал учеником в мясном магазине и дослужился до поста директора овощного магазина. Под судом не был, но под следствием состоял. В трудовой книжке, где значилось, что он был уволен с должности директора по статье Кодекса законов о труде, записано, что ему отказано в праве занимать в торговых организациях должности, связанные с материальной ответственностью. В тот год Казалинский сменил специализацию и стал работать на различных складах и базах. А восемь лет назад сменил и место жительства и приехал сюда, в родной город Журавлева. На центральной базе он за

это время прошел путь от кладовщика до директора.

Журавлева вовсе не интересовало сейчас, кто его продвигал, хотя в делах подобного рода знать это бывает бесполезно. Существенное состояло в том, чтобы точно установить характер субординации в связке Перфильев — Коротков — Казалинский. Это Журавлев считал чем-то вроде мерительного инструмента, с помощью которого можно выверить версию о покушении Казалинского на жизнь Короткова и в конце концов определить меру вины каждого.

Чисто технической, если так можно выразиться, стороной деятельности преступной группы занимался Ковалев, и он быстро продвигался к окончанию. Журавлев должен был не отстать, поэтому он отказался от своего первоначального намерения отложить на несколько дней допросы Короткова, который лежал теперь в изоляторе для подсудимых. Журавлев хотел дать ему как следует оправиться после аварии, но врач объяснил, что Короткова, если бы не переломы, хоть сию минуту можно зачислять в авиацию, так что никакими допросами ему не повредишь.

Журавлев захватил кассетный магнитофон и отправился в изолятор. Кроме магнитофона, у него был небольшой чемоданчик, а в чемоданчике в числе других бумаг имелся один документ. Когда Короткова брали под стражу и переводили в изолятор, среди его вещей обнаружили старый, наверняка военных времен, кожаный кисет, пузатенький и невероятно тяжелый, набитый под горло, перетянутое шелковым шнурком. В нем оказались перстни, брошки, серьги, браслеты и золотые десятирублевики царских времен. Опись содержимого кисета, лежавшая в чемоданчике, была важным документом.

Он предвидел, что, несмотря на пренебрежительное к нему отношение, Коротков обрадуется его появлению, и не ошибся. Все подсудимые стремятся к какой-то определенности и трудно переносят медленное течение следствия. Коротков не составлял исключения.

Войдя в палату, Журавлев взял из-за стола стул, поближе подвинул его к кровати и спросил о самочувствии. Коротков не жаловался. Журавлев объяснил, что хочет записать допрос на магнитную ленту, но, может быть, лучше сначала просто поговорить откровенно?

— Можно и поговорить, — охотно согласился Коротков.

Журавлев поставил магнитофон на стол, не включив его, заложил руки за спину и прошелся вдоль кровати взад-вперед.

— Вы, Коротков, при последней нашей встрече сказали инспектору Синельникову, что познакомились сначала с Казалинским, а потом уже с Перфильевым. Обрисуйте, пожалуйста, на какой почве произошло знакомство с Казалинским.

Коротков здоровой рукой взъерошил свои и без того спутанные волосы и спросил:

— Вы в колхозе «Золотая балка» с Сидоренковым говорили?

— Нет, но я знаю, чем он занимается. С ним беседовал работник ОБХСС.

— Ну так вот... Сидоренкову надо было десять кубометров стройматериалов достать. Он мне сказал, что директор базы Казалинский в принципе всегда готов это устроить, но он терпеть его не может, Сидоренкова то есть. Не хочет с ним связываться. А я ему неизвестен, со мной он согласится иметь деловые отношения. А я внакладе не останусь. Так говорил мне Сидоренков.

— А почему Казалинский не терпел Сидоренкова?

— Просто из осторожности. Этот Сидоренков три раза сидел.

— За что?

— За такие вот штучки.

— Но как же вы подошли к Казалинскому?

— У него есть слабость.

— А именно?

— Он любит золотые червонцы царской чеканки.

— Они у вас были?

— Не у меня. У Сидоренкова.

— Такой осторожный человек... — с сомнением сказал Журавлев. — Как же от незнакомого принимать?

— Я сказал, что от Сидоренкова. Как он просил.

— Непонятно. Казалинский же его, как вы говорите, боялся. Не увязывается, знаете ли.

— Все на месте. Клешня не хотел контактировать с ним напрямую. А через прокладку не возражал.

— Вы, значит, служили только прокладкой? — Вопрос был не без подвоха, но Журавлев и не скрывал этого, зная, что Коротков тоже все поймет.



— Вы ж предлагали откровенно, а сами ловчите. Я не пешка, — сказал Коротков.

— Я не считаю вас пешкой. Наоборот. — В этих словах Журавлева заключался уже не подвох, а очень опасный для Короткова смысл. И тот опять все оценил.

— Не надо лишнего, — деланно-умоляюще попросил Коротков. — Я получал свою долю, но не надуйте этот шарик так сильно, может лопнуть.

Журавлев не собирался разубеждать Короткова, будто имел в виду не то, о чем он подумал, а совсем иное — ну, например, его личные качества.

— С Александром Антоновичем Перфильевым вы познакомились позже, — сказал он, оставив слова Короткова без внимания. — Как это произошло?

— Сначала я познакомился с его дочерью.

— Случайно?

Коротков ухмыльнулся.

— С красивыми девочками не знакомятся случайно. Это делается умышленно.

— По-моему, теперь неоткровенны вы.

— Есть немного, — жестко сказал Коротков. — А вы ходите вокруг да около. Давайте в лоб.

— С удовольствием... Я предполагал, что на Перфильева вас вывел Казалинский. Так должно быть по логике вещей. Но я могу и ошибаться.

— Не ошибаетесь.

— Значит, это он подсказал относительно Елены Перфильевой?

— Да.

— У вас что же, был открытый разговор — мол, сойди с дочерью, чтобы войти в доверие к отцу?

— Не так примитивно. Просто затеялся мужской разговор...

— В первую же встречу?

— Нет, это было уже после тех десяти кубометров. Мы стали видеться.

— Ну и?..

— Казалинский сказал, есть в городе одна девчонка — пальчики оближешь. Жалко, он для нее староват. Да и не очень-то легко подступиться.

— Мало ли в городе красивых девушек... Он что же, адрес вам сообщил?

— У нее автомобиль. Он сказал, где она заправляется. И номер машины.

— А кто она, чья дочь, кем работает Перфильев — не объяснил?

— Он объяснил: хоть у нее и автомобиль, но девочка, кажется, нуждается в деньгах.

— Вы не сочиняете? — Для Журавлева все это звучало дико.

— Сочинить можно и похлеще. Я вам голую правду.

— Ну и что же дальше?

— Познакомились. У нее тогда недавно умерла мать. Ездил на юг на моей машине. Она неважно водила. Я ее заодно и подучил. Потом дал займы пятьсот.

— Она вернула?

— Нет, конечно. Мы собирались пожениться.

— Казалинский радовался вашему успеху?

— А как вы думаете?

Они еще ни разу не притронулись к тому главному предмету, ради которого велся этот долгий разговор, но у Журавлева сложилось отчетливое ощущение, что Коротков считает подразумеваемый, умалчиваемый предмет совершенно ясным для него, Журавлева. Идя сюда, Журавлев допускал, что Коротков примет ту же линию поведения, какую выстроил Казалинский: сваливать основную вину на мертвого Перфильева. Но из того уже, что было тут сказано, можно сделать заключение: Коротков решил вести себя иначе. Даже если у них с Казалинским существовал на сей счет предварительный сговор. Поэтому Журавлев перескочил через ненужные ему сейчас подробности и приступил к основному.

— С вашего позволения, давайте определим роли. Образовался, как говорится, триумvirат — вы, Казалинский и Перфильев...

— Не тот порядок, — перебил Коротков. — Казалинский, Перфильев и я.

— А не желаете поставить себя в середину?

— Я только передатчик. Ну и приемник, если уж вам так хочется.

— Значит, главным был Казалинский?

— Да.

— А роль Перфильева в чем заключалась?

— Он выписывал столько материалов, сколько требовал Казалинский.

— Вы, должно быть, плохо знаете, как распределяются фондируемые материалы. Существует разрядка.

— В этой кузне я не разбираюсь. Знаю, что определенным лицам выписывалось больше, чем надо. Их указывал Казалинский. От них я получал деньги, отдавал Казалинскому, а он выделял часть Перфильеву.

— А вам?

— Маленькую часть.

— А что значит — указывал?

— Казалинский через меня называл Перфильеву фамилии толкачей из тех, которые приезжали что-нибудь получать.

Тут была некая шаткость. Журавлев отвел взгляд в сторону, сказал как бы в пространство:

— Такой осторожный человек... — Он в точности повторил ту же фразу, которую произнес полчаса назад, имея в виду Казалинского. — Непохоже на него. Сам себе искал клиентов... Их было довольно много. Это опасно. Вот с Сидоренковым он вел себя правильно... А здесь, простите...

— Намек понял. Были клиенты и от меня, — признал Коротков.

— Мы все это зафиксируем в протоколе. Я не предупреждал вас об ответственности за дачу ложных показаний, но, надеюсь, вы сознаете...

— Не беспокойтесь, сознаю.

Журавлев сел за стол и на разлинованных бланках записал по порядку вопросы и ответы. Он записал их в самой сжатой форме. Закончив, прочитал протокол и сказал:

— Вы подозреваете, что тормозные шланги мог повредить Казалинский?

— Больше некому.

— Сейчас вы в этом уверены, судя по вашему тону. Откуда появилась уверенность?

Не показав вида, Журавлев, однако, был действительно удивлен уверенным тоном Короткова. Если версия о предумышленном убийстве Перфильева верна, Короткову ни с какой стороны не выгодно обвинять Казалинского в покушении на его собственную жизнь, ибо ничто другое не может так подкрепить эту версию. Не иначе Коротков что-то замыслил. Журавлеву пока оставалось только гадать и внутренне поражаться холодной расчетливости этого совсем еще молодого человека. В самый раз было задать себе наивный вопрос: «И откуда такие типы берутся?» Но Журавлев во время

работы подобных вопросов самому себе не задавал. Разве что после, по дороге домой.

— Я говорю, больше некому, — повторил Коротков.

— Нужна веская причина для таких чрезвычайных мер.

— Зачем ему свидетель, который все знает?

— Все-таки одним этим трудно объяснить поведение Казалинского.

— Чужая душа — потемки.

— Может быть, есть какие-то другие мотивы?

И тут Коротков дал осечку. Он спросил:

— У него?

Лживые люди, привыкшие врать даже без надобности и по ничтожным поводам, когда, например, у них интересуются: «Ты вчера в кино ходил?», обычно переспрашивают: «Кто — я?» Чтобы дать себе время придумать ответ. Тут было нечто похожее, но в вопросе Короткова содержался еще и подтекст, который можно было прочесть и так: «У меня?» Коротков и сам сообразил, что слегка поскользнулся, но это не сбilo его с толку. Так как Журавлев счел нужным промолчать, он пояснил:

— Клешня — страшная личность. Никто не знает, на что он способен.

— Александр Антонович был другого толка человек, не правда ли?

— Небо и земля! — воскликнул Коротков. — Александр Антонович — взрослый ребенок.

Позиции сторон, что называется, окончательно определились. Журавлев подкинул Короткову возможность продемонстрировать свою любовь к покойному Перфильеву.

— Вы никогда не ссорились?

— С ним невозможно было ссориться. И потом я намного моложе. Я уважал его. Он, правда, не разрешил Лене выйти за меня замуж до окончания института. Но в общем-то это понять можно. Он был справедливый мужик.

Ну, разумеется. Все так и должно быть. Кому придет в голову после таких слов подозревать человека в убийстве потенциального тестя?

Последнюю часть разговора Журавлев не стал оформлять в виде допроса. К сожалению, бумага не способна передать оттенков тона и настроения. Он вынул из че-

моданчика опись драгоценностей, дал ее Короткову и сказал:

— Во время аварии при вас был кисет с драгоценностями. Тут они перечислены. Это все принадлежит вам?

— Не все, — внимательно прочитав опись, ответил Коротков.

— Уточните, пожалуйста.

— Серьги и браслеты не мои.

— Чьи же?

— Елены Перфильевой.

Журавлев вспомнил о настоятельном совете Синельникова дознаться, зачем Коротков приезжал к дочери Перфильева в ночь после несчастья с ее отцом.

— Вы навещали ее ради этого?

— Да.

— Принадлежащие вам ценности хранились у нее?

— Да.

— А к чему же было брать ее собственные?

— На всякий случай.

— Опасались конфискации?

— Можно считать и так.

— Ее драгоценности, значит, нажиты нечестным путем?

— Кое-что осталось от матери. Кое-что я подарил.

— А Казалинский не дарил?

— И он тоже.

Это Журавлев внес в протокол, попросил Короткова прочесть и подписать его, что тот и сделал.

Журавлев закрыл чемоданчик, взял магнитофон и сказал:

— Ну до свидания. Завтра я вас потревожу. Придется доставить вас в управление на очную ставку с Казалинским.

## *Глава VIII* || ОЧНАЯ СТАВКА

Маленький кабинет Журавлева был непригоден для очной ставки: в нем едва умещались стол и четыре стула. Коротков будет на каталке. Журавлев пригласил

Ковалева, да еще надо усадить отдельскую секретаршу-стенографистку. Выход нерасторопному Журавлеву подсказала сама секретарша: заместитель начальника отдела позавчера отбыл в отпуск, а у него кабинет побольше. Пока утрясаясь этот пустяковый вопрос, прошло каких-нибудь десяток минут.

Ковалев уже допрашивал и Казалинского, и Короткова, и их многочисленных клиентов-взятодателей. Ревизия установила все — или почти все — эпизоды отпусков дефицитных материалов в нарушение законного порядка. ОБХСС неопровержимо изобличил Казалинского в хищении социалистической собственности в особо крупных размерах.

Задача теперь заключалась в том, чтобы изобличить Казалинского как инициатора создания преступной группы и как ее руководителя, а также в злоумышленной порче автомобиля Короткова, повлекшей за собой аварию, в результате которой владелец автомобиля получил тяжелые увечья. Вторая половина задачи, собственно, была уже решена — для суда вполне достаточно заключения научно-технической экспертизы.

Журавлеву, конечно, очень хотелось бы выявить истинную причину гибели Перфильева, но, как и Синельников, он видел, что тут все глухо, прямых улик против Короткова нет и добыть их не удастся...

В кабинете было два стола — один обыкновенный канцелярский письменный, второй, стоявший перпендикулярно ему, длинный полированный, на хилых ножках. Расположились так: Журавлев сел в кресло за письменный, Ковалев рядом, на углу, Казалинский за длинным, лицом к окнам, а на торце длинного — секретарша. Коротков лежал на каталке с двумя подушками под головой, каталка стояла вдоль длинного стола по противоположную от Казалинского сторону. Перед Ковалевым стоял магнитофон, снабженный микрофоном. Журавлев предупредил Короткова и Казалинского, что все будет записываться на ленту, и приступил к делу.

— Итак, обращаюсь к вам, Коротков. Расскажите, где, как, когда и с какой целью вы познакомились с гражданином Казалинским.

Коротков рассказал. Казалинский при этом ерзал на стуле, стул под ним скрипел.

— Теперь изложите историю вашего знакомства с Еленой Перфильевой.

Коротков изложил. Казалинский сказал громко:

— Врет он все, прохиндей. Я ему...

— Спокойно, — остановил его Журавлев. — Говорить будете, когда вас спросят. — И к Короткову: — Расскажите о вашей первой совместной с Казалинским и Перфильевым сделке. В чем она состояла и когда это было.

— Казалинский мне сказал, что отец Лены может устроить машину. Есть человек, который готов переплатить тысячу. Надо через Лену уговорить Перфильева, а потом сделать ему подарок. Так все и было.

— Казалинский, что вы скажете по этому поводу?

— Врет он.

Журавлев раскрыл папку с закладками, в которой были подшиты разномастные бумаги.

— Зачитываю собственноручные показания гражданина Соколова. Вашего знакомого, Казалинский. «В августе семьдесят девятого года Казалинский сказал мне, что есть возможность приобрести машину «Жигули» без очереди. Для этого я должен связаться с Владиславом Коротковым. Он дал мне его телефон в гостинице «Юность». Коротков при встрече сказал, что это будет стоить на тысячу рублей больше. Я согласился». Казалинский, вы признаете, что этот эпизод имел место в действительности?

— Да.

— Коротков, как распределили вы эту тысячу рублей?

— Казалинский велел купить что-нибудь для Лены рублей за шестьсот, а остальное я оставил себе. Лене купил сережки.

— В данном эпизоде Казалинский не преследовал цель личного обогащения. В чем, по-вашему, состояла его цель?

— Замазать Перфильева.

— То есть вовлечь в преступную группу?

— Можно называть и так.

— Расскажите, каким образом и когда состоялась первая сделка, в результате которой Казалинский и Перфильев получили деньги в виде взятки.

— Это было, кажется, в октябре семьдесят девятого. Сидоренков получал для колхоза «Золотая балка» кровельное железо. Казалинский попросил меня, чтобы я уговорил Перфильева выписать для колхоза больше, чем ему полагалось.

— Вы опять действовали через Елену Перфильеву?

— Нет, мы с ним к тому времени были уже на «ты».

— Перфильев согласился без колебаний? Вы обещали ему вознаграждение?

— Он тогда пил. Денег не было. Уговаривать особенно не пришлось. А насчет вознаграждения я сказал сразу.

— Сколько дала эта сделка?

— Не помню.

Журавлев опять раскрыл папку на закладке.

— Вот показания Сидоренкова: «Я дал Короткову тысячу семьсот рублей». Кто из вас и сколько получил?

— Семьсот взял Казалинский, семьсот я отдал Перфильеву, триста оставил себе.

Казалинский сидел на стуле боком, облокотясь правой рукой на спинку. Пальцами левой он барабанил по столу.

Журавлев захлопнул папку, положил на нее ладонь.

— Из материалов дела явствует, что именно с октября одна тысяча девятьсот семьдесят девятого года подобные сделки приобрели регулярный характер. Вы, Казалинский, на последнем допросе показали, что при этом вы лишь исполняли приказания Перфильева. Он якобы передавал вам записки. Вы по-прежнему утверждаете это?

— Да. Он приказывал, я исполнял.

— У вас сохранилась хотя бы одна записка?

— Кто же такие бумажки собирает?

— Жаль. Сейчас это послужило бы вам на пользу.

— Стало быть, не рассчитал.

— Коротков, что вы можете сказать на сей счет?

— Никаких записок не было, ничего Перфильев не приказывал, все наоборот. Казалинский через меня передавал ему, что для кого сделать.

— Следовательно, фактическим организатором



и руководителем вашей группы является Казалинский?

— Да.

— Гад ползучий, — сказал сквозь зубы Казалинский, посмотрев с прищуром на Короткова.

— Ведите себя прилично, — сделал ему замечание Ковалев. — Вы не на базаре.

— Скажите, Коротков, не выражал ли Перфильев желания прекратить все эти преступные сделки?

Коротков подумал немного.

— В прошлом году, осенью, был у меня с ним разговор. В трезвом состоянии он очень боялся. Позвонил мне ночью, попросил зайти. Лены не было, ездила в Москву. Александр Антонович весь трясся, хотя и нетрезвый. Баста, говорит, пора кончать, выхожу из компании. Велел передать Казалинскому, что больше между ними ничего нет. Я передал.

— Как реагировал Казалинский?

— Скажи, говорит, этому слюняю, что поздно хватился. Он у меня, говорит, в кармане.

— И Перфильев раздумал? Испугался Казалинского?

— Да.

— В дальнейшем он не возвращался к этой мысли?

— Нет.

— Но во время пикника вы старались от чего-то его отговорить. При этом было произнесено слово «конфискация». Объясните, пожалуйста.

Казалинский сидел, словно окаменев, и исподлобья глядел на Короткова. Тот тоже поглядел на него, отвернулся и, помолчав, произнес задумчиво:

— Это была совсем другая мысль.

— А именно? Уточните, прошу вас.

— Александр Антонович решил идти с повинной.

— Когда же он пришел к такому решению?

— На майские праздники.

— Казалинский был осведомлен об этом?

— Конечно.

— И вы пытались Перфильева отговорить?

— Я пытался. — Коротков сделал ударение на «я».

— А что Казалинский?

— Он сказал, что Перфильева надо обезвредить.

— То есть?

— Убить.

— Болван! — крикнул, привстав со стула, Казалинский. — Что ты несешь!

— Да-да, гражданин следовательно, — не обращая на него внимания, объяснял Коротков. — И он убеждал меня убить, обещал отдать половину всех денег, какие у него есть. Но я отказался.

— Гаденыш проклятый, кто тебе поверит?! — закричал Казалинский.

— Правильно, — для одного Журавлева продолжал Коротков. — Разговаривали с глазу на глаз, не докажешь. Но я говорю чистую правду.

Заявление Короткова было совершенно неожиданно. Чтобы его переварить и усвоить, требовалось время. Ковалев даже пренебрег чересчур шумным поведением Казалинского. Журавлев вынужден был признаться самому себе, что сильно недооценил этого «гаденыша проклятого», как, вероятно, недооценивал его и Казалинский.

Лучший способ отвести от себя подозрения в убийстве изобрести было трудно. Коротков обезоруживал следствие, психологически одним шагом заняв неуязвимую позицию. Казалинского он мог не опасаться, Казалинскому эту карту бить было нечем. Не станет же он в отместку сознаваться, что действительно склонял Короткова к убийству и что тот по его просьбе утопил Перфильева.

И это еще не все. Коротков своим заявлением построил для следствия прочный мостик к автомобильной аварии, к ее причинам.

— Почему вы умалчивали об этом на допросах? — спросил наконец Журавлев.

— Побоялся. Надо было все обдумать, — с хладнокровной откровенностью ответил Коротков.

— Казалинский, вы признаете, что склоняли Короткова к убийству Перфильева?

— Чушь! Бред собачий!

— Спокойно. Значит, не признаете?

— Нет.

— Вам было известно о намерении Перфильева явиться с повинной?

— Нет. Это все сказки. База — да, согласен, виноват, судите. А это — нет.

— Относительно базы вашего согласия не требуется. Там все доказано документально. Перейдем к аварии. Вы, Коротков, высказали на допросе подозрение, что тормозные шланги на вашей машине подрезал Каза-линский. Подтверждаете эти свои слова?

— Да.

— Вы говорили, что мотивом действий Казалинского служило желание избавиться от вас как от свидетеля и соучастника в преступных сделках.

— Абсолютно правильно.

— В свете вашего предыдущего заявления мотивы действий Казалинского выглядят несколько иначе. Как вы считаете?

— Да не резал я никакие шланги! — криком перебил размеренный диалог Казалинский.

— Я не у вас спрашиваю. Отвечайте, Коротков.

— Все понятно. Из-за одних только взяток зачем ему такой грех на душу брать?

Журавлев обернулся к Казалинскому.

— Теперь вопрос к вам. Шланги вы не резали собственной рукой. Но я уже объяснил: экспертиза точно установила, что их резали принадлежащим вам ножом, сделанным из бритвы. Это является достаточным доказательством вашей причастности. Вашу машину приводил для проверки на базу некий молодой человек. Кто он? Как его фамилия?

Он ответил просто:

— Я вам тоже объяснял: не знаю, два раза всего виделся.

— Это, наверно, Борька, — сказал Коротков.

— Кто такой Борька? — спросил Журавлев у Каза-линского.

Тот стукнул кулаком по столу так, что стенографист-ка вздрогнула.

— Гаденыш ты проклятый!

— Кто такой Борька? — повторил Журавлев.

За Казалинского ответил Коротков:

— Племянник его.

— Фамилия?

— Чего не знаю, того не знаю.

— Как фамилия вашего племянника? — спросил Журавлев, обращаясь к Казалинскому.

— Петров, — ответил тот странно вдруг севшим голосом. Как будто в легких у него не было воздуха.

— Иванов, Петров, Сидоров? — насмешливо спросил Ковалев.

— Это сестры. Петров.

— Где живет?

— В Северном микрорайоне.

— Адрес?

— Ломоносова, двенадцать, квартира тридцать четыре.

— Он в городе?

— Должен быть.

Ковалев записал адрес и вышел.

— Ну что ж, достаточно, — заключил Журавлев.

— Я свободна, Николай Сергеич? — спросила секретарша.

— Да, Галина Александровна. Спасибо.

Конвойный увел Казалинского. Для Короткова надо было вызвать конвойного и санитаря. Журавлев позвонил, и они быстро явились.

Потом он собрал свои папки, взял магнитофон, запер кабинет и отнес ключ секретарше.

— Ну и терпение у вас, Николай Сергеич! — сказала она. — Я и то вся измочаленная.

— Что же делать, Галенька, — извиняющимся тоном отвечал Журавлев. — На том стоим...

Омерзительно он себя чувствовал после этой очной ставки.

Вечером Журавлев допрашивал Борьку. Тот поначалу отпирался, утверждал, что не приезжал на базу на машине Казалинского. Пришлось провести процедуру опознания.

Привезли Румерова, пригласили с улицы двоих более или менее похожих на Борьку молодых людей. Румеров четко опознал его. И Борька незамедлительно во всем признался. Его арестовали.

Домой Журавлев шел вместе с Синельниковым, Пешком им было минут двадцать, они жили на одной улице, только в разных домах. Журавлев рассказал Синельникову об очной ставке, обо всем, что выяснилось.

— Не ухватишь его, — сказал Синельников.

— Ты про Короткова? — спросил Журавлев.

— Про кого же...

Журавлев потер подбородок смятым носовым платком, который держал в кулаке.

— Да. Это, знаешь, подлец выдающийся... Откуда они берутся такие?

— От верблюда.

— Ты все шутишь.

— А ты что, первый раз видишь?

— Не в этом дело. Мне, знаешь, что страшно?

— Ну-ка.

— Мама этого Борьки тут же приехала, ей про сына сказали, и у нее — инфаркт. Отвезли в больницу.

— Она что, ничего не знала?

— Ровным счетом.

— И началась вся эта поганая история тоже с инфаркта.

— Ах, люди, люди, — вздохнул Журавлев.

— А вот у Елены Перфильевой никогда ничего с сердцем не случится, — помолчав, сказал Синельников.

— Это почему же?

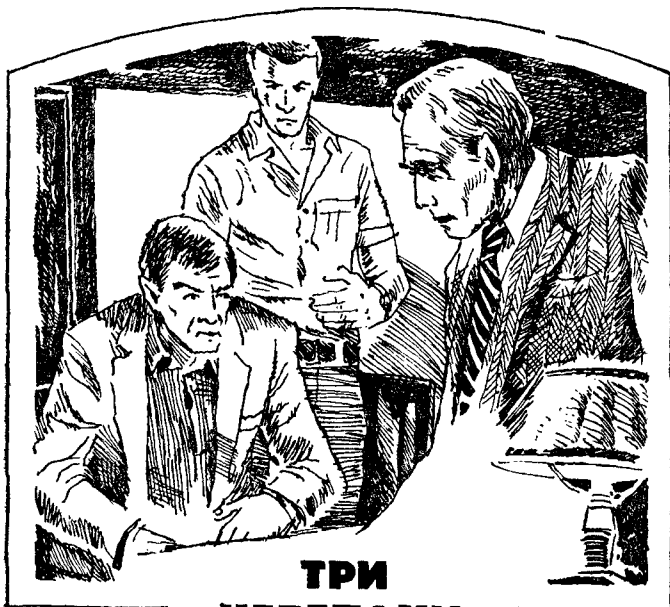
— Нет у нее сердца... Так, просто насос для прокачки крови...

Синельников проводил Журавлева до дома, и шли они всю остальную дорогу молча.

Синельников улетал в отпуск. Самолет на Адлер отправлялся в 8.15, и в киоске аэровокзала он сумел купить лишь местную областную газету. Когда Ил набрал высоту, Синельников развернул газету. На третьей полосе была обширная перепечатка из центральной газеты, рассказывающая о том, как один молодой человек, мастер подводного плавания, спас, рискуя собственной жизнью, двадцать человек из упавшего в водохранилище троллейбуса. А ниже статьи была подверстана заметка под рубрикой «Из зала суда», где кратко излага-

лась суть дела Казалинского и компании и сообщалось, что глава преступной группы приговорен к высшей мере наказания за хищения социалистической собственности в особо крупных размерах, что Коротков осужден на двенадцать лет; получили по заслугам и взяточда-тели.

Хотела того газета или не хотела, но огромная статья и маленькая заметка, повествовавшие о противоположных проявлениях человеческого духа, напечатанные рядом, встык, говорили каждому, кто умеет сопостав-лять, гораздо больше, чем любая лекция на моральную тему...



# ТРИ ЧЕРЕПАХИ

РОМАН



## Глава I || ИМЯ ПОСТРАДАВШЕГО НЕИЗВЕСТНО

На рассвете 21 июля 197... года служба 02 Главного управления внутренних дел Мосгорисполкома работала без напряжения, хотя была суббота, а по субботам, как известно, количество происшествий возрастает сравнительно с будними днями.

Первое серьезное сообщение поступило в четыре часа двадцать восемь минут. Звонил, судя по голосу, молодой человек. Скороговоркой, немного волнуясь, он рассказал, что в кустах на бульваре генерала Карбышева лежит мужчина с разбитой головой; кажется, не дышит. Рядом валяется чемодан. Звонивший не назвал своей фамилии, сказал о себе — «ранняя пташка» и повесил трубку.

Дальше все шло быстро и четко.

Дежурный, немолодой уже полковник, связался по радио с ПМГ — подвижной милицейской группой, патрулировавшей на автомобиле квадрат, куда входил бульвар Карбышева, приказал найти лежащего в кустах мужчину и оставаться там до прибытия оперативной группы.

Затем полковник вызвал с первого этажа инспектора МУРа, возглавлявшего в эти сутки оперативную группу, изложил суть дела, и через три минуты в стоявший во дворе «рафик» вместе с инспектором сели следователь прокуратуры, судебно-медицинский эксперт, эксперт научно-технического отдела и кинолог с овчаркой по кличке Кинг.

Через пятнадцать минут опергруппа приехала на место происшествия — там уже был экипаж ПМГ и товарищи из районного отдела милиции. Солнце давно взошло, утро выдалось ясное.

Началась обычная работа. Эксперт НТО сфотографировал с разных точек лежавшее среди кустов тело пострадавшего. Судебно-медицинский эксперт выяснил, что мужчина жив: пульс был слабым, нитевидным, но прощупывался явственно. У пострадавшего было разбито лицо; на месте лица образовалась запекшаяся кровавая лепешка, так что ни о каких чертах, по которым



можно было бы узнать человека, не приходилось и говорить. Нос был просто раскрыт и вдавлен — подробность натуралистическая, но при составлении протокола врач обязан придерживаться сугубой натуралистичности. Другая рана, на затылке, была еще серьезнее: череп пробит, вероятно, с кровоизлиянием в мозг. Хотя дыхание пострадавшего еле ощущалось, врач сумел определить, что в момент происшествия он находился в состоянии опьянения. Что касается времени происшествия, то по всем признакам оно произошло не менее пяти часов назад, то есть между одиннадцатью и двенадцатью часами ночи. Орудием преступления послужил тяжелый плоский предмет.

Пока по радию вызывали «Скорую» с реанимационным оборудованием, кинолог пустил в работу Кинга. Ищейка сразу взяла какой-то след и повела за собою своего хозяина прямолинейно и скоро, на туго натянутом длинном поводке к проспекту Жукова.

Осмотр места происшествия дал инспектору МУРа и дежурному следователю прокуратуры не очень-то много.

Пострадавшего ударили не там, где он лежал, — об этом говорили две отчетливые полосы в траве, которые начинались у пешеходной дорожки, — след волочения. Никаких камней и других тяжелых предметов, которые могли бы послужить орудием преступления, вокруг не обнаружили, признаков борьбы — тоже.

Пострадавший одет в новый костюм неопределенного (булыжно-болотного, как подметил эксперт НТО) цвета, производства московской фабрики. Во внутреннем кармане пиджака лежал паспорт на имя Балакина Александра Ивановича, 1922 года рождения, уроженца города Воронежа. Прописан в городе П. Паспорт выдан там же совсем недавно, в декабре прошлого года. На фотографии изображен человек с пристальным и довольно мрачным взглядом из-под густых бровей. Карточка не переклеена. Определить на месте, принадлежит ли паспорт пострадавшему, не представлялось возможности, ибо, как сказано, лицо последнего разбито.

В паспорт вложена телеграмма, вернее — полтелеграммы. Верхняя половина, где наклеивается адрес получателя, адрес и время отправления, оторвана. Текст короткий: «Приезжай двадцатого надо срочно поговорить Юра».

Листок потертый — видно, что носили его не день и носили не в паспорте, а просто в кармане, иначе бы он не засалился.

Верхняя половина оторвана по сгибу, и бумага по линии разрыва лохматится. Разорвали телеграмму пополам не далее как вчера. Это ясно без экспертизы.

Кем и куда было послано, установить трудно. Если бы приблизительно знать — когда и откуда...

Если телеграмма послана из Москвы, то в Москве более шестисот отделений связи, а если считать, что каждое посылает хотя бы пятьдесят телеграмм в сутки, — получается тридцать тысяч. А за сколько суток проверять?..

Инспектор МУРа и следователь, разглядев обрывок телеграммы, понимающе переглянулись. Свежая линия разрыва наводила на кое-какие мысли... Да и содержание тоже.

Из другого кармана у пострадавшего извлекли носовой платок не первой свежести, белый в синюю клетку, из третьего — несколько двухкопеечных монет и бумажный рубль. И больше ничего в карманах не было.

В стареньком сером фибровом чемоданчике лежало чистое неглаженое нижнее белье — трусы и майки, две верхние глаженные белые рубахи, такие же, как и надетая на пострадавшем, мохнатое полотенце, несколько чистых носовых платков и целлофановый мешочек с безопасной бритвой и бритвенными принадлежностями.

Похоже, человек или собрался куда-то из Москвы, или приехал в Москву ненадолго.

— Виктор, будь другом: пальчики, — сказал эксперту НТО инспектор.

Тот присел на траву, открыл чемоданчик, взял у пострадавшего отпечатки пальцев.

Прибыла «Скорая». Ее врач и судебно-медицинский эксперт коротко посоветовались, раненого осторожно подняли, уложили в машину, и «Скорая» умчалась в сторону Ленинградского проспекта.

Меж тем вернулся кинолог со своим Кингом.

— Ну что? — спросил инспектор МУРа.

— Привел к ресторану «Серебряный бор», Александр Александрович, уверенно привел.

— Думаешь, это его след? — Инспектор кивнул на примятую траву, где минуту назад лежал пострадавший.

— Скорей всего.

— Ладно, поработай еще.

Кинг взял другой след и опять повел на проспект маршала Жукова.

Дежурный следователь начал составлять протокол осмотра места происшествия.

В половине седьмого опергруппа вернулась на Петровку, вернее, в 3-й Колобовский переулок, где находится дежурная часть ГУВД Мосгорисполкома. Кингу ничего больше распутать не удалось: слишком было натоптано на бульваре. Но он и без того дал примечательную нитку: если окажется, что след с бульвара, приведший к ресторану «Серебряный бор», принадлежит пострадавшему, — это уже кое-что.

Старший инспектор Московского угрозыска майор Алексей Николаевич Басков поступил в МУР семь лет назад, и путь его был в некотором смысле типичным. После службы в армии, в ракетных войсках, — спецшкола милиции. Потом работал инспектором угрозыска в районном отделе, учился на юридическом факультете МГУ. Окончил — взяли в МУР.

За прошедшие годы ему пришлось распутывать разные преступления, и, надо полагать, справлялся он неплохо, если через пять лет ему стали поручать самые сложные дела.

Не будем лукавить и рисовать идеальный портрет сыщика, который в свободное время ездит на этюды и создает прекрасные пейзажи маслом, играет на фортепьяно, саксофоне и арфе, имеет абонемент в Большой зал консерватории, первый разряд по шахматам, свободно изъясняется по-английски, по-французски и на языке суахили, любит собак, кошек, всех четвероногих вообще и каждую весну собственноручно вешает на старой березе возле дома скворечник, не пьет, не курит, не... Однако остановимся и скажем: все это великолепно, но не пахнет ли прямо-таки апостольской святостью? И не завянет ли букет живых цветов на столе, когда в комнату войдет такая устрашающе добродетельная личность? И как, простите, при таких изящных задатках да еще работать в уголовном розыске?

У Алексея Баскова есть увлечения: он любит читать — классику и современные детективы — и смот-

реть хоккей, но если бывает возможность, не по телевизору, а с трибуны Дворца спорта в Лужниках, куда берет с собою сына Сашку, первоклассника. Басков курит, предпочитая сигареты «Ява» московской фабрики «Ява»; он и выпить может по достойному поводу, предпочитая водку, но в меру, конечно, в меру. Короче: как принято выражаться в подобных случаях, ничто человеческое ему не чуждо. А более всего он любит своего сына, жену Марию, которая работает инженером-экономистом, и свою работу.

Баскову тридцать восемь лет. Он среднего роста, крепко сложен, вполне здоров, у него первый разряд по борьбе дзюдо. В жизни он придерживается правила, сформулированного кем-то из великих писателей (Басков не помнит, кем именно): предполагай что хочешь, но верь только опыту.

Профессия выработала в Баскове умение не спешить с выводами и не полагаться на субъективное впечатление. Соприкосновение с носителями людских пороков несколько поубавило его природный оптимизм, но не испортило добродушного характера.

Таков в самых общих чертах человек, которому поручили дознание по происшествию, случившемуся на бульваре Карбышева. И еще надо сказать, что он научился с иронией смотреть на многие стороны бытия и обрел способность почти ничему не удивляться. Но это не имело ничего общего с той притворной, показной манерой лениво, как бы между прочим щеголять невозмутимостью и всезнайством перед неразвитыми, но убийственно опытными и рано состарившимися девочками, той манерой, которой помечены некоторые нагловатые молокососы.

К двенадцати часам дня Басков располагал ценными сведениями.

Во-первых, по представлению УВД из города П. еще 28 мая Балакин объявлен во всесоюзный розыск — он подозревается в крупном ограблении (вкупе с неким Петровым Михаилом Степановичем).

Во-вторых, Александр Иванович Балакин, чей паспорт обнаружили в кармане у потерпевшего, не кто иной, как вор-рецидивист редкой по нынешним временам специальности: он вскрывал сейфы, точнее, небольшие несгораемые ящики, и всегда выбирал мелкие объекты вроде колхозных или совхозных бухгалтерий, рай-

потребсоюзов и т. п. Первая судимость — в 1940 году, последняя, шестая, в 1969-м. Отбывал наказание в колонии строгого режима на Северном Урале. Освобожден в ноябре прошлого года (как будет сказано в полученной из города П. справке, вел себя Балакин хорошо, сам выходил на работу и заставлял выходить всех, кто жил в бараке, который Балакин «держал»). Несколько раз менял фамилии. Кличка — Брысь. Между прочим, последнюю кражу, за которую его судили, совершил он в Московской области, и задержали его сотрудники областного угрозыска, — значит, на улице Белинского должно быть дело на Балакина.

Басков позвонил в Управление внутренних дел Мособлисполкома, договорился, предупредил секретаршу отдела, что часа через два придет с улицы Белинского пакет. А потом послал по телетайпу запрос в город П., чтобы сообщили подробности, связанные с ограблением совхозной кассы и с пребыванием Балакина в городе.

В-третьих, точно установлено, что потерпевший — не Балакин. В картотеке имелись отпечатки пальцев Балакина.

Получив эти данные, Басков понял, что ему предстоит распутывать сложное дело, можно сказать, из ряда вон. Почему?

Он рассуждал так. Исходная посылка: у неизвестного гражданина находят паспорт рецидивиста. Характер ран показывает, что: а) нападавший покушался на убийство и б) при этом хотел обезобразить лицо своей жертвы настолько, чтобы его невозможно было распознать. Если выдвинуть предположение, что это сделал Балакин, оно тут же разбивается о вряд ли подлежащий сомнению довод: у матерого вора по кличке Брысь, которого несчетно раз фотографировали анфас и в профиль на белом фоне и у которого столько же раз брали отпечатки пальцев и ладоней, хватит ума сообразить, что попытка выдать за себя кого бы то ни было путем подмены паспорта обречена на провал. Басков отлично знал, что вор, подобный Брысю, скорее позволил бы какому-нибудь пижону плюнуть себе в физиономию, чем пойти на такой убогий прием.

Нет, Басков не мог поверить, что нападал Балакин. И что кто-нибудь другой, но по его наущению — тоже маловероятно, и по той же причине.

Но тогда кто? Безусловно одно: только тот, кто каким-то образом заполучил паспорт Балакина.

В таком случае преступник, если он намеревался с помощью чужого паспорта направить следствие по ложному пути, — малоопытный индивидуум, незнакомый с возможностями уголовного розыска.

Это обязывающий вывод. Но необязательно верный. Нельзя исключать, что тут все-таки петляет сам Балакин...

Майор Басков не был педантом, но в некоторых определенных ситуациях строго придерживался предписанной формы. Положив перед собой блокнот, он принялся составлять план действий.

За этим занятием и застал майора Марат Шилов, стажер, проходивший у него практику. Шилов вернулся из больницы, где в нейрохирургическом отделении пострадавшему сделали операцию на черепе. «Склеили, как разбитую чашку», — сказал излишне взволнованный Марат. Он привез окончательное заключение медицинской экспертизы, самый печальный пункт которого констатировал, что ранение затылочной части вызвало кровоизлияние с поражением жизненно важных центров и полным параличом. Прогноз неутешительный.

В заключении говорилось, что неизвестному примерно пятьдесят пять — пятьдесят восемь лет от роду. Из особых примет: осколочное ранение правого бедра с повреждением кости и зажившим остеомиелитом, вероятно, полученное во время войны; на левом запястье с внешней стороны — бледно-синяя татуировка в виде черепахи.

— Пусть сфотографируют черепаху, — не поднимая глаз от бумаги, сказал Басков.

Марат кинулся к двери.

— Подожди, — остановил его майор. — Садись.

Марат сел к низкому столику.

Дочитав заключение медиков, Басков сказал ворчливо:

— Не бегай. Ты не на палубе военного корабля. Слушай. — Басков закурил. — Скажешь в лаборатории о черепахе, а потом вот что... — Басков протянул ему паспорт Балакина. — Попроси быстренько сделать с этого карточку покрупнее, девять на двенадцать, пусть дадут штучки три посторонних портрета, ну, сам пони-

маешь, для опознания... Поедешь в ресторан «Серебряный бор», возьмешь адреса официанток вчерашней смены... И буфетчицы тоже... Разыщи всех, предъяви карточки... Может, признают.

Шилов вскочил.

— Не суетись, — осадил его Басков, выкладывая на стол из серого фибрового чемоданчика белье. — Захвати чемодан, покажи... Не вспомнят ли вчерашнего посетителя с таким сереньким... Если там гардероб летом не работает, сдавать ручную кладь некуда, в зал несут...

Марат Шилов, взяв чемоданчик и паспорт, покинул кабинет — все-таки почти бегом, — а Басков позвонил дежурному по райотделу милиции Ворошиловского района и попросил его передать настоятельную просьбу начальнику угрозыска, чтобы срочно связался с ним, Басковым. И правила, и простой здравый смысл требовали, чтобы районные его товарищи проверили, не замешаны ли тут местные, обитающие на территории района лица, сомнительные по части уголовной. Начальник районного угрозыска позвонил через несколько минут. Они условились о контактах.

Теперь оставалось составить телеграмму. К сожалению, о неизвестном пострадавшем можно было сказать только, что это мужчина 55—58 лет, особые приметы — татуировка в виде черепахи (просьба сообщить, не было ли заявлений об исчезновении мужчин этого возраста). О рецидивисте Балакине Александре Ивановиче все известно, кроме его нынешнего местопребывания. Надо объявить розыск в связи с новым делом.

Телеграмма эта еще до часу дня будет получена в отделах и управлениях внутренних дел, где стоят телеграфы, то есть в сотнях городов Советского Союза. Оттуда ее передадут по иным каналам в малые города, городки, поселки, и уже сегодня к вечеру в дело включится милиция всей страны. Когда Басков представлял себе, как срабатывает этот механизм, у него появлялось такое чувство, словно он обладает сверхъестественной способностью, не покидая собственного кабинета, окунуть руку в студеную воду Берингова пролива.

Отослав перепечатанную и подписанную телеграмму в телеграфный зал, Басков собирался спуститься в буфет перекусить, потому что утром, уезжая из дома, ничего не поел — не хотелось. Но тут явился курьер с

улицы Белинского, из областного УВД. Басков расписался в получении дела Балакина, поблагодарил курьера, раскрыл папку, начал читать подшитые бумаги и скоро забыл о том, что проголодался.

Из протокольных записей даже при небольшом воображении можно было выстроить всю судьбу вора Балакина, такую злую и крученную, что хватило бы и на роман и на сотню кошмарных снов, от которых заходится сердце. Но Баскова особенно поразила одна ничтожная деталь — ничтожная при любой иной комбинации, но не при той, что выпала ему сейчас.

В деле среди особых примет имелось скрупулезное описание татуировок. Балакин — Брысь носил на своей коже портативную картинную галерею и целый свод прописных воровских истин, ни одну из которых составители катехизиса не рискнули бы занести в свое сочинение. Басков буквально застыл, наткнувшись в этом пространном каталоге на черепаху. За всю свою практику он впервые встретился с такой наколкой сегодня, час назад, когда читал принесенное Маратом Шиловым медицинское заключение о неизвестном пострадавшем. И вот вторая черепаха. Каждый бы подумал, что это неспроста, что не случайно сползлись эти два симпатичных пресмыкающихся.

Басков, разумеется, не верил ни в бога, ни в черта, хотя его любимой клятвой, когда приходилось в чем-нибудь поклясться, была божба, перенятая им еще в юности у отцова друга, старого матроса: в горб, в гроб, в гардероб, во всякую веру и в метрические меры. Но теперь он задумался.

Подобно тому как человеку, долго бредущему в густом тумане, начинают мерещиться в клубящихся белых космах очертания знакомого дома или дерева, так Баскова начинало охватывать ощущение, что над этими двумя черепахами клубится некая давняя тайна, скрытая от его глаз, но будто бы чем-то ему знакомая. Он попробовал себя охладить: мол, начитался ты Эдгара По, подсознательно возник золотой жук — вот и никакого тумана, простейшая логическая цепочка. Но опять задумался, и голубые черепахи, вытатуированные на руках у двух разных людей, представились ему путеводным знаком, в который он должен верить...

— Ерунда какая-то, — сказал он вслух самому себе, что случилось с ним нечасто, положил папку в сейф



и вышел из кабинета. Черепахи черепахами, а поесть все же надо...

Вернувшись, он снова взял дело Балакина. Но не успел еще выкурить и полсигареты, как телетайп принес телеграмму из города П.

Она была длинная, и каждое слово оказалось для Баскова немаловажным — это были свежие сведения, которые отсутствовали, как понятно, в старом деле Балакина, привезенном с улицы Белинского. Вот что в ней сообщалось.

Балакин Александр Иванович, 1922 года рождения, освобожденный в ноябре прошлого года, имевший положительную характеристику из колонии, где отбывал наказание, получил паспорт и был прописан в П. временно, на площади владельца частного дома, в декабре того же года. Тогда же поступил работать в пригородный совхоз плотником.

27 мая этого года, вернее, в ночь с 27-го на 28-е, с воскресенья на понедельник, была ограблена совхозная касса. Охранника оглушили ударом в затылок и связали; нападавших он не видел. Взято 23 тысячи рублей. У охранника отобран пистолет системы ТТ с девятью патронами.

Балакин в понедельник на работу не явился. Произведенным дознанием выяснено, что он ушел из дому вечером 25-го и с тех пор исчез. Учитывая квалификацию Балакина и сообразуясь с обстоятельствами происшедшего, областное управление внутренних дел предприняло меры по его задержанию, но безуспешно, ввиду чего был объявлен всесоюзный розыск.

В ограблении подозревается также Петров Михаил Степанович по кличке Чистый, 1946 года рождения, судимый за ограбление квартир и организацию преступной группы, отбывавший наказание одновременно с Балакиным, освобожденный из той же колонии двумя неделями позже, живший после освобождения вместе с ним в П. и работавший грузчиком речного порта.

Дальше шло подробное описание того, каким способом был вскрыт несгораемый ящик. Басков уже знал почерк Балакина по делу, присланному из областного УВД, которое он только что прочел. Совпадение оказалось полным...

Итак, перед Басковым появился еще один объект — Петров по кличке Чистый. Какое отношение имеет он к

происшедшему на бульваре Карбышева? Может, самое прямое, а может, никакого.

Хорошо бы, конечно, узнать, кто такой этот Юра, пославший неизвестному пострадавшему телеграмму с просьбой приехать. Но это, увы, из области сослагательного наклонения. Никаких «если бы» Басков терпеть не мог.

Он так и этак поворачивал и сопоставлял известные ему факты, но всякий раз получались разноцветные неубедительные сочетания, как в калейдоскопе — хоть и симметричные, но все-таки случайные. Чуть повернешь трубочку — узор совсем другой.

По правде сказать, он был довольно нетерпелив. И иногда слишком многого от себя хотел. Он подгонял события, отлично понимая, что насиловать естественный ход событий — легкомысленное занятие, но не всегда умел сдерживать себя...

Зазвонил телефон. Басков ждал звонка Марата, но это оказался начальник МУРа.

— Ну что у тебя? — был вопрос.

— Есть новенькое, Олег Александрович... — И Басков рассказал о сообщении из города П.

— А пострадавший жить будет? — спросил начальник.

— Состояние тяжелое, но, кажется, не умрет.

— Будем надеяться... Тебе помощь не нужна?

— Да пока обойдусь.

— Ну желаю... До понедельника.

— Всего хорошего, Олег Александрович.

Положив трубку на аппарат, Басков решил было пойти погулять на улицу, в сад напротив, но стояла жара, а в кабинете нежарко, и Басков раздумал. Часы показывали четверть пятого... Поболтать бы с Сашкой, но сын и жена уехали к его старикам на дачу в Востряково. Марату возвращаться еще рановато...

Басков сел в мягкое кресло, стоявшее спинкой к окну, и, перетасовывая в уме похождения Балакина, незаметно для себя уснул.

Разбудил его звук громко захлопнутой двери — в дверях кабинета стоял возбужденный Марат.

— Есть, Алексей Николаевич!

Басков нарочито неспешно растер пальцами затекшую шею, пересел за стол, закурил сигарету и только тогда спросил:

— Что есть?

Марат поставил серый фибровый чемоданчик на подоконник, вынул из него пачку фотографий, из пачки выдернул портрет Балакина и сказал почти радостно:

— Его никто не узнал.

— Так чего же ты ликуешь?

— Чемодан узнали.

— Погоди, давай-ка по порядку. Садись и рассказывай.

Марат неохотно, но все же сел.

— Значит, так... Достал адреса... Начал с официантки, которая поближе живет... Не повезло — уехала с подругой на Москву-реку купаться... Зато со второй сразу повезло... Показал снимки — таких, говорит, вчера не было... Говорю про чемодан, она на него посмотрела и говорит: точно, сидел у нее вчера за столиком гражданин с таким вот чемоданчиком. Пил водку, закусывал ветчиной. Она его запомнила, потому что он несколько раз спускался вниз, объяснял, что ему по автомату звонить надо. Наверно, неудачно...

— Почему?

— Она говорит, расстроенный был, мрачный.

— Много пил?

— Она говорит, граммов четыреста.

— Как выглядел?

— Вот, я записал. — Марат достал из кармана блокнот, полистал его и раскрытым протянул Баскову.

Запись была краткая: «Шатен, глаза серые, нос прямой, лоб морщинистый, лицо бледное. Лет — приблизительно пятьдесят пять. Голос низкий. Производит впечатление интеллигентного человека».

— Долго он сидел? — спросил Басков.

— Часа два или три.

— Про жизнь разговора не было?

— Она же сказала, Алексей Николаевич: он не в духе был. Даже с соседями по столику — ни слова. Она очень наблюдательная оказалась.

— Официантки вообще народ наблюдательный. Что дальше?

— Он когда звонить выходил, чемоданчик с собой брал. А официантке сразу задаток дал — двадцать пять рублей.

— Сколько же раз выходил?

— Пять или шесть.

— А когда совсем ушел?

— Вот тут-то и интересно, Алексей Николаевич. Она говорит, расплатился он примерно в половине одиннадцатого, она сдачу отсчитала, он оставил рубль на чай и ушел. И не очень пьяный был. А уже перед самым закрытием она его увидела у окошка буфетной, где спиртное выдают. Значит, где-то с часик побродил, а потом решил добавить.

— Буфетчицу ты навестил?

— А как же! От официантки — прямо к ней. Пожилая такая женщина, но память тоже хорошая.

— Ну-ну... И что она запомнила?

— Чемоданчик четко узнала. Портрет описала точно так, как и официантка. Он попросил налить двести коньяка, объяснил, что торопится, и за столик уже поздно было садиться. Ну она велела ему из мойки фужер принести, налила, он выпил, минералкой запил.

— Между прочим, откуда он деньги доставал, когда расплачивался? Бумажник у него был? Или как? Марат улыбнулся, довольный собой.

— Это я тоже догадался спросить. И официантка и буфетчица точно запомнили: просто из кармана вынимал, из правого брючного кармана.

Басков взял карандаш, вырвал из настольного календаря — откуда-то из апреля — неисписанный листок.

— Давай теперь посчитаем, — сказал он.

Марат поднялся со стула, встал у него за правым плечом.

— Предположим, в буфете пил он пятизвездочный коньяк. Сколько это будет?

— Там же с наценкой. Сто граммов — трешник.

— Так. Пишем: шесть рублей. Плюс четыреста граммов водки по рубль двадцать. Пишем: пять рублей. Кладем на закуску два рубля, плюс — на чай. Итого — четырнадцать. Что же получается?

— А что, Алексей Николаевич? — не понял Марат.

— Протокол осмотра места происшествия читал?

— Читал.

— Сколько там у него в карманах денег нашли?

— Рубль, кажется.

— Вот именно — всего лишь рубль, один целковый.

А должно быть по крайней мере десять. Ведь он с официанткой четвертным расплачивался. Так?

— Так, Алексей Николаевич.

— Тебе это ни о чем не говорит?

— Обчистили до копейки. Значит, нападение с целью ограбления?

— Ну, сам понимаешь, игра с паспортом тут, наверно, не последний момент, но деньги нападавшему тоже нужны были.

Марат заговорил тихим, словно извиняющимся голосом, как делал всегда, когда осмеливался выдвигать собственные соображения.

— Алексей Николаевич, а если предположить, что никакой игры с паспортом не было? Может, он сам его присвоил...

Басков взглянул на Марата с любопытством.

— Предположить, конечно, можно, да нам с тобой лучше от этого не будет... Все равно личность установить надо, личность... И Балакина разыскать... И этого Чистого...

Марат задумчиво покивал головой.

— Да-а, тяжелый случай.

— Бывает хуже, но редко. А главное, дорогой мой Марат, тут есть какая-то особая тайна, и просто так ее не ухватишь.

Басков достал из сейфа дело Балакина, дал его Марату.

— Вот почитай-ка одно место. Про татуировки. Еще одну черепаху найдешь... Это, брат, загадочка первый сорт...

Марат читал, а Басков ходил из угла в угол.

— Вот это да! — восхищенно воскликнул Марат, дойдя до черепахи. — Это же целый... целая... — Марат никак не мог подобрать нужного слова. Наконец нашел: — Это же целая головоломка.

— И опять же нам не легче, — сказал Басков, убирая дело. — Ладно, Марат, иди гуляй. До понедельника...

Было без двадцати девять, когда Басков вышел на улицу и пешком отправился домой. Начинало смеркаться, но жара еще не спала, дышалось на асфальте тяжело, и шел он неторопливо, так что к себе на Новослободскую попал к девяти.

Разделся, постоял под душем. Потом вскипятил чай-

ник, заварил свежего чаю, открыл банку домашнего, еще прошлогодней варки, черносмородинового варенья и только собрался предаться желанному чаепитию, как зазвонил телефон.

Говорила старшая смены из телеграфного зала Нина Александровна:

— Извините, что беспокою, Алексей Николаевич. Только что получили телеграмму. По-моему, вам интересно будет.

— Сейчас приеду.

Он все-таки выпил большую кружку чаю, прежде чем отправиться на Петровку.

Телеграмма пришла из одного большого зауральского города, от начальника областного управления внутренних дел:

«Есть основания полагать, что могу быть полезен установлении личности пострадавшего имеющего татуировку виде черепахи. Близко знал Балакина Александра Ивановича. Полковник Серегин».

В ответ была отправлена телеграмма за подписью заместителя начальника ГУВД Мосгорисполкома генерала Виктора Антоновича Пашковского. Она гласила:

«Ждем понедельник. Просим позвонить майору Баскову...» — и дальше номер домашнего телефона Баскова.

## Глава II || ТРЕТЬЯ ЧЕРЕПАХА

Строго рассуждая, родословная решительно всех людей на свете, будь то короли или обыкновенные земледельцы, растет из одного корня. Он уходит в глубину веков, а если все же допустить, что прародителями человеческими были Адам и Ева, то у коронованных особ вообще нет никаких оснований чваниться своей родовитостью. Самое большее, чем они могут гордиться, — так это предприимчивостью своих ближайших предков, умевших делать карьеру. А если принять во внимание, что карьеры венценосцев, как правило, делались с применением весьма сомнительных средств, то их потом-

кам более приличествовало бы не гордиться, а испытывать острый стыд, однако этого почему-то не бывает.

Большинство честных, работающих людей знают свою родословную в лучшем случае до прадеда и прабабки, но это вовсе не означает, что все они — иваны, не помнящие родства. Это означает, что их личная родословная растворена в истории народа. А общая народная память надежнее любых метрических выписок. У Твардовского очень верно сказано: «Мы все — почти что поголовно — оттуда люди, от земли, и дальше деда родословной не знаем: предки не вели...»

Правда, у каждого наступает в жизни такой момент, когда хочется пробиться в глубь прошлого ниже того пласта, где лежат прадедовы кости. Но если у человека есть дети и внуки, то он больше думает о потомстве, а о предках — лишь мимолетно, и в этом заключен глубокий благословенный смысл...

...Так размышлял Анатолий Иванович Серегин под плотный ровный гул двигателей самолета Ил-62, полулежа в откинутом кресле и закрыв глаза, на высоте девять тысяч метров. У него была давно укоренившаяся привычка: если он о чем-нибудь задумывался, то обязательно старался определить начало той цепочки ассоциаций, которая привела его именно к этому предмету, а не к какому-нибудь другому. Вот и сейчас он спросил себя: с чего это вдруг ему в голову пришла мысль о родословных? Стал докапываться, раскручивать в обратном порядке и нашел.

Летел он в Москву по делу, в котором фигурировал Сашка Балакин и, как говорило ему предчувствие, другой его друг детства. Все трое были они равны, что называется, по происхождению и сделаны вроде бы из одного теста, а взять хотя бы его, Серегина, и Балакина... Уходили они во взрослую жизнь из общего гнезда и вот разошлись, как две линии, прочерченные из одной точки под тупым углом. От происхождения, вероятно, и перешла его мысль к родословной...

Анатолий Иванович Серегин в свои пятьдесят пять лет не испытывал потребности добираться до самых корней собственного генеалогического древа. Во-первых, потому, что у него росли уже два внука, и, согласно его же разумению, ему следовало заботиться о будущем. Во-вторых, у начальника областного управления

внутренних дел нет времени копаться в материях, которые он сам называл потусторонними.

Однако историю своего рода полковник милиции Серегин знал хорошо (в согласии с его самодеятельной теорией — до прадеда включительно) и старался, чтобы его сын и дочь тоже ее запомнили. Он питал тайную надежду, что и внуки его узнают ее из уст своего деда, — ведь им уже по три года, а Серегин рассчитывал еще пожить лет, скажем, десяток, хотя сердце порой и пошаливает.

Прадед его родился где-то между 1815-м и 1820 годом и был крепостным пензенского помещика. Он ставил избы, клал печи, ладил сани и коляски. В 1857 году Никита Серегин получил вольную — за то, что вынес из горящего помещичьего дома господских детей. Как говорил полковнику Серегину его дед, Дмитрий Никитич, об этом имелся документ, да потерялся где-то. Дед держал лавку скобяных товаров в Благовещенске — следовательно, был уже, так сказать, представителем мелкой буржуазии. А отец, Иван Дмитриевич, окончив реальное училище, в 1914 году вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию и стал профессиональным революционером.

Об отце своем полковник Анатолий Иванович Серегин мог бы поведать много — не хватит времени рассказать и сотую долю, пока реактивный лайнер летит от зауральского города до Москвы. Если же отмечать только ключевые события, довольно будет нескольких строк. В 1934 году Ивана Дмитриевича назначили начальником цеха на металлургический завод в городе Электрограде, где ему дали двухкомнатную квартиру в двухэтажном бревенчатом доме — первую в его жизни отдельную квартиру. Его сыну Анатолию было тогда десять лет.

Осенью 1941 года часть завода, в том числе цех Серегина, эвакуировали на восток, и из этой части вырос во время войны самостоятельный завод, директором которого до самой своей кончины, до 1969 года, был Серегин.

Анатолия Серегина, родившегося в 1924 году, призывали в армию в сорок втором. Анатолий бредил и грезил разведкой, что было наивно для стриженного, «под ноль» и еще не начавшего бриться новобранца. Но желание его почти осуществилось — с маленькой поправ-



кой. Он попал в ОМСБОН — Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения.

Серегина научили подрывному делу и еще многому, что необходимо уметь диверсанту, действующему в глубоким вражеском тылу. Потом, в начале 1943-го, их сбросили на парашютах в одном из районов Правобережной Украины, и полтора года Анатолий ходил по тылам оккупантов, рвал рельсы, бензосклады, минировал шоссейные дороги. Всякое бывало — и бои в окружении, и ночные налеты на железнодорожные станции, и быстрые отходы перед подавляющими силами карателей, когда невозможно даже схоронить убитых друзей. Анатолия ранило три раза, но ему везло — пули попадали в ноги, и только в мягкие ткани. Его наградили орденом Славы III и II степени и медалью «За отвагу».

В декабре 1945-го его демобилизовали, как имеющего три легких ранения, и он уехал в Сибирь, домой, к отцу с матерью. До осени 46-го отдыхал (вернее, заново проходил десятилетку — по учебникам, по школьным своим тетрадям), а осенью поступил на юридический факультет Московского университета — приняли его вне конкурса, демобилизованным тогда установили льготы. С этого момента биография его во многом напоминает биографию майора Баскова, но с учетом семнадцатилетней разницы в возрасте...

Так что, можно сказать, не совсем случайно судьба свела их в аэропорту Домодедово, где майор Басков встречал полковника Серегина.

Как они условились накануне по телефону, майор ждал Серегина в комнате милиции.

Когда поздоровались и назвали себя по фамилии, Басков, увидев, что Серегин держит в руке довольно тощий портфель, несколько удивленно спросил:

— Вы вот так, налегке, товарищ полковник?

— Меня зовут Анатолий Иванович, — улыбнувшись, сказал Серегин. Ему хотелось сразу задать нужный тон, показать, что он тут не начальник, а товарищ Баскову. — Я ненадолго.

— Извините, Анатолий Иванович, я подумал: если ваши предположения окажутся верными... Ну, насчет пострадавшего... с черепахой...

— Тогда я вам действительно буду полезен, тогда придется задержаться... Ну да ничего. — Он похлопал

по портфелю. — Пара белья и рубаша у меня есть. А костюм, как видите, новый, чувствую себя в нем, как пес в наморднике.

Баскову сделалось легко с этим незнакомым человеком, старше его и летами и званием.

— В таком случае прошу, Анатолий Иванович. — Басков толкнул дверь, пропуская Серегина впереди себя, и они пошли к ожидавшей их машине.

Шагая сбоку и чуть позади, Басков оглядел полковника, который, видно, и вправду испытывал неуютность в своем необношенном, с иголки, синем костюме. Он был на полголовы выше Баскова и немного грузноват; волосы, еще густые, из-за седины были цвета перца с солью; лицо странно не гармонировало с фигурой — при такой комплекции, кажется, полагались бы круглые твердые щеки и мясистый подбородок, а меж тем лицо у Серегина было сухое.

В общем, внешность полковника по первому впечатлению внушала Баскову симпатию. А главное — ему понравилось, как это он сказал своим глуховатым, низким баритоном про пса в наморднике...

— Вы чего это меня сопровождаете? — добродушно-насмешливо сказал Серегин. — Я же не знаю, куда идти.

— Еще раз извините, Анатолий Иванович. — Басков зашагал вровень.

— Вас как зовут?

— Алексей.

— А по батюшке?

— Можно без батюшки.

— Ну быть посему, так удобнее.

Басков подумал, что ведет себя с этим симпатичным полковником примерно так, как Марат с ним, Басковым, но не почувствовал при этом укола своему самолюбию. Он и переднюю дверцу машины открыл перед Серегиным с удовольствием. Но Серегин, поздоровавшись с шофером, сказал:

— Давайте на заднее... Попросторнее...

Машина выскочила на шоссе и покатила к Москве.

— Номер в гостинице вам забронирован, — сказал Басков.

— Где?

— «Будапешт».

— Это хорошо... Недалеко... — Серегин имел в виду, что недалеко от Петровки, 38. — Живал там...

— Значит, сейчас прямо туда, а завтра... — начал было Басков, но Серегин мягко перебил его:

— А что мне там делать? Сколько сейчас по-московски?

— Ровно пятнадцать.

— Вот видите, я на запад летел, четыре часа выгадал. Надо употребить их на пользу. — Он показал Баскову свои наручные часы, на которых часовая стрелка упиралась в цифру семь. — Кстати, переведем-ка их.

— Но вам отдохнуть не мешает.

Серегин провел тыльной стороной руки по подбородку.

— Не устал... А вот щетинку срубить действительно не мешает. Я ведь брился, если по-московски, в три часа ночи, а по-нашему в семь утра.

Басков предложил:

— Знаете что, Анатолий Иванович, поедemте ко мне. Сын на даче, жена на работе. Побреетесь, перекусим малость, машина нас подождет...

Серегин согласился:

— Ну что ж, годится.

— На Новослободскую, Юра, — сказал Басков шоферу.

Басков понял, что с полковником Серегиным ему работать будет легко и просто.

...На бритье и обед ушло полчаса.

— Ну пора зарплату отрабатывать, — сказал Серегин, вставая из-за стола. — Спасибо за хлеб-соль.

— С чего начнем?

Серегин кивнул на грудку тарелок в раковине.

— Посуду помыть надо.

— Жена управится.

Серегин серьезно посмотрел на Баскова.

— Я хотел бы взглянуть на пострадавшего.

— Там ведь, Анатолий Иванович, лицо — в крошку.

— Имею в виду наколку...

Без четверти шесть они, одетые в белое (даже ноги в белых полотняных бахилах), вошли в палату, где лежал пострадавший.

Нет, лежал — сказано неправильно. Он был подвешен в воздухе на некоем подобии гамака, растянутого между четырьмя никелированными металлическими стойками. Обритый череп блестел, как старый пожелтевший бильярдный шар. Укрытое до пояса простыней тело с обнаженным торсом было обвито разноцветными эластичными трубками, тонкими, как телефонный провод, и толщиной в мизинец. Трубки и трубочки змеились от ног из-под простыни, от рук, лежавших вдоль тела. Три трубочки, короткие, как стержень шариковой ручки, торчали из того запекшегося месива, которое должно было называть лицом, — две на месте ноздрей и одна на месте рта. В изножье стоял пульт, напоминавший приборную панель автомобиля, на нем горели красные, желтые, зеленые глазки индикаторов. В углу, подобный торпедо, тяжело утвердился голубой баллон с кислородом. Пахло лекарствами и чуть ощутимо кровью.

В общем, зрелище было не для слабонервных. Но те, кто пришел сюда сейчас, видали, увы, и не такое. Они были невозмутимы.

Серегин обернулся к сопровождавшему их доктору и тихо, словно боясь разбудить спящего, спросил:

— Можно мне поглядеть?.. Левую руку...

— Больше всего мы боимся инфекции, — так же тихо ответил доктор. — Но вы почти стерильны... Только недолго...

Серегин приблизился к гамаку, присел на корточки и посмотрел на запястье левой руки казавшегося бездыханным человека — он лежал левым боком к вошедшим.

Синяя черепашка величиной с грецкий орех, с панцирем в клеточку, как шахматная доска, с затушеванными всплошную лапами, головой и хвостиком, ползла от кисти к локтю по лимонно-желтой, истончившейся коже.

Серегин поманил доктора и Баскова.

— Прошу вас, на минутку.

Они подошли, наклонились.

Серегин показал на полусжатую левую кисть пациента и сказал доктору:

— Мне надо посмотреть на указательный палец.

— Это нетрудно, — сказал доктор и расправил кисть.

Серегина интересовала первая фаланга указательного пальца.

— Вот, видите шрамик? — прошептал он Баскову.

На первой фаланге белела тонкая нитка шрама, скобой охватывавшая палец от основания ногтя до центра подушечки.

Доктор пригляделся внимательнее и сказал:

— Очень давняя травма. Вероятно, в детстве.

Серегин выпрямился, довольный:

— Совершенно верно, доктор. Это было еще до войны. Спасибо, мы пошли.

В коридоре Басков спросил у доктора:

— Как он?

— Вы знаете, будем надеяться на лучшее. Очень здоровое сердце.

— В медицинском заключении есть печальные выводы...

— Относительно паралича и прочего? — уточнил доктор.

— Да.

— Сейчас невозможно предсказать, но, видите ли, в нашей практике бывали случаи и тяжелее, однако все постепенно компенсировалось.

— Благодарим вас, доктор...

В машине Серегин долго молчал. И сигарету, предложенную Басковым, взял и прикурил, не поблагодарив. На несколько минут он совершенно преобразился, потеряв всю свою добродушную общительность, словно недолгое пребывание там, в палате, что-то переключило в нем на совсем другую волну.

— Вот как оно бывает в жизни, — наконец прервал молчание Серегин.

Он вздохнул при этом так печально, что Басков не решился задавать соблезняющие вопросы. Подъезжали к Белорусскому вокзалу, нужно было решать, куда теперь ехать, поэтому он задал чисто деловой вопрос:

— Что дальше, Анатолий Иванович?

— У вас дело Балакина на руках? — спросил Серегин.

— Да.

— Вообще-то в министерство бы заглянуть надо,

повидать кое-кого, но это и после можно... Поедем-ка к вам.

— Но вам устроиться надо, Анатолий Иванович.

— Давайте сначала на Петровку, а?

На площади Маяковского они свернули влево и поехали по Садовому кольцу. Баскову не терпелось спросить, что выведal полковник, когда рассматривал левую руку раненого. Но он считал нетактичным начинать первым разговор на эту тему. Должно быть, полковник Серегин, как и он сам, Басков, не любит торопиться с заключениями. Но вот и приехали...

Войдя в кабинет, Серегин скинул пиджак.

Басков открыл сейф, достал дело Балакина и положил его на стол.

— Садитесь на мое место, Анатолий Иванович, а я чайку попробую организовать.

Серегин, закулив, долго глядел на папку. Потом раскрыл, но читать не стал — его интересовали фотографии.

Басков вернулся с подносом, на котором стоял большой фаянсовый чайник, два стакана и вазочка с сахаром.

— Налить, Анатолий Иванович?

— Угу, спасибо. — Серегин все смотрел на фотографию, изображавшую Балакина, каким он был десять лет назад, когда совершил ограбление в Московской области и был разыскан сотрудниками областного УВД.

Басков налил чаю полковнику и себе, сел к маленькому столику, спросил:

— Узнали?

— Он, Сашка Балакин, Сашка Брысь. Славный был парень. — Серегин положил в стакан два кусочка сахара и, помешивая ложечкой, сказал задумчиво: — Интересная все-таки система — человек...

— В каком смысле?

— Я говорю, вроде машины времени. Поглядишь на старика, и можно представить, каким он был в пятнадцать лет. И наоборот: видишь мальчишку и угадываешь, каким он будет в старости. А уж если знаком был в детстве — через сто лет не спутаешь... Яблочко румяное высохнет на ветке, а все равно яблочко...

Басков достал из сейфа паспорт Балакина, дал Серегину.

— Это в прошлом году...

Серегин взглянул на фотокарточку, сказал:

— И тут похож... — И после долгой паузы добавил: — Вот теперь могу вам сообщить имя пострадавшего: Игорь Шальнев, а по отчеству Андреевич... Отца его я тоже знал, и мы, ребята, звали его дядей Андреем...

Наступило долгое молчание, как часом раньше в автомобиле. Оба они, Серегин и Басков, понимали, что сказанное, может быть, самый важный момент в деле о происшествии на бульваре Карбышева.

— А почему вы обязательно палец хотели посмотреть, Анатолий Иванович? — задал Басков вопрос, который ему хотелось задать еще по дороге из больницы.

Серегин улыбнулся устало.

— Черепашек на руках и на прочих частях тела можно много найти, а такой рубчик на пальце — штука уникальная, особенно в сочетании с черепашкой, и известен он из ныне живущих только мне да, пожалуй, Балакину, если он еще топчет землю.

— Мне лично такие татуировки встретились впервые... Правда, две в один день.

Серегин отстегнул запонку на левой манжете, закатал рукав.

— Могу пополнить вашу коллекцию, молодой человек.

Басков с нескрываемым изумлением смотрел на руку полковника. Бледно-синяя черепаха — точно такая же, как у пострадавшего, имя которого он только что узнал, — ползла от запястья к локтю.

— Удивляетесь? — спросил Серегин, вдевая запонку.

— Третья черепаха за три дня...

— Вот почему я палец должен был увидеть.

Басков встал, прошелся от окна к двери и обратно.

— Повезло мне, Анатолий Иванович, первый раз в жизни так везет.

— Это везение, молодой человек, было заложено еще в тридцать седьмом году, — иронически, как бы возражая, сказал Серегин. — А вот у него, у Игоря, сестренка была... Если жива-здоровая, да разыскать ее — вот тогда действительно повезет.

— Главное — он бы в порядок пришел.

— Ну врач же дает надежду.

— А вы, Анатолий Иванович, последний раз давно Шальнева встречали?

— В сорок первом году.

Басков присвистнул: мол, что тут толку?

— Но зато мы знаем, откуда танцевать, — сказал Серегин.

— Конечно, Анатолий Иванович! — воскликнул Басков. Положительно, он уподоблялся Марату. Извиняло его лишь то, что он был сейчас необычно для себя возбужден оттого, что так удачно все повернулось с появлением полковника Серегина.

Серегин меж тем допил чай и закурил.

— Давайте запишем, и я пушу все это в работу, — сказал Басков.

Серегин уступил ему место за столом и, прохаживаясь по кабинету, начал диктовать, а Басков писал.

— Шальнев Игорь Андреевич, двадцать четвертого года рождения. По сорок первый год проживал в городе Электрограде. Окончил электроградскую среднюю школу. С мая сорок первого по октябрь работал корректором в городской газете.

— Извините, Анатолий Иванович, из чистого любопытства: откуда вы так точно знаете — с мая по октябрь? — невольно перебил Басков.

— Цех отца эвакуировали из Электрограда семнадцатого октября. Я тоже уехал. А до отъезда мы с Игорем виделись каждый день. В одном доме жили.

— Понятно. Пишем дальше.

— Шальнева Ольга Андреевна. Год рождения тридцать четвертый или тридцать пятый. В октябре сорок первого училась в школе. — Серегин задумался на минутку, а потом добавил: — Была у них няня, звали ее Матреной... Да вряд ли... Она и тогда уже старенькая была... Вряд ли жива... Да и фамилию ее не знаю...

Прежде чем уйти, чтобы отправить по телетайпу эти ценные для розыска сведения, Басков задал вопрос, как говорится, не по существу:

— А про черепах, Анатолий Иванович, расскажете?

— Э-э, Алеша, это длинная история... — Серегин потянулся, взглянул на часы. — По-нашему уже час ночи... Устройте меня в гостиницу, а завтра потолкуем.



— Портфель-то ваш у меня дома остался.

— Ничего, бритву бы только взять... А впрочем, утром в парикмахерской побреюсь.

Басков вернулся быстро, вызвал машину, довез Серегина до «Будапешта», дождался, пока он оформился у администратора, и поехал домой. Они договорились, что полковник придет в МУР в одиннадцать часов утра.

На следующий день, во вторник, 24 июля, поступило сообщение из Электрограда, в котором говорилось, что Шальнев Игорь Андреевич, 1924 года рождения, был призван на службу в Военно-Морской Флот 10 октября 1942 года. Служил на Балтийском флоте, в Ленинграде, затем в стрелковых частях Ленинградского фронта. Демобилизован в связи с ранениями в ноябре 1945 года («Как я», — сказал Баскову полковник Серегин). В декабре 1945 года поставлен на учет Электроградским горвоенкоматом, снят с учета в 1957 году. Отбыл в неизвестном направлении.

Работал в городской газете «Знамя труда», сначала корректором, последние пять лет — фотокорреспондентом. Жил по адресу: ул. Красная, д. 6, кв. 4. Был женат на гражданке Мучниковой Антонине Ивановне, г. р. 1935, от брака с нею имел сына. В 1957 году брак расторгнут.

Шальнева Ольга Андреевна, 1935 года рождения, проживает в Электрограде по адресу: проспект Радио, д. 11, кв. 32; работает преподавателем русского языка и литературы в средней школе № 2.

Большого трудно было ждать при первых шагах познания...

Вечером Басков напомнил Серегину о его обещании рассказать про черепах.

— Хорошо, — согласился полковник. — Пойдем в гостиницу...

В номере умылись, сбросили с ног башмаки, сели в кресла за круглый столик, и Серегин начал свой долгий рассказ.

Ночь за окном стояла душная, а в номере была приятная прохлада.

### Глава III || ВОСПОМИНАНИЯ В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ

— Странные бывают фантазии у людей, которые названия улицам дают, — так начал свой рассказ Сергин.

— Когда отца назначили начальником цеха на заводе «Электрометалл», мы переехали в Электроград, и отцу дали двухкомнатную квартиру на улице Красной, Честное слово, я еще тогда удивился, хотя было мне всего девять лет, почему это она Красной называется. И малому ребенку на слух понятно: красная — это уж самая лучшая. Красная площадь, например. А тут не поймешь что.

Представьте себе восемь двухэтажных домов. Срублены из суковатых бревен. Стоят в ряд, и все с четными номерами, нечетных нет, на нечетной стороне — сараюшки, которыми владеют жители пятиэтажных кирпичных зданий, а здания считаются уже по другой улице. Сама Красная — просто полоса кочковатой серой земли с канавами по бокам. Вход в дома не с улицы, а с задворок. Против каждого двух домов — длинный дощатый сарай. Между прочим, это были замечательные сараи. Внутри они разделялись перегородками на шестнадцать клеток, и у каждой клетки своя дверь — восемь с одной стороны, восемь с другой. По числу квартир, потому что дома были восьмиквартирные. В сарае держали дрова или уголь, а многие ставили себе кровати, и летом это было вроде дачи. Чердака сараи не имели, перегородки — высотой метра в два с половиной. Так что при желании можно устраивать общие собрания жильцов, не слезая с кровати, а нам, мальчишкам, удобно было подглядывать, что подделывают соседи.

Получается, ругаю я нашу улицу, но это не так, только поначалу нос воротил. Оно и понятно, мы же в Москве жили, на Малой Бронной. В двенадцатиметровой комнате вчетвером, но все равно — столица.

Нет, улица наша была, извините за игру слов, не красная, а даже прекрасная.

Не понравилось мне с непривычки, что завод день и ночь шумит, а он вот, рядом, двести метров. Пыхтит, грохочет, а когда работает в кузнечном цехе главный молот — в окнах стекла дребезжат, в шкафу посуда звякает. Но быстренько привык, под этот молот даже отец быстрее засыпал — сам мне так говорил, а в первые дни сильно раздражался...

Перебрались мы в Электроград в тридцать четвертом, летом — в июне или июле. Поселились в доме номер шесть, и квартира номер шесть, на втором этаже. Дедушка мой тогда уже умер, на троих шикарная была квартира, у меня отдельная комната. Помню, мать ходила такая счастливая, полы скребла, обои клеила, чистила-блистила.

Но я тосковал. Оглядываюсь день, другой — ребят-одногодков никого, и вообще пацанов нет, как будто тут одни взрослые живут. Оказалось, все в пионерлагере до сентября.

Мне идти в четвертый класс, школа была тогда одна на весь город, так что я, можно сказать, входил сразу в городское общество. Но первым знакомцем сделался сосед по дому, из четвертой квартиры, Игорь Шальнев. Отец у него работал бухгалтером на заводе. Мы были ровесники, и он тоже в четвертый перешел, и потом мы за одной партой сидели семь лет.

Сошлись мы без всякой подготовки. Я как-то утром по лестнице спускался, скрипучая такая лестница, а он из своей квартиры вышел с кружком от конфорки с кухонной плиты и железным прутком с крючком на конце — была тогда мода катать кружки и обручи по тротуарам. Левой рукой задашь обручу начальную скорость, подцепишь его крючком и катишь, а он звенит. Если человек семь кучкой обручи катят — целый оркестр, приятно слушать.

Увидел он меня, и спрашивает:

— У нас живешь?

— В шестой квартире.

— Ты кто?

— Толя Серегин, — говорю.

— Это тебя так мама-папа зовут, а взаправду как?

Я сообразил, о чем он, отвечаю:

— Серьга. — Так меня в Москве на Малой Бронной прозвали.

В те времена все ребята поголовно клички имели, по большей части от фамилии. Он говорит:

— Я — Эсбэ.

— А что это — Эсбэ?

— Справочное бюро — сокращенно. Я все знаю.

Ну я, конечно, не очень-то поверил, москвичу баки забить — голову заморочить — не так-то просто, но вообще-то скоро обнаружилось, что он действительно знал много таких штук — мне и не снилось. Он показывает свой крючок и конфорочный диск, спрашивает:

— Умеешь?

— Нет, — признаюсь.

— Айда, покажу.

Он повел меня на ту улицу, где кирпичные дома стояли, — это центральная улица была, Горького, как в Москве. Только на ней асфальт и имелся.

За час освоил я это дело, и поговорили мы о том о сем. Он, между прочим, спросил, есть ли у меня поджига, а я и не слышал, что это такое.

— Эх ты, Серьга! — сказал мне Эсбэ, как больному. — Хочешь быть жертвой, да?

Я не ведал, что значит стать жертвой, даже слова такого никогда не встречал, поэтому, чтобы не выдать своего невежества, задал неопределенный вопрос:

— Почему?

— Без поджиги тебя кто хочешь может подстрелить. Айда!

Он повел меня к сараям и там, в закутке, вынул из кармана своих штанов револьвер, ненастоящий, конечно, но очень красивый — глаз не оторвешь.

— Это браунинг, — говорит. — У меня есть еще маузер, вот такую доску с двадцати шагов насквозь пробивает, и пуля улетает дальше. — И показывает пальцами — доска получается сантиметров пять толщиной.

Я уже освоился с ним немного и подначиваю:

— За горизонт улетает?

Оказалось, напрасно подначивал.

У Эсбэ уши сделались розовые — оскорбился. Достает из другого кармана коробок спичек, прилаживает одну спичку к револьверу — там на деревянной рукоятке маленькая скобочка из стальной проволоки, спичка втыкается так, чтобы головка легла на прорезь, сделанную в казенной части ствола.

— Отойди! — командует.

Я стал у него за спиной. Он чиркнул коробком по спичке, вытянул руку, и тут как бабахнет — в ушах зазвенело.

Стрелял он в стенку сарая шагов с семи. Доска была не в пять сантиметров, но в два сантиметра — это как минимум.

Продул небрежно дуло (мы ствол дулом называли), подошел к стенке, ткнул пальцем и приглашает меня этак сквозь зубы:

— А ну смотри.

Я посмотрел: дырка, аккуратная такая. Он говорит:

— Понял? А у маузера дуло в два раза длинней.

Теперь, наверно, уже у меня уши покраснели и вид был как у оплеванного, потому что Эсбэ поглядел на меня и сжалился.

— Ладно, — говорит, — тебе нужно сделать поджигу. У меня есть трубка — во! — Он оттопырил вверх большой палец правой руки, а тремя пальцами левой как бы посыпал его сверху — это означало «на большой с присыпкой», по-нынешнему — высший сорт или товар повышенного спроса, что ли.

Мы пошли в наш общий длинный сарай, в клеть под номером четыре, и первым долгом он показал мне свой маузер, который извлек из тайника в углу, за поленницей душистых колотых дров. Это была, уверяю вас, замечательная вещь.

К обеду я тоже был вооружен браунингом. Изготовил его Эсбэ, но я наблюдал внимательно и так освоил процесс производства, что позже сам стал порядочным оружейным мастером.

Очень вкусно выходило все у Эсбэ. Материалов и инструментов было в специальном ящике множество.

Он сам остался доволен своей работой, а обо мне и говорить нечего. Но Эсбэ на этом не остановился. Достал из ящика два коробка спичек и начал обстругивать серу о дуло — она падала в ствол. Потом высыпал серу на клочок газеты, вынул из ящика заткнутый тряпчочкой винтовочный патрон, из него отсыпал немножко пороха и смешал его с серой, а смесь ссыпал в ствол. Из газетной бумаги слепил пыж, загнал его коротеньким шомполом в ствол, легонько утрамбовал. Потом вынул из ящика мешочек — в нем оказались самодельные свинцовые пули самых разных калибров.

Он выбрал подходящую, опустил в ствол, загнал еще один пых и сказал:

— Сейчас попробуем.

Мы пошли через болотце, лежавшее сразу за сараем, к заброшенной будке, неизвестно зачем стоявшей посреди огромного пустыря.

Эсбэ, как в первый раз, велел мне стать у него за спиной и выстрелил по будке. Смятую пулю мы отыскали внутри, и Эсбэ протянул мне поджигу.

— Хороший браунинг, — авторитетно объявил он при этом.

Мы вернулись в сарай и зарядили оба браунинга. Обстреливал я спички и размышлял. И выходило так, что все знаменитые затеи Тома Сойера — просто девчоночьи игрушки. Эсбэ, пока мастерил браунинг, кое-что рассказал про город и его малолетних и уже не очень малолетних обитателей, обрисовал расстановку сил. Тут по-настоящему пахло порохом, без всяких шуток.

Дело вот какое.

По другую сторону железной дороги строился еще один большой завод, народу там было если и поменьше, чем по эту, то ненамного. Стройка существовала самостоятельно и как бы не входила в состав города. Из-за чего возник конфликт между стройкой и городом, толком никто уже не помнил, но, в общем, предлог был мелкий. Стороны не тревожили друг друга, пока не нарушалась граница, то есть городские не могли безнаказанно перейти через железную дорогу на территорию стройки, и наоборот. Но раз, а иногда и два раза в год, обязательно летом, происходили генеральные сражения на обширном поле километрах в двух от города.

День битвы устанавливался по договоренности между атаманами двух войск. Атамана нашего войска звали Ватула, ему было лет двадцать.

На вооружении у нас имелись поджиги, рогатки, из которых стреляли шариками от подшипников, а для ближнего боя — ножи. Но главное не это. Хотите верьте, хотите не верьте, у нас была настоящая пушка на колесах, маленькая и старенькая, но настоящая. Ее унесли с заводского шихтового двора, избавив таким образом от переплавки в мартеновской печи. Она, правда, не стреляла за отсутствием снарядов, но на по-

ле боя ее выкатывали, а после опять прятали в укрытие, в какой-то погреб, о котором знали только несколько человек.

Мне лично пришлось участвовать в трех битвах, и однажды я получил ранение — шариком из рогатки мне так закатили в лоб, что я потерял сознание. Очнувшись, гляжу в небо, как князь Андрей, а шум битвы уже далеко — наши врагов разгромили и обратили в бегство. Вообще мы всегда одерживали победу, хотя раненых и у нас бывало много. Меня, можно сказать, вынес с поля боя Эсбэ, довел до амбулатории, и там мне промыли рану, залили йодом и наложили скрепки...

Можно спросить: куда же смотрела милиция? А куда ей смотреть, если на весь город было милиционеров человек пятнадцать, а вооруженных сорванцов — под тысячу. К тому же Д и Ч — день и час сражения держались в строгом секрете. Если бы кто проболтался — на городском кладбище прибавилась бы свежая могила.

Вы не подумайте, будто были мы какими-то отпетыми бандитами. Ничего подобного! В школе все шло чин чинном, учились нормально и в пионерском строю с барабаном ходили, хотя круглых отличников, конечно, презирали. Кто старше, после семнадцати — в аэроклуб рвались, на планерах летали, а значки «Ворошиловский стрелок» и ГТО считались чуть не орденом. На каждой улице существовали своя тесная компания и свой атаман, иногда возникали междоусобицы, и довольно жестокие, но главный закон был — лежачего не бить, это соблюдалось свято. И вина мы не пили. Но так уж завелось: в школе пайнька, а после уроков — совсем иное дело. Время было голодное, далеко не каждая семья хлеб с маслом ела, больше все маргаринчик. Мы на базаре шарап устраивали. Скажем, стоит тетка, яблоками торгует. Один подходит, дергает мешок снизу, яблоки раскатываются, тетка вопит: «Караул, грабуют!», а мы суем кто сколько за пазуху — и деру. А уж подойти к мешку с семечками, схватить горсть и удрать — тут вообще никакой доблести. Никуда не годится, конечно, я бы за такие штуки собственному сыну не то что уши надрал, но что поделаешь — шпанистые у нас коноводили...

Если говорить о деньгах, то их у большинства ребят никогда не бывало. Редко кому, как мне и Игорю

Шальневу, родители полтинник на кино давали. Единственный источник дохода был утиль. Тогда по улицам ездили старьевщики — приемщики на больших фургонах, битюгами запряженных. Принимали тряпки, кости, фарфор, бутылки, а дороже всего шла медь. Взамен предлагались свистульки глиняные, разные пищалки типа «уйди-уйди», ландрин в железных коробках, а самым дорогим приобретением считался пугач и пробки к нему, которые в упаковке походили на соты с медом, и старьевщик аппетитно так отламывал от большой плитки малые куски. Но пугачи брали только маменькины сынки, а тому, кто был вооружен поджигой, они ни к чему. Мы с Эсбэ сдавали утиль за деньги.

А у Эсбэ имелась еще одна статья дохода, связанная с известным риском, — он делал и продавал взрослым хоккейные клюшки.

До войны в шайбу не играли, даже не слыхали про такую игру. Только в мячик, или в шарик, как мы выражались. Обычно все, кто играл в футбольных командах, и взрослые и пацаны, зимой в том же составе выходили на лед. И на тех же местах. Футбольный инсайд и в хоккее оставался инсайдом, хавбек — хавбеком и так далее.

Фабричные клюшки надежностью не отличались. Поэтому настоящие, заядлые хоккеисты старались сами себе делать клюшки, а кто не мог — покупал у других. Спрос был большой и постоянный. Особенно ценились клюшки с камышовым клином, а на втором месте стоял клин текстолитовый, из нового искусственного материала, но они были гораздо тяжелее.

Главная деталь в клюшке — все-таки загиб, ведь по шарiku не клином бьешь, а загибом.

Лучший материал для загиба — дуга из лошадиной упряжи. А где ее возьмешь? Только на конном дворе горкомхоза. Там и добывал дуги Эсбэ, в этом и состоял риск.

Откуда он научился, до сих пор не пойму, но Эсбэ классные клюшки создавал. Именно создавал. Впервые я увидел его работу в сентябре, мы уже в школу пошли. И был я просто околдован.

Меня что по сию пору удивляет — рос Эсбэ в интеллигентной семье, отец бухгалтер, мать инженер, у них даже домработница была, а он на все руки мастер. Одно с другим как-то не стыкуется...



Кстати, нужно о его семье хоть немного рассказать, раз уж я о ней упомянул.

Отец Эсбэ, дядей Андреем ребята его звали, был высокий, стройный, плечистый и носил усы, тонкие, стрелками, которые все называли почему-то офицерскими. Слово «офицер» употреблялось тогда только в ругательном смысле, а дядю Андрея соседи уважали и любили за добрый нрав, а все-таки усы считали офицерскими. Мать Эсбэ ходила в ту пору с животом, ждала ребенка. У них жила домработница Матрена как родная. Маленькая такая, как колобок. Она еще и мать Эсбэ нянчила, привезли они ее из Рязани, они все рязанские. Безответная такая старушка, вечно хлопотала. Замечательный хлебный квас она делала. И морс из клюквы варила очень вкусный, иногда мама просила ее и для нас сварить, из нашего сырья.

У них под выходной день вечером почти всегда собирались гости, человек по десять, и гуляли допоздна. Дядя Андрей на гитаре играл, мать на скрипке, и пели они дуэтом старинные романсы очень душевно. Ну дом-то деревянный, слышимость хорошая, так что жили мы как бы внутри музыкальной шкатулки или патефона. Моя мама не одобряла такого образа жизни — из-за беременности мамы Эсбэ. Иной раз с досадой скажет: «Ну как она может, в ее-то положении?!» А отец мой поддакнет, чтоб угодить ей: «Шумная семейка!» Но чужое веселье отцу не мешало. С дядей Андреем они подружились, а его жене он даже целовал руку. Жаль Шальневых, печально все сложилось, но до этого мы еще дойдем.

Хочу досказать насчет клюшек.

Однажды вечером, уже смеркалось, Эсбэ постучал к нам в дверь — звонков тогда не было — условным стуком: удар, длинная пауза, удар, короткая пауза, удар — длинная пауза и еще два таких удара — это по азбуке Морзе на флоте означает общий вызов. Мы флажную и буквенную телеграфную азбуку выучили в неделю и договорились пользоваться между собой. Выхожу, он шепчет: «Ты не трусишь?» Кто же себя трусом назовет? Говорю: «Что надо делать?» Шепчет: «Надень тапки, через десять минут — за сараем». Мы пошли к конному двору, и по дороге Эсбэ объяснил мою задачу. Я буду ждать у забора, он бросит мне дугу, и я должен быстро утащить ее к нашему сараю.

Подошли, он поставил меня у забора, на углу, а сам испарился. Не знаю, сколько ждал, а потом слышу — шмяк на траву. Поднимаю — дуга. На ощупь — гладкая, но как бы рябая. Я ее на плечо — и быстрым шагом домой. Большая дуга попалась, хотя не очень тяжелая. Эсбэ, пожалуй, ее по земле волочил бы: он пониже меня был.

На следующий день после школы Эсбэ начал мастерить клюшки. Он проявил великодушие и кое-что разрешал делать мне.

Первым долгом мы распилили дугу одноручной пилой пополам в ее вершине, поперек.

Дуга была очень красивая, покрашенная в вишневый цвет, а сверху покрыта лаком. Собственно, лак давно облупился, остались мелкие блески, как чешуя у рыбы, которая долго лежала на сухом берегу, но все равно дуга пускала зайчики на солнце.

Опилки пахли приятно и были пушистые и легкие в горсти.

— Вяз, — сказал Эсбэ. — Это старая дуга.

Из толстой дуги для тяжелых запряжек можно было выкроить и восемь загибов, а нам как раз такая и досталась, но Эсбэ не любил халтурить, и мы сделали шесть.

А происходит это так.

Половину дуги надо распилить вдоль на три части. Трудная работа, если учесть, что пилили мы не на верстаке, а на порошке сарая, держа скользкую заготовку руками. А вяз потому и вяз, что вязкий. Не один пот сошел, пока разделали первую половину на три плашки. Средняя плашка получилась готовым полуфабрикатом, а крайние еще требовалось обтесать с одной стороны, чтобы они стали плоскими.

Эсбэ ножом обстругал заготовки, придал им форму фабричного загиба и начал доводить сначала драчовым напильником, потом бархатным, а потом тонкой наждачной шкуркой. Когда заготовка сделалась нежной, словно замша, он достал из ящика фанерный шаблон загиба и шилом нанес на заготовку его контур, затем лобзиком выпилил по контуру, и оставалось лишь сделать вырез для клина.

Из-под кровати Эсбэ вынул камышовый клин, уже совсем готовый, дал мне плитку столярного клея, кон-

сервную банку, велел развести у сарая костерок и научил, как варить клей.

Я все исполнил по инструкции, а он подогнал клин к вырезу на загибе и склеил их. Пока клей сох на зажатой в маленькие тиски клюшке, Эсбэ приготовил изоляционную ленту, киперную (такая белая широкая тесьма, употребляли ее для обмотки и как шнуровку для хоккейных ботинок) и клубок свитой в тонкий жгут кожаной оплетки.

Потом сочленение было туго спеленато изоляционной, загиб — киперной лентой, а поверх красиво оплетен кожаным жгутом, так что было похоже на заплетенную гриву коня (недаром же загиб из дуги), а ручка с торца обита куском толстой кожи и на две ладони от торца обмотана той же изоляционной.

Такие клюшки продавали по полсотни за штуку. Если не ошибаюсь, столько же стоили самые лучшие мокшановские футбольные мячи, в которые играли команды мастеров. А харьковские велосипеды, которых тогда было раз в сто меньше, чем сейчас автомобилей марки «Жигули», стоили двести пятьдесят рублей. Может, на счет цен я неточно — подзабылось немного, но, в общем, что-то около этого.

Понятно, что Эсбэ в свои десять лет был вполне самостоятельным человеком, брось его, как говорится, в любой водоворот жизни — не утонет. Но все же дуги не каждый день добывать удавалось и даже не каждый месяц. А поймают — родителям позор и суровое общественное порицание.

В октябре Эсбэ все шесть клюшек пристроил, и мы начали пировать. Кино — каждый день. Ситро — пей не хочу. Халва — пожалуйста, пока не стошнит.

В школе я был за Эсбэ как за каменной стеной. Меня с первого дня приняли в свою компанию самые заводилы, потому что я был другом Эсбэ, а его даже старшекласники знали.

Зима с тридцать четвертого на тридцать пятый запомнилась на всю жизнь.

Мать Эсбэ родила девочку и умерла при родах. Моя мать страшно плакала и кляла себя за то, что осуждала ее когда-то. Оказывается, ей нельзя было рожать, врачи запретили из-за сердца, но дядя Андрей очень хотел дочку. Дом наш после похорон как-то притих, а дядя Андрей стал непохож на самого себя.

С тех пор я его трезвым не видел, наверно, целый год, пока он не женился на молоденькой женщине, которая сильно красила губы и курила длинные папироски.

Эсбэ неделю не ходил в школу и не встречался даже со мной, сидел в своей комнате при занавешенном окне.

Девочку называли Олей. Вот забыл только, в декабре она родилась или в январе.

Во-вторых, той зимой шел фильм «Чапаев». Мы с Эсбэ смотрели его сорок три раза — в клубе имени Горького, который был, так сказать, культурным центром города, и везде, где работали кинопередвижки.

Летом я поехал, как и все, в пионерский лагерь, в деревню Глухово, и мы с Эсбэ пробыли там две смены. Поджиги и рогатки мы с собой не брали. Тогда все лето играли в Чапаева, и даже когда у нас военные игры были, мы хоть и охотились официально за флагом синих, но между собой все равно оспаривали, кому Чапаевым быть, кому Петькой, а кому лысым полковником. Анки у нас не было, потому что девчонок мы в компанию не принимали. Эсбэ и я были влюблены, одиннадцатилетние сопляки, в нашу вожатую Таню Соломину. Ей двадцать лет, очень красивая была, с парашютом прыгала и к тому же ворошиловский стрелок. Мы ее слушались. А один раз увидели в «мертвый час» — сидит на полянке за столовой и плачет. Мы к ней, она обняла нас, смеется сквозь слезы, спрашивает: «Вы что, мальчишки?» Эсбэ угрюмо говорит: «Кто вас обидел, должен погибнуть». Она так хохотала, что из столовой пришла судомойка Маша. Таня нам говорит: «Вы спать должны. «Мертвый час». А ну-ка бегом». А жили мы в деревенском доме рядом с пуговичной фабрикой, которая тоже в таком же доме располагалась, может, немного побольше. Пуговицы делали довольно ходовые — жестяная тарелочка величиной со шляпку желудя, на донышке проволоочное ушко, а тарелочка накрывалась жестяной же крышечкой, а поверх нее цветная бумажка в клеточку, а на бумажку — прозрачный целлулоид. Большим успехом пользовались пуговицы, а мы их таскали. И вот нас разоблачил старший вожатый, ему начальник этой фабрики пожаловался. Устроили у нас в спальне обыск, и больше всего пуговиц нашли в подушке у Эсбэ — триста с лишком штук, почти недельный план всей фабрики, на которой

работали четыре старушки. Нас не взяли в поход — в виде наказания. А потом мы выяснили, что этот старший вожатый после отбоя встречается с Таней, и Эсбэ хотел вызвать его на дуэль, когда вернемся в город, и предложить ему маузер, а сам Эсбэ должен стрелять из браунинга. Это было очень даже благородно с его стороны, но дуэль не состоялась. Как говорится, время залечило наши сердечные раны...

Может быть, все, что я тут рассказываю, не имеет прямого отношения к делу, однако я думаю так: полезно знать истоки, откуда пошел человек, как его характер складывался. Когда это знаешь, легче поймешь и объяснишь поступки и поведение этого человека уже во взрослые годы.

Но пора переходить к черепахам.

В 1936 году появился на нашей улице Сашка Балакин. Он приехал откуда-то из Средней Азии, кажется, из Ташкента. В доме № 8 на Красной жили его дядя с женой и дедушка. Ходили слухи, что дядя не очень-то ему обрадовался. А нас он просто загипнотизировал. Начать с того, что Сашка умел ходить на руках, хоть по полчаса, крутил сальто, а стойку на руках мог делать на спинках стульев, на краю крыши сарая и вообще на чем угодно. Он был на два года старше нас с Эсбэ, уже давно научился курить и, само собой, быстро стал нашим кумиром.

Но дело не в нас. Сашка сразу сделался своим среди старших ребят, и даже наш атаман Богдан признал его за равного себе, хотя был страшно самолюбивый.

Что еще всех поразило — у Сашки имелась на левой руке наколка. Симпатичная черепаха. Он небрежно объяснял, что наколол ее один его приятель, гроза тех мест, откуда он приехал. Это создавало некий таинственный ореол. Из наших только Богдан носил наколку — аляповатого орла на левой кисти, сделанного им самим и совсем бледного.

Всякий знает: у ребят два года разницы — все равно как в армии разница между сержантом и майором. Но Сашка относился к нам с Эсбэ так, словно мы ему ровня, не задавался, а если кто надоедал ему расспросами или просьбами сделать стойку или сальто, он беззлобно говорил: «Хватит. Брысь!» Так его и прозвали: Сашка Брысь.

Он окончил семилетку и должен был бы, по нашим

понятиям, идти в восьмой класс, но не пошел. Собирался поступить в электромеханический техникум, потому что хотел пойти служить, когда призовут, на флот, и не куда-нибудь, а в подводники. А на подводной лодке главная специальность, мол, электрик. Так он нам объяснял, но у него ничего не получилось.

Отправился Брысь в Москву, подал документы в техникум, сдавал экзамены и провалил по всем предметам. Потом время упустил, в школу не записался и всю зиму прогулял. Как он говорил, дядя сильно сердился и решил его наказать. Дело в том, что родители Брыся присылали дяде деньги на содержание своего сына, и вот дядя перестал давать Брысю даже несчастный полтинник на кино, и Брысь здорово из-за этого переживал, ему стыдно было даже перед нами, сопляками.

Дядя запретил ему пользоваться сараем. Но это не огорчало Брыся, потому что любой из мальчишек с великим удовольствием готов был предоставить ему ключ от своего сарайного замка и почитал за счастье, если Брысь принимал приглашение.

А у него стала появляться надобность в сарае.

Однажды поздней осенью он вечером вызвал Эсбэ, я как раз у него сидел, уроки готовили. Мы вышли вместе. Брысь спрашивает: «Можешь ключ от сарая взять?» У Эсбэ ключ всегда в кармане был. «Одевайся, буду ждать за сараем, — говорит Брысь. — Только молчок». Я, конечно, тоже пошел.

В сарае Эсбэ зажег лампу — там у всех «летучая мышь» была.

Брысь развязал мешок, в котором лежало что-то кубическое. Это оказался большой фанерный ящик. Брысь попросил стамеску, отодрал планки, снял крышку. В ящике плотно друг к другу стояли фитилями вверх белые свечи. Брысь говорит: «Это надо продать». Мы с Эсбэ знали, что в двух деревнях возле города электричества не было, при керосиновых лампах жили, а такие свечи — белые, длинные, их восковыми называли — и в городе каждая семья в доме держала, потому что свет частенько отнимали.

Брысь попросил Эсбэ поддержать ящик в сарае с неделю, а потом малыми порциями надо будет продавать свечки по деревням. И, само собой, приказал нам строго хранить молчание.

Свечи мы успешно продали. Выручка была небольшая, так как сбывали их вдвое дешевле магазинной цены, но мы испытывали сладкое чувство хорошо исполненного долга.

Сейчас-то, с высоты прожитых лет, я понимаю, что вели мы себя, то есть я и Эсбэ, несознательно. Ясно же, что свечи были краденые, но мы об этом и думать не желали.

Брысь поделил деньги на три равные части и дал нам нашу долю. И, взяв с нас слово хранить тайну, рассказал, что эти свечи он реквизирует — так он именно и назвал — в палатке возле базара. Мы прониклись к нему еще более пылкой любовью и сделали помощниками нашего кумира, а вернее, сообщниками, но этого слова мы еще не знали.

Эсбэ дал Брысю запасной ключ от сарая, и за ту зиму под кроватью, где Эсбэ хранил в ящике свои инструменты, много чего побывало.

Брысь приносил в мешке конфеты и красивые дамские гребни, печенье и перочинные ножички, одеколоны и папиросы «Пушка», а один раз принес большой куб мармелада. И всегда все это было не навалом, а в фабричной упаковке. Мы с Эсбэ понемножку-потихоньку торговали ворованным добром по соседним деревням и в школе и ни разу не попались — Эсбэ у всех вызывал доверие, никто не мог заподозрить его в чем-то плохом. Мармелад мы освоили сами, конфеты и вообще, когда попадалось что-нибудь вкусное, Брысь разрешал нам есть сколько влезет. Деньги неизменно делились поровну. Удивительная вещь, но нам никогда и в голову не приходило, что занимаемся сбытом краденного, — так велик был авторитет Брыся. Мы считали его непогрешимым и никогда не спрашивали, откуда что он принес, а он никогда не говорил нам об этом. Сам собой сложился уговор: что бы ни сотворил Брысь — значит, так и надо, так оно и должно быть.

Той зимой Брысь научил нас курить — как раз когда реквизирует ящик папирос «Пушка».

После школы мы встретились с Брысем, пошли в сарай. Он распечатал пачку, закурил, а мы смотрим, как он, сидя на кровати, пускает одно за другим три колечка — здорово у него получалось.

Наверное, Брысь уловил, как мы ему завидуем. Говорит: «Я в четвертом классе закурил». А мы были уже

в шестом. Стыд и срам! Эсбэ спрашивает: «Можно, мы попробуем?» — «А чего ж?» Брысь дал нам по папиросе и объясняет: «Надо в себя дым втянуть, полный рот, потом враз вдохнуть — вот так. — Он показал, как это делается, и выпустил дым двумя длинными струями из носа. — Ну, валяйте». Он дал нам прикурить. Мы сделали все по инструкции, но вышел из меня дым или нет, я не понял, потому что голова вдруг закружилась, и я очнулся на полу. Эсбэ лежал рядом. Брысь смеялся до слез, держа в руке две наши папиросы. Они еще дымились — значит, я был без сознания сколько-то там секунд, а показалось, будто приехал откуда-то издалека и всю дорогу спал. Эсбэ тоже очухался, и Брысь говорит: «Это всегда так бывает. На сегодня хватит, в следующий раз лучше будет». И правда, вечером мы с Эсбэ попробовали сами, без Брыся, сделали затяжек по пять. А через неделю мы курили в школьной уборной вместе с парнями из девятых и десятых классов, и они глядели на нас с большим одобрением.

Словом, Брысь сделал нас полноправными людьми. А сам, между прочим, чуть не попался. И мы, дураки, не понимали, что он становится настоящим вором.

Однажды — уже наступила весна, снег стаял — он вернулся из опасной своей экспедиции расстроенный и с пустым мешком. Мы курили в сарае, он долго молчал, а потом говорит: «Ша, птенчики, затаились». С того дня Брысь по вечерам стал ходить в кино, и так длилось до мая.

А у Эсбэ созрел грандиозный план. В Испании шла война с фашистами, каждый день по радио и в газетах сообщали о героической борьбе за республику и свободу, а слова «No pasaran!»\* знали даже трехлетние шкеты. Как-то идем мы после школы домой, и Эсбэ спрашивает вдруг с таинственным видом: «Хочешь в Испанию?» — «Все хотят, — говорю, — только кто нас туда пустит?» Он говорит: «Чудак, убежим». И потащил меня в сарай.

Вытаскивает из-под кровати свой знаменитый ящик, а из него две географические карты, очень мелкие, — на одной Советский Союз, на другой Европа. Разложил их и объясняет маршрут.

---

\*Они не пройдут! (испан.).



Надо на поезде через Баку и Тбилиси доехать до Батуми. Там достать лодку и морем доплыть до турецкого берега — это совсем просто, граница рядом. Ну а дальше еще проще: в Стамбул, оттуда на попутном пароходе в Марсель. Из Марселя же до Испании — рукой подать, как от Батуми до Турции. В Испании мы поступаем в интернациональную бригаду и будем разведчиками. Если же не примут, то мы станем действовать против фашистов и Франко самостоятельно, сделаемся мстителями-диверсантами и будем наводить страх и ужас в стане противника. Оружие на первые дни у нас есть — поджиги и ножи, а потом мы, конечно, добудем в первой же операции пулемет и гранаты.

Эсбэ показал мне компас, необходимый при дальнейшем путешествии, и кое-какие продукты, которые он начал запасать еще недели за две до этого, — сахар, соль, черные сухари.

План был, конечно, замечательный, и я сразу согласился бежать в Испанию. Эсбэ намечал отправиться в начале июля.

Немного смущало лишь одно: что скажут и как себя будут чувствовать наши родители, когда узнают о побеге? Но, обсудив этот вопрос, мы решили вырвать из сердца всякую жалость и оставаться мужчинами до конца. Мы же не девчонки, мы не можем думать о родительских слезах и разводить нюни. Ну поплачут они день-другой, погорюют, зато после, когда мы вернемся героями и победителями, они будут гордиться нами.

Сомнения были отброшены, и я тоже приступил к заготовке необходимых припасов, для чего приходилось урезать собственное дневное довольствие и малыми порциями конфисковывать дома соль, сахар, спички и прочее.

Денег на покупку железнодорожных билетов и на проезд от Стамбула до Марселя мы, само собой, тратить не собирались, но все же какую-то сумму на непредвиденные расходы иметь полагалось, и поэтому Эсбэ наметил сделать на продажу несколько ключек, для чего требовалась дуга.

Сторожа на конном дворе горкомхоза были благодаря Эсбэ уже бдительные, и добыли мы дугу с большим трудом. Эсбэ начал потихоньку изготавливать ключики, а я ему помогал.

Кончились занятия в школе, нас перевели в седьмой класс. В пионерский лагерь мы ехать отказались в первую смену, объяснили родителям, что поедем во вторую, а пока нам надо потренироваться в футбол — нас приняли в детскую команду общества «Металлург». Насчет команды мы не врали, но никаких тренировок, конечно, не было.

Постепенно мы уточняли и шлифовали план побега, и все представлялось нам в лучшем виде, все сулило полную удачу. Но однажды задумался Эсбэ и говорит: «Два бойца — это хорошо, а три — было бы еще лучше». Мы стали перебирать знакомых ребят, кого можно сговорить на побег, но один за другим отпадал безнадежно. «Вот если бы Брысь согласился, — сказал Эсбэ. — Вчера он со своим дядей дрался...» Мы знали, что дядя давно хотел на Брыся в милицию заявить, а сам Брысь говорил старшим ребятам — или морду набьет этому дяде за его крохоборство, или плюнет на все и удерет домой, в Ташкент, или куда там, но о своих родителях он никогда не поминал, будто их вовсе нет. Бабки сплетничали: мол, Брыся услад его папа с глаз долой, чтобы не мешал. Будто папа его, вроде отца Эсбэ, женился на молодой. Вот и Эсбэ с мачехой не очень-то уживался. У них там опять по вечерам собираться начали, песни, музыка, только уже без скрипки, потому что на скрипке мать Эсбэ играла, а другие не могли, и няня Матрена убрала ее к себе в плетеную корзину. Один раз новая мама Эсбэ вошла к нему в комнату, а там и Оля лежала в качалке, а она, мама, была немножко подшофэ, и принесла Эсбэ кусок от плитки шоколада, а он сказал: «Не хочу», — и они потом редко разговаривали...

Мы постановили закинуть удочку и раз вечером подкараулили Брыся, когда он из клуба возвращался, с последнего сеанса. Остановили: мол, нет ли закурить? У него всегда было, пошли в сарай, зажгли лампу, и Эсбэ, пока курили, изложил наш план.

Брысь сначала улыбался, а потом щелкнул меня и Эсбэ в лоб и говорит:

— А что, это идея! Можно махнуть.

Мы от счастья закричали «ура!». Брысь нас остановил:

— Тихо! Никому не болтали?

Этого он мог бы и не спрашивать, мы даже обиделись. Он заметил, поправился:

— Ладно, замнем. Беру команду на себя. А вы отвечаете за подготовку.

И тут Эсбэ пришла замечательная мысль.

— Нам нужно иметь особый знак, — сказал он таинственно.

— Какой еще знак? — не понял Брысь.

— В Испании мы же не можем под своими настоящими фамилиями воевать. Мы же будем в разведке.

— Ну и что? Тебя зовут Эсбэ, его — Серьга, меня — Брысь.

— А если кого из нас тяжело ранят или убьют, как наши товарищи узнают, что это мы? Мы же потеряем сознание...

Брысь подумал и согласился:

— Ты прав. Что предлагаешь?

— Надо сделать наколки на руках. Вот у тебя же есть.

Брысь поглядел на свою голую руку, где была выколота черепаха.

— Можно. Только учтите, это больно.

Эсбэ презрительно фыркнул.

— Кто едет в Испанию, тот не боится никакой боли.

— Достаньте черной туши, пузырек, — сказал Брысь. — И четыре иголки.

— Какие иголки? — спросил Эсбэ. Мы не знали, как это делается.

— Обыкновенные, какими нянька шьет. И еще нужно немного ниток.

На следующее утро мы собрались в сарае у Эсбэ. Все было принесено: пузырек туши, четыре иглы и нитки. Эсбэ захватил бинт. Показав на бинт, Брысь удивился:

— А это еще зачем?

— После завяжем, а то дома увидят — попадет.

Приступили к делу.

Когда все было закончено, руки у нас вздулись, будто под кожу и правда настоящая черепашка забралась. И горело, саднило так, что хотелось в голос выть. Но нельзя.

Мы с Эсбэ покурили, и он завязал бинтом руку мне, а я ему.

Отцу с матерью я сказал, когда спросили, что, мол,

ободрался о гвоздь, который торчал из забора. Но дня через три у меня ночью повязка съехала, мать утром увидела руку, сказала отцу. Он тогда в первый раз кричал на меня. А мать плакала и неделю со мной не разговаривала. Но они понимали, что ничего назад не повернешь, и в конце концов смирились.

Через месяц опухоль постепенно сошла, и наколка приобрела почти такой вид, как у Брыся, чего мы с нетерпением ждали. Только все еще чуть краснели некоторые точки от игл.

Нам с Эсбэ предстояло сделать три клюшки, а три уже были готовы. Мы освободили для этого целый день и принялись за работу. По плану до отъезда оставалась неделя.

Эсбэ распиливал половинку дуги вдоль на три части ножовкой, а я точил ножи о брусок. Вдруг он как заорет.

— Ты чего? — говорю.

Он левой рукой машет, из указательного пальца кровь прямо ручьем.

— Кажется, палец отпилил.

Оказывается, половинка дуги из упора выскользнула, а он ее левой рукой поддерживал, ну и чиркнул пилой по пальцу до кости.

Мы побежали в городскую поликлинику, до нее метров двести. Бежим, а Эсбэ говорит:

— Вот не хватало перед самой дорогой.

От боли он не так страдал — обидно было по-дурацки получить рану за неделю до отправки в Испанию.

Ну сделали Эсбэ в поликлинике все, что надо, но клюшки пришлось доделывать мне, и получились они, понятно, не такие классные, как у Эсбэ. С одной рукой он мог только руководить мной, а сам смотрел и злился, что у меня все идет сикось-накось. Но, худо-бедно, три клюшки я смастерил. Правда, за них дали на десятку меньше, чем за клюшки марки Эсбэ.

Приближался наш отъезд. Накануне Брысь отправился в Москву и на Курском вокзале узнал расписание дальних поездов и с каких платформ они отправляются. Он привез вагонный ключ — добыл в Москве, а как, не сказал. Это была для нас необходимейшая вещь...

4 июля 1937 года мы покинули Электроград, выехав на пригородном поезде. Билеты до Москвы купили, что-

бы не нарваться на контролера и не испортить весь план в самом начале из-за пустяков.

Никакого багажа у нас не было, только три сумки для противогазов. Они висели у нас через плечо, в них были все припасы. Эсбэ положил в сумку маленький мешочек с горстью родной земли. Он сказал: мы будем целовать ее в минуту тяжелых испытаний и смертельной опасности, и это поднимет наш дух. Брысь хотел до икоты, потом сказал: придется землю целовать в натуре, а не через материю, потому что мешочек краденый — Эсбэ стащил его у няни Матрены, она хранила в нем принадлежности для штопки чулок и носков.

Поджиги и ножи лежали на дне сумок. Все наши деньги — около трехсот рублей — были у Брыся, как у командира и старшего, а у нас с Эсбэ на всякий пожарный случай имелось по десятке.

Эсбэ очень хотел взять почтового голубя для пересылки боевых сообщений на Родину. И наш атаман Богдан обязательно дал бы ему своего любимого почтаря — он один у него такой был, белый как снег. Но для этого надо было сообщить Богдану, куда мы едем, иначе бы он не дал. Эсбэ подумал и отказался, хотя и эта идея была первый класс.

Палец у Эсбэ вроде бы зажил. Мы до этого бинт перебинтовывали каждый день — переворачивали той стороной, что почище, но бинт был все время один.

Через два часа мы приехали в Москву. Наш поезд, скорый до Тбилиси, отправлялся в десять вечера. Времени оставалось еще много, болтаться на вокзале на виду у милиционеров было ни к чему, и я предложил поехать в парк имени Горького. Там мы весело провели целых полдня, попробовали все аттракционы, ели мороженое и пили сидро. Правда, за все это пришлось платить, но мы не жалели, потому что хоть один раз в жизни человек должен как следует разгуляться, тем более нас ждали суровые испытания, и еще неизвестно, вернемся ли мы живыми...

В половине девятого приехали на Курский вокзал. Брысь повел нас через какие-то склады и вывел на железнодорожные пути по другую сторону вокзала. На путях стояли два состава, но оба скоро ушли. Мы присели за сложенные штабелем рельсы, и Брысь объяснил, что наш поезд должен отправляться с первого пу-

ти, самого ближнего к вокзалу. Наметили план действий и стали ждать.

Скоро на первый путь медленно втянулся длинный состав с большим паровозом. Уже смерклось, потому что небо было в тучах, и в этом нам повезло. Быстро перебежали через рельсы, Брысь вспрыгнул на подножку вагона в середине состава, поглядел в тамбур, спокойно открыл ключом дверь и махнул нам рукой. Это был тамбур, где находилась печь. Брысь отпер штопором перочинного ножа висячий замок на двери отопительного отсека, и мы с Эсбэ сели на корточки по бокам от печи, а он нас запер и исчез. По плану Брысь должен нас навещать, а часто или редко — это смотря по обстановке.

Сердчишко у меня билось, как овечий хвост, и у Эсбэ, наверно, тоже. Но мы успокоились, как только поезд тронулся. Летом печку топить не будут, так что потревожить никто не должен. А если и застукают, Брысь сумеет или выручить нас, или вместе с нами отдаться во власть кондукторов, а от них убежать — плевое дело...

Стучали колеса, скрипела холодная печка, звякала в ведре лопата, а паровоз иногда гудел то сердито, то радостно. Мы ехали в Испанию.

Шептаться — ничего не услышишь, говорить громко нельзя. Не помню, долго ли смотрели мы на пролетавшие за темным окном красные искры, но проснулся я, когда окно уже было светлым. Эсбэ, как и я, лежал на оцинкованном грязном полу тесного закутка, свернувшись калачиком, и щека у него была то ли в саже, то ли в угольной пыли. Хотелось пить, но воды мы не взяли, и я снова уснул. Растолкал меня Эсбэ. Поезд стоял на какой-то большой станции.

— Серьга, Серьга! — шептал Эсбэ, и глаза у него были больше медного пятака.

— Я уже не сплю, — откликаюсь. — Что случилось?

— Весь народ из поезда вышел. Мы уже давно стоим.

— Сколько?

— Может, полчаса. А Брысь не идет.

За стенами вагона слышались громкий говор, смех, крики носильщиков. И светло было, как в солнечный день.

Мы не знали, что предпринять, но тут заскрежетал

замок на двери, дверь раскрылась на две половинки, и мы увидели Брыся.

— Живо за мной! — скомандовал он.

Через минуту мы курили за пакагузом на солнышке и обсуждали положение. Было девять утра.

— Почему сошли? — спросил Эсбэ недовольно. — Нам ехать еще трое суток.

— По кочану! — мрачно сказал Брысь, но злился он не на нас, а, похоже, на себя. — Или расписание изменили, или путь. Не в тот поезд мы сели, чижики. Это город Горький.

Эсбэ сразу стал спокойный и деловой. Спрашивает у Брыся:

— Что будем делать, командир?

— Надо подумать, штурман.

Забыл сказать, Эсбэ в нашей боевой группе значился штурманом, а я вторым пилотом — вроде как в экипаже самолета АНТ-25, на котором летали Чкалов, Байдуков и Беляков. Это придумал Эсбэ. Он говорил: так будет удобно для конспирации, когда начнем действовать в Испании, это собьет с толку кровожадных ищеек генерала Франко. Ищейками назывались, конечно, не собаки, а люди — приспешники каудильо, они же клевреты.

Эсбэ озабоченно нахмурил брови и начал излагать:

— Мы приехали на Волгу... Волга впадает в Каспийское море... В Москву возвращаться нельзя, нас ищут... На Каспийском море стоит город Баку... От Баку до Батума не так далеко...

— Во дает! Без всякой карты! — Брысь понарошку дал Эсбэ шалабан. — Ты, наверно, по географии отличник?

Но за географию Эсбэ не обиделся, да и момент не тот, чтобы обижаться. Он выдвинул предложение:

— Надо пробраться к Волге, реквизировать лодку и плыть в Баку.

Мы смело приняли новый план Эсбэ.

— Но сначала надо пожевать и водички попить, — сказал Брысь, и мы с этим охотно согласились.

Вышли, минуя вокзал, на какую-то улицу, Брысь разузнал у прохожего, как добраться до берега реки, и по дороге мы купили хлеба и воблы и напились воды из колонки.

Шли мы пешком, и путь был долгий. А когда уви-

дели с высокого берега реку, оказалось, что это не Волга, а Ока — так объяснил сидевший на откосе старик.

Эсбэ достал из сумки свои карты и компас, что-то высчитал и успокоил нас с Брысем — мол, тут все равно, что Ока что Волга. Мы находимся при впадении одной реки в другую.

Принялись за воблу. Она была замечательная, я такой никогда не пробовал. Постучишь о каблук, погнешь ее туда-сюда, шкуру сдерешь, против солнышка на нее посмотришь — насквозь светится, как янтарный камень.

Свои запасы не трогали — они еще пригодятся в черный день. Наелись и так.

Потом закурили, и Эсбэ вдруг говорит:

— Что-то палец ноет.

— А ну разверни, — приказал Брысь.

Размотал Эсбэ грязный бинт, видим — ранка вся почти затянулась, но у ногтя маленькая трещинка и как будто нарывает. И весь палец черный.

— Дело швах, — сказал Брысь.

Но Эсбэ лизнул палец, и кончик языка стал у него черный, а палец побелел.

— Это уголь, — объяснил Эсбэ. — Из поезда.

— Сильно болит? — спросил я.

— Ноет, — сказал Эсбэ. — Придется отрубить.

— Ты что, больной? — Брысь даже плюнул.

— Чтобы не было гангрены, — спокойно растолковал Эсбэ. — Так всегда делают, если нет другого выхода.

— Знаешь что, чижик, не лепи чего не надо, — разозлился Брысь. — Схожу в город, принесу бинт и йоду. Ждите меня здесь.

— Тогда принеси и воды, — сказал Эсбэ. — Надо купить какой-нибудь жбан, мы должны иметь в лодке пресную воду.

— А в реке соленая, что ли? — усмехнулся Брысь. — Ладно, сделаем.

Он ушел. И больше мы его не видели.

Что Брысь не придет, стало понятно утром. А всю ночь мы ждали его, засыпая на час и просыпаясь. На рассвете мы проснулись от холода. Река курилась под взошедшим солнцем. Наши рубахи и штаны сверкали алмазами — нас, как траву вскруг, покрыла роса. Я стучал зубами и глядел на Эсбэ, а он на меня.



Мы не могли поверить, что Брысь нарочно покинул нас, бросил, как котят, в чужом городе. Это на него непохоже.

— Может, ногу сломал, — сказал Эсбэ.

— А может, подрался с кем...

Эсбэ дрогнул лишь на минутку и тут же овладел собой.

— Ты готов продолжать путь? — сурово спросил он.

— Готов.

— Тогда подкрепимся — и вперед.

После воблы мучила жажда, а есть не хотелось. Но тут нам крупно повезло.

Мы увидели пацана, примерно нам ровесника, в черных коротких штанах и в серой заплатанной рубаше. В одной руке он нес бамбуковую удочку, в другой — узелок и консервную банку на веревочной дужке, как ведрко.

Подойдя ближе, он остановился и оглядел нас хитроватыми глазами.

— Привет, — сказал Эсбэ.

— Здравóво, — ответил пацан, и такие у него были круглые «о», что я вспомнил, как Брысь пускает изо рта, когда курит, три кольца, одно за другим.

— Ты здешний?

— А ты?

— Мы плывем в Казань, — соврал Эсбэ, но это оказалось потом чистой правдой. — У тебя лодка есть?

— Ну, есть.

Короче говоря, мы столковались с этим бывалым рыбачком, что он на своей лодке доставит нас до первого удобного места на берегу Волги, откуда мы и двинем на низ, в Казань. За это мы отдали ему поджигу Брыся — его сумка осталась у нас. Брысь ушел в город без нее. Эсбэ показал, как надо стрелять и заряжать, а рыбачок в благодарность дал нам два крючка, свинцовое грузило и отмотал с удилища метра три лески. И на том мы с ним расстались.

До Волги мы видели лишь Москву-реку и Клязьму. Можно понять, как мы были ошарашены. Белые пароходы, баржи на поводу у буксиров, плоты с домами, печами и даже гусями плыли по реке, и она казалась самодвижущейся дорогой.

Мы сняли ботинки, привязали шнурками к сумкам

и зашлепали по песочку, на который набегала шептавшая волна. Берег был высокий и отвесный.

Не знаю, сколько отошли от Горького, но едва ли не к полудню увидели мы первое подходящее для привала место. Тут в Волгу впадал ручей, и в его устье образовалась ровная площадка. Пожалуй, это даже была маленькая речка, а ручьем она выглядела по сравнению с Волгой. Вода в ней оказалась чистая, прозрачная, холодная. Мы с Эсбэ лежа пили ее, пока живот не стал как барабан. Потом поели вчерашней воблы и сала из запасов и решили обследовать ручей. И правильно сделали.

Метрах в пятидесяти он делал поворот вправо, скрываясь за выступом высокого белого откоса. За поворотом мы увидели лежавшую на берегу ручья черную лодку. Она оказалась очень тяжелой, но мы, попотев, все же столкнули ее в ручей. На дне ее лежали весла с узкими лопастями, тоже нелегкие. Уключины — два деревянных колышка с петлями из смоленого каната. На носу железная цепь, продетая в кольцо.

На цепи мы подвели лодку к стоянке, погрузили свое добро, вывели ее в Волгу, уселись и... Хотел сказать — поплыли, но это было бы сильным преувеличением.

Во-первых, ни я, ни Эсбэ грести не умели, да к тому же палец у Эсбэ нарывал, правда, с утра стало немного лучше. Во-вторых, с такой верткой лодкой управляться такими пудовыми веслами даже опытный подмосковный гребец научился бы не скоро. В-третьих, мы с Эсбэ открывали свою первую навигацию не где-нибудь, а на Волге. Не шутка...

Мы трезво оценили свои возможности, и Эсбэ сказал:

— Надо бы потренироваться, но здесь нельзя, мы должны уплыть подальше. Давай пихаться.

У самого берега течения не было заметно — почти как на пруду. Опыт плавания на маленьких плотках по весенним прудам с помощью шеста у нас имелся. Первым на корму с веслом в руках встал я, а Эсбэ для баланса сел на носу. Я оттолкнулся веслом от дна, и мы начали водную часть своего пути в Испанию.

Перевернуться и утонуть мы не боялись, потому что плавали как утки. А то, что на проплывавших мимо баржах волгари ржали при виде такого необычного способа передвижения по реке на лодке, нас не за-

девало. Была забота посерьезнее — удрать как можно дальше от места реквизиции. Причем должен признаться, что совесть нас тоже не мучила. Ведь мы отправлялись воевать за свободу Испании, мы считали себя представителями великой страны.

Худо-бедно, но к вечеру мы уплыли, наверно, километров на пять, выбрали местечко на низком берегу, вытащили лодку и уснули, даже не поели.

Эта стоянка была долгой — мы учились грести. А потом дело пошло гораздо лучше, хотя на четвертый день опять пришлось остановиться надолго. Куковали трое суток, пока не подсохли мозоли на ладонях.

Мы сходили в прибрежную деревню в сельпо, купили хлеба и спичек и потом по очереди удили рыбу. Наживкой была шкурка от сала. Часа за два у нас на песочке образовалась целая гора рыбы, не меньше ведра. И все одна к одной, как лапти. И тут только мы сообразили, что ни жарить, ни варить ее не в чем.

Пришлось еще раз идти в деревню и реквизировать чугуны, сушившийся на заборе возле сельпо.

Если бы мы с самого начала готовились к путешествию по воде и имели в виду рыбную ловлю, у нас бы, конечно, имелись в запасе и перец, и лук, и лавровый лист, но, честное слово, и уха из одних лещей с солью, сваренная на костре, вкуснее ресторанной ухи.

Мы спали и купались, рыбачили и готовили еду, ели и опять спали. Нос у Эсбэ начал лупиться от солнца, а у меня плечи так обгорели, что больно было надевать рубашку. По вечерам, на сон грядущий, мы пели, чаще всего «Легко на сердце от песни веселой», из кинофильма «Веселые ребята». Вернее, пел Эсбэ, у него здорово получалось, а я подпевал.

Как стемнеет, ляжешь на сено — мы его из скирды и копен брали — и глядишь на небо. Если долго на одну звезду глядеть, она как будто дышит, то пригаснет чуть, то разгорится, словно кто на нее подул. А на другие звезды глянешь — они мигают друг другу, а потом кажется, что это они на тебя показывают — мол, смотрите, какой храбрый и самостоятельный парень лежит там, на берегу реки Волги. Шевельнется жалостная мысль: как-то теперь чувствуют себя родители, но вспомнишь, ради какой цели кинул отчий дом, и поймешь, что ничего уж с этим не поделаешь. И вдруг просыпаешься, как будто и не засыпал, и солнце зажгло

оранжевым огнем всю реку, сколько видно вправо и влево...

Понемногу мы начинали считать себя старыми речными волками. Но рыба надоедала, припасы в сумках таяли, и мы были вынуждены заниматься реквизициями, а это требовало больших усилий и подвергало опасности. Покупать мы уже ничего не могли, потому что от двадцати первоначальных рублей осталась всего трешка.

Беда наша была в том, что мы попали в межсезонье: в садах вишня уже отошла, а яблоки только-только наливались. Картошка на огородах ботвой удалась, а копнешь — там еще сплошной горох. Волей-неволей пришлось обратить внимание на домашнюю птицу. Так случилось, что поголовье кур в некоторых прибрежных деревнях и селах сократилось, но ненамного. Больше одной курицы в день съесть мы не могли, тем более что иногда удавалось приносить из курятника тепленькие яйца,

Хоть и говорится в народе про человека, у которого руки трясутся, что он будто кур воровал, но я с тех пор сильно сомневаюсь в точности этой поговорки. Во всяком случае, у нас с Эсбэ руки не тряслись.

Однако жизнь нас скоро покарала.

Двадцать седьмого июля, после трехнедельного плаванья, мы подошли к Казани и заночевали километрах в трех от города. Утром проснулись, искупались, поели. И только тут Эсбэ обратил внимание, что прямо против нас метрах в ста от берега баржа на якоре стоит — видно, она ночью пришла, когда мы спали. Носом по течению развернута, за кормой лодка на коротком буксире.

— Глянь, на нас в бинокль смотрят, — сказал Эсбэ.

И правда, какой-то дяденька в белой майке стоит на корме баржи и держит перед глазами бинокль. Пока мы обменивались соображениями, этот дядя откладывает бинокль, подтягивает лодку, прыгает в нее, отвязывается и плывет к нашему берегу.

— Давай! Быстро собираться! — говорит Эсбэ и кидает в нашу лодку сумки.

Но не успели мы ничего предпринять. Дядя в пять гребков уж тут как тут. Вдавил лодку носом в песок, перемахнул на землю и прямо к нам.

— Издалече будете? — спрашивает и глазки щурит нехорошо.

— Из Казани, — врёт Эсбэ.

— И лодочка из Казани будет? — издевается дядя.

— А откуда же еще...

— Так-так-так, — говорит дядя и берет в руку цепь, вдетую в кольцо на носу нашей лодки. — А случаем, не из-под Горького эта посудина?

Эсбэ отвернулся, будто не к нам речь, подобрал наши ботинки, сунул мне мои и дернул меня за рукав.

Мы дали такого стрекача — только ветер в ушах засвистел. А может, это дядя свистел, потому что я раз оглянулся и заметил, что он пальцы в рот сунул.

Сколько жить буду, никогда понять не смогу, как узнал этот дядя свою лодку. Это все равно что запомнить в лицо каждого из тысячи пойманных тобой лещей или судаков.

Но гадай не гадай, а мы потерпели катастрофу. Все осталось там, на берегу: поджиги и финки, карты и компас, соль, махорка и спички и даже мешочек с родной землей.

Дядя за нами не бежал, мы пошли шагом и обсудили положение. Судьба, до сих пор относившаяся к нам благосклонно, отвернулась от нас. Планы рушились. Удар был слишком жесток. Мы потеряли всякий боевой дух.

Эсбэ вздохнул.

— Вернемся и начнем все снсва. У нас теперь есть опыт.

У Эсбэ такая манера была: то говорит как бродяга, то как по книжке, хлестче взрослого интеллигента.

Не стоит распространяться, как добирались мы до Москвы. Ехали и на товарных поездах и на пассажирских, на подножках, на крышах и на буферах. Это было нетрудно, если учесть нашу речную закалку. Ровно через двое суток, утром двадцать девятого июля, мы сошли с пригородного поезда на Казанском вокзале в Москве. А на выходе с перрона нас остановил милиционер, пожилой дяденька с планшеткой на узком ремешке.

— Трохи подождите, хлопцы. — И отводит нас в сторонку.

Нам бояться нечего, домой едем. А он планшетку

надвое разбросал, посмотрел, как в книгу, поглядел на наши рожи, застегнул планшечку и говорит:

— От оно як... Ты — Анатолий Серегин, а ты — Игорь Шальнев.

Взял нас за шиворот и повел. В милиции при вокзале он доложил дежурному: беглецы нашлись. И мы только тогда сообразили, что нас давно разыскивают по фотографиям.

До вечера сидели в комнате под замком. Дали нам полбуханки черного, по куску рафинада и чаю в железных кружках.

Вечером приехала моя мать. Конечно, слезы, упрёки. Но она быстро успокоилась и говорит Эсбэ:

— Тебя я тоже беру. — И жалостно так на него посмотрела.

Эсбэ спросил, почему не приехал его отец, а она говорит:

— Понимаешь, так получилось... В общем, после расскажу...

Мама расписалась в книге, что получила нас в целости и сохранности, и нас отпустили. Домой ехали на последнем поезде. В вагоне мама объяснила Эсбэ, что его отца забрали ночью две недели назад, но дома все в порядке, сестренка Оля и няня Матрена здоровы, а свою молодую маму Эсбэ не увидит, потому что она куда-то уехала.

Эсбэ спросил: что значит «забрали»? За что забрали? Мама сказала: никто ничего толком не знает, но будто бы за растрату. Ей, видно, не хотелось об этом разговаривать, и она перевела на другое.

— Хорош у вас дружок, — говорит. — Заманил и бросил?

Я даже про отца Эсбэ забыл от таких слов. Объяснять, что если кто кого заманил, так скорее мы Брысь, а не он нас, не стоило, все равно бы она не поверила, но откуда ей известно, что Брысь в Горьком с нами расстался? Спрашиваю:

— А Брысь разве вернулся?

Она не поняла:

— Какой Брысь?

— Ну, Саша Балакин.

— Милиция вернула. С доставкой на дом.

Эсбэ молчал, а у меня в голове была полная карусель. Слишком много новостей для одного раза.

Теперь-то я понимаю, как сломалась тогда жизнь Эсбэ. Когда у него мама умерла, то была только трещина, а сейчас все полетело к черту. Ни отца, ни матери, сестренке два с половиной года. Кто кормить будет? Хорошо, хоть Матрена есть, но что она может?

На мне это тоже отразилось. Вероятно, я бессознательно начал догадываться, что все познается в сравнении. Когда бывало что-нибудь не так, не по мне, а хотелось сладенького, кто-то мне в ухо шептал: у тебя мама-папа есть, а у Эсбэ нету. Или так: у тебя ноги в валенках мерзнут, а Оля, сестренка Эсбэ, на улицу в мороз вообще не ходит — валенки купить не на что.

Но все это было как тучи на небе — придут, уйдут. Жизнь продолжалась. Как говорится, с учетом происшедшего.

Брысь оставался нашим героем. Мы были правы, когда там, в Горьком, не поверили в его способность бросить товарищей. Все объяснялось проще. Брысь отправился в аптеку за бинтом и йодом для Эсбэ, но ради экономии денег хотел получить их бесплатно. Как на грех, в аптеке оказался вместе с ним милиционер, в обычной гражданской одежде — тоже, наверное, пришел за медикаментами. Он заметил, что Брысь сильно озабочен насчет застекленного прилавка, забрал его, отвел в отделение, ну а дальше все ясно.

Дядя Брыся поставил ультиматум: или берись за ум, или возвращайся к родителям. Брысь с сентября пошел в школу, в восьмой класс. Мы с Эсбэ учились в седьмом.

Эсбэ по-прежнему делал клюшки на продажу. Брысь иногда добывал то крупу, то сахар, а однажды принес четыре кило сливочного масла. Все это он отдавал Эсбэ. Но разве втроем так проживешь? Еще же и одеваться-обуваться надо. Плохо, конечно, но приходилось ему брать краденое.

После матери у Эсбэ остались кое-какие украшения — сережки, кольца. Матрена в Москву ехать боялась, да и неграмотная она, даже деньги считала кое-как. Ну моя мама съездила, сдала в торгсин.

Уголь мы подбирали на станции, а с пилорамы носили горбыль и щепу.

Иногда я звал Эсбэ к нам пообедать или поужинать,

но он сначала соглашался, а потом сказал: «Я наемся, а Оля с Матреной?» И не стал ходить.

Понемногу все как будто налаживалось, Эсбэ начал веселее глядеть, но один раз произошла неприятность.

Там у нас на Красной, в доме номер четыре, жили недавно поселившиеся две семьи, которые дружили только между собой, а с другими знаться не желали. На две семьи — пятеро братцев, мордастые такие ребята, пухлые. Они с нами тоже не водились.

И вот раз в выходной день идем мы мимо этого дома, и самый старший из братцев, повыше нас ростом, кричит Эсбэ от своего крыльца:

— Эй ты, арестантов сын! Щепок-тряпок не надо?

Эсбэ кинулся на него, а они все пятеро там были. Я на подмогу. Завязалась драка, и нам пришлось плохо. Но тут появился Брысь.

Он их даже не бил, просто расшвырял. И говорит, когда Эсбэ объяснил ему, в чем дело:

— Вы, толстомордые! В следующий раз ноги оторву и галоши есть заставлю.

Больше они Эсбэ не трогали, но он после этого как-то сник.

А в сороковом году произошло новое несчастье. Брысь попался на месте преступления — его взяли вечером в промтоварном магазине. Был суд, и его судили как взрослого, он уж совершеннолетия достиг. Дали три года. Он исчез из нашей жизни. Но, выражаясь красиво, не из наших неокрепших душ.

В сорок первом году, в июне, когда мы выпускные экзамены сдавали, Эсбэ приняли на работу в городскую газету, корректором. Редактор раньше дружил с дядей Андреем. И к тому же Эсбэ был грамотный, сочинения писал без единой ошибки.

А я уехал из Электрограда в октябре, когда цех отца эвакуировали. Оля, между прочим, уже в первый класс пошла.

Рассвело. Полковник Серегин встал из-за столика, открыл окно. На улице было прохладно и тихо. Свежий воздух выдавил из номера сигаретный дым.

— И больше вы его не видели? — спросил Басков.

— Эсбэ? То есть Шальнева? Нет, не видал. — Серегин как будто смутился и снова обернулся к окну. —



Не ценим мы в молодые годы того, чего не вернешь... Я ведь на юрфаке в Москве учился. До Электрограда два часа езды. И не выбрался... Хотелось, очень хотелось, да все некогда... Одно оправдание — уже на втором курсе женат был. А счастливому не до прошлого...

Они договорились, что в десять часов утра отправятся в Электроград. Басков домой не поехал. Серегин дал ему одну из двух подушек, снял с одеяла пододеяльник, и Басков устроился на диване.

## Глава IV || КТО ПОСЛАЛ ТЕЛЕГРАММУ?

— Конечно, всякое бывает, но паспорт Балакина в кармане у Шальнева — по-моему, лучшее доказательство, что не Балакин покушался на убийство, это я еще в первый день понял, — сказал Басков.

Серегин приподнял опущенное до упора стекло. Машина сделала поворот, и в окно была плотная ревущая струя ветра.

— В первый день и окончательно?

— Нет, правда, Анатолий Иванович, это же элементарно. Не мог такой матерый на такую липовую комбинацию рассчитывать. Он же возможности дактилоскопии знает... А теперь, после всего, что вы об Эсбэ и Брысе рассказали, я и подавно не верю...

— Ну, Алеша, время даже русла рек меняет.

— Не мне вас учить. Характер, думаю, изменить труднее.

— Готов согласиться, но Балакин так или иначе в этом замешан, паспорт-то его. Не он бил — ладно. Идея не от него — справедливо. Но каким образом и зачем паспорт Балакина попал в карман к Шальневу? Какая связь между Балакиным, ограбившим, предположим, совхозную кассу, и Шальневым? Кому и зачем понадобилось убивать Шальнева? Где мотивы?

— Трудно сказать... И подозрителен, конечно, этот дружок Балакина — Чистый.

— А он кто?

— Тоже не из детского сада. Руководил бандой. Грабил квартиры. Он шофером такси в Москве

работал, сколотил группу, сам наводил и сбывал краденое...

— Вот видите, он тоже с возможностями дактилоскопии знаком, комбинацию с паспортом ему приписывать не более уместно, чем Балакину.

— И так правильно.

— Не думаете, что это случайность?

— Какой-нибудь местный импровизатор сработал? — переспросил Басков. — Нет, Анатолий Иванович, это было бы слишком жирно для того, кто подбросил Шальневу паспорт. Да и зачем лицо уродовать? Одного затылка хватало.

Машина плавно повернула, ветер перестал гудеть, и Серегин приспустил стекло.

— Желаю вам, Алеша, поскорее найти того, кто послал телеграмму.

— Юру? Если бы его найти, — с усмешкой сказал Басков и, достав сигарету и спички, закурил. — Скоро ли прибудем? — спросил Басков шофера.

— Вот сейчас правый поворот, и на месте.

— Хорошо бы застать, — сказал Серегин. — Учителя все в отпуске.

— У вас рука легкая, Анатолий Иванович, — улыбнулся Басков.

— Дай бог, если так.

Въехали на улицу Электрограда, и шофер спросил у прохожего, как попасть на проспект Радио.

Дом № 11 оказался новеньким.

Серегин и Басков пошли во двор, куда выходили подъезды. На скамье под молодой липой, дававшей очень прозрачную тень, сидели три старушки в цветастых платках. Сверху из открытого окна гремела музыка. Время близилось к полудню. Жаркое марево висело в воздухе.

Серегин и Басков вошли во второй подъезд, поднялись на третий этаж и увидели на обитой черным дерматином двери квартиры № 32 приколотую кнопкой к косяку квадратную бумажку. На ней каллиграфически было выведено шариковой ручкой синим: «Игорь! Буду в 2 часа. Ключи в квартире напротив. О.»

— Шальнева Игорь зовут? — словно не веря себе, спросил Басков.

— Андреевич.

— Значит, ждут его здесь?

— Нам-то ждать недолго. — Серегин посмотрел на часы. — Сто двадцать минут.

Они спустились, пошли к машине.

— Заедем в горотдел? — спросил Басков.

— Засвидетельствовать почтение не мешает.

— Не знаю, как у вас, а у меня всю дрему как рукой сняло, — сказал Басков в машине.

— Мы с вами спали за ночь три часа. Но тут взбодришься, это верно.

В горотделе милиции они пробыли полчаса. Поговорили с начальником, Басков поблагодарил инспектора, который прислал сведения о Шальневе и его сестре, и откланялись. Заехали в кафе, выпили теплой воды «Саяны», после чего захотелось прополоскать горло водою из-под крана.

Официантка научила, как проехать на улицу Красную. Но ничего из этой экскурсии в детство у Серегина не получилось. По той причине, что он улицу просто не узнал. Никаких деревянных, рубленых из бревен домов давно не было, сараев тоже. Стояли в ряд одинаковые девятиэтажные панельные здания. Пылil под автомобилями выщербленный асфальт. Рядом пыхтел завод. Временами что-то ухало, и земля вздрагивала. Наверное, работал главный молот.

Серегин попытался отыскать конный двор горкомхоза, где когда-то они с Игорем Шальневым добывали дуги для производства клюшек. Шофер Юра, следуя указаниям, провел машину в конец улицы, свернул вправо, но и конного двора тоже не обнаружили.

— Пустое дело, — со вздохом сказал Серегин. — Позарастили стежки-дорожки...

Часы показывали половину второго.

— Давай потихонечку на улицу Радио, — сказал Басков шоферу Юре.

Остановившись напротив дома № 11, они подождали до двух, и никто за это время к дому со стороны улицы не подошел.

Ровно в два Басков и Серегин поднялись на третий этаж. Бумажки на двери квартиры № 32 не было.

Басков позвонил.

Дверь открыла высокая полная женщина лет сорока, с очень свежим цветом лица, тронутого загаром. Пепельные волосы острижены коротко. Чуть вздернутый нос, серые с голубым проблеском глаза. Старень-

кое, в мелкий красный горошек ситцевое платье с коротким рукавом сидело в обтяжку. Она поправила упавшую на лоб прядь, и Басков обратил внимание, что пальцы у нее в ссадинах, а под ногтями как будто земля. Маникюра и следов нет.

— Здравствуйте, — сказал Басков.

— Добрый день, Ольга Андреевна, — вслед за ним сказал Серегин.

Таких гостей она явно не ожидала и была удивлена.

— Здравствуйте, — грудным контральтовым голосом ответила Ольга Андреевна. — Вы ко мне? — Она немного растерялась, настороженность мелькнула в глазах, но тут же на лице появилась робкая улыбка. Отступив и давая им дорогу, она пригласила: — Прошу, входите... Извините, встречаю в таком виде... Я только-только с садового участка.

В квартире пахло земляникой и укропом.

Прошли в комнату.

— Надо бы спросить, кто такие, — сказал Басков как можно более мягко и протянул Ольге Андреевне раскрытое удостоверение. — Мы из Москвы, из МУРа. Надо поговорить немножко.

Она не стала смотреть удостоверение, она была испугана.

— Что случилось? С Игорем что-нибудь?

— Почему вы думаете, что с Игорем? — спросил Басков. — Вы имеете в виду брата?

Она в растерянности переводила взгляд то на одного, то на другого.

— Он должен был приехать еще в субботу, а сегодня среда...

— Случилось несчастье. Но он жив и будет жить... Сейчас в Москве, в больнице... Вы не беспокойтесь.

Ольга Андреевна предложила им стулья, стоявшие у круглого обеденного стола, сама опустилась на тахту.

— Но это что-то серьезное?

— Достаточно серьезно.

Чтобы снять напряжение, в разговор вступил Серегин.

— А я ведь вас еще вот какой знал. — Серегин показал рукой на метр от пола, и голос его звучал при этом так, словно он говорил с ребенком. — Не помните Серьгу, Игорева дружка?

Она как-то беспомощно пожала плечами: переход был для нее слишком резок и неожидан.

— Я в сорок первом в октябре отсюда уехал, вы тогда в первый класс пошли, — продолжал Серегин.

Ольга Андреевна нахмурила лоб, а потом ласково взглянула на него.

— Это ваша мама мне свою шубку переделала, кротовую? Вы в шестой квартире жили? На втором этаже?

— Точно.

— Ну как же, вспомнила... Только вот лицо ваше...

— Мудрено. Без малого сорок лет прошло.

— Мне Игорь про вас много рассказывал... Уже после войны...

— Я его тоже не забывал. — Серегин словно оправдывался.

Но это лирическое отступление не отвлекло Ольгу Андреевну от грозного смысла слов, произнесенных Басковым. Она обратилась к нему с молящими нотками в голосе:

— Вы расскажете об Игоре?

— Что можно. Но, кажется, мы больше услышим от вас. Нельзя ли водички?

— Есть клюквенный морс, сама варила, — сказала Ольга Андреевна.

— По рецепту Матрены? — спросил Серегин.

— Вы ее помните? — удивилась она.

— Да, конечно... Но вы принесите нам водички.

Она ушла на кухню.

— Такая пигалица была, — тихо сказал Серегин. — Славная женщина...

Ольга Андреевна вернулась с графином воды и стаканами, налила.

Серегин и Басков не спеша пили, а Ольга Андреевна смотрела на них в нетерпении. Наконец они поставили стаканы на стол, и она сказала Баскову:

— Если можно, ради бога, что с Игорем?

Он рассказал ей о происшествии на бульваре имени генерала Карбышева, не утаив ничего, кроме истории с паспортом. И про телеграмму умолчал.

Ольга Андреевна встала, взяла из шифоньера носовой платок и отошла к окну, задернутому белым тюлем.

— За что? — тихо сказала она, стараясь побороть слезы. — Мало он в жизни натерпелся?

Басков и Серегин молчали. Чем они могли ей помочь?

Эта была та минута, из-за которых оба они порою ругали и кляли свою должность и профессию. Чего хуже — приносить в дом к хорошим людям страшные вести.

— Ольга Андреевна, прежде всего нам нужен адрес вашего брата.

Она опять пожала плечами.

— Он живет в Ленинграде, на Суворовском проспекте.

— Давно?

— Ну, если точно, с пятьдесят седьмого.

— А почему именно там?

Она немножко не понимала, отчего нужно знать такие давние подробности. При чем здесь это, если с Игорем случилось что-то серьезное? Она ответила скучным голосом:

— Понимаете, он в сорок втором призвался на флот, на Балтийский; всю войну прослужил в Ленинграде, там у него много друзей... Туда и поехал...

— А почему? Здесь было плохо?

Ольге Андреевне этот вопрос не понравился. Верно, ей было неприятно отвечать на него.

— Если хотите — да. Ему здесь было плохо.

Серегин, пока Басков задавал вопросы, смотрел на него с еле уловимым сожалением, и Басков наконец заметил это сожаление — соединил его с отчужденным тоном Ольги Андреевны и подавил в себе несколько эгоистический подъем, который испытывает сыщик, попавший на верную дорогу. Он понял, что сейчас не время вдаваться в психологические тонкости еще неясных ему взаимоотношений действующих лиц, — прежде надо определить, если допустима такая терминология, точное их взаиморасположение в пространстве и во времени.

— Вы меня извините, Ольга Андреевна, — сказал Басков, — наверно, мои вопросы кажутся вам бестактными... бесчеловечными, что ли... Но если каждый раз я буду делать реверансы, мы далеко не продвинемся.

Она, кажется, поняла наконец, что это не расспросы досужих любопытствующих, а рабочий разговор, почти допрос, и ей стало легче отвечать.

— И вы меня извините... Неожиданно очень... Вы хотите знать, почему Игорь отсюда уехал?

— Вкратце.

— Вкратце не расскажешь. В общем, у него тут была семья... Развелся... А встречать каждый день на улице любимого человека тяжело, правда? То есть с которым развелся...

— Скажите, Ольга Андреевна, не было ли у Игоря Андреевича друга по имени Юра?

Она как-то сочувственно посмотрела на него, впервые за последние пять минут подняв низко склоненную голову, и перевела взгляд на Серегина:

— Ленинградских его знакомых я по именам не помню... Игорь, правда, всегда много о них рассказывал... Но у него есть сын Юра.

Басков, как он сам выражался в подобных случаях, нажал на тормоз: еще один неожиданный поворот.

— Юра в пятьдесят седьмом родился? — спросил он, стараясь не выдавать истинных размеров своего интереса.

— В пятьдесят пятом.

— И где же он теперь?

— В Москве, с бабушкой, где ж ему еще быть.

Это «с бабушкой» было произнесено так, что даже человек, самый глухой по части людской психологии, услышал бы отзвук каких-то больных столкновений. Но Басков уже решил, что не будет пока вникать в тонкости сложных душевных узоров, а пойдет по грубой канве фактов и событий. Поэтому он спросил:

— Адрес Юры вам известен?

— Нет, я с ними не общаюсь. Игорь, конечно, знает.

Вставил слово Серегин:

— Фамилия у него отцова?

Ольга Андреевна печально улыбнулась.

— Что вы! Они фамилию Шальневых слышать не могут.

— Это кто — они? — спросил Басков.

— Бабушка, его тетя.

— А их как фамилия?

— Мучниковы.

— Разрешите, я запишу.

Басков записал в блокнот рядом с ленинградским адресом Шальнева: Мучников Юрий Игоревич, 1955 года рождения. И, посмотрев на Серегина, как бы ища его одобрения, задал новый вопрос, в той же своей манере — как бы не придавая ему особого значения:

— Ольга Андреевна, а фамилия Балакин вам ничего не говорит?

Ольга Андреевна, сидевшая до этого, облокотясь о стол, и чертившая ногтем на скатерти какие-то невидимые чертежи, выпрямилась и застыла. Она смотрела поверх плеча Баскова в задернутое тюлем окно и молчала.

Серегин, как и Басков, не мог угадать, что означает это молчание и что за ним последует, поэтому счел необходимым помочь Ольге Андреевне наводящим вопросом:

— Может, помните — был такой парень, постарше нас с Игорем, звали его Брысь? — И тут же сам высказал сомнение: — Да нет, вряд ли, он в сороковом году отсюда уехал, вам всего пять лет было.

Сидевшая напряженно, словно в ожидании удара, Ольга Андреевна вдруг закрыла лицо руками и, кажется, готова была разрыдаться.

Серегин подошел к ней, положил руку на судорожно вздрагивающее круглое плечо.

— Что вы, голубушка? Успокойтесь.

— Простите. — Она встала, ушла в другую комнату.

Серегин и Басков глядели друг на друга, слушали, как в соседней комнате хозяйка открывает и закрывает ящики то ли стола, то ли шкафа, и ничего не понимали.

Ольга Андреевна вернулась с фотографией в руке. Положив ее на стол, сказала еле слышно:

— Если вас интересует именно этот Балакин... именно он...

Серегин взял карточку. Это был профессионально выполненный групповой портрет размером 13 × 18, на плотной сатинированной бумаге, отлично напечатанный, так что изображение нисколько не выцвело. Красивая девушка держала под руки двух молодых мужчин, один из которых, по ее правую руку, зажал в углу рта дымящуюся папиросу. Он смотрел несколько исподлобья, из-под густых бровей, пристально и спокойно. А второй мужчина, очень похожий лицом на девушку, улыбался, как и она. Девушка была в легком платье, мужчины — в рубашках с коротким рукавом. Они стояли среди безразличия света и теней играли на заднем размытом плане.



— Это вы с Игорем и Александром Балакиным, — узнал Серегин, и в голосе его звучало неподдельное волнение. — Когда сделано?

— Летом пятьдесят седьмого, — вяло, безразлично ответила Ольга Андреевна.

— Кто так хорошо снял?

— Щелкала Тоня, Игоря жена... Игорь навел, аппарат ей дал, а сам встал с нами...

Серегин передал карточку Баскову, Ольга Андреевна продолжала стоять, и Серегин сказал:

— Да вы садитесь, а то как-то неудобно.

Она села. Басков бережно подвинул к ней карточку, спросил:

— Ольга Андреевна, а вы знаете, чем занимается Балакин?

Опять его вопрос явно пришелся ей не по душе, но, как ни странно, на сей раз это помогло Ольге Андреевне, она сделалась спокойной. Погладив карточку пальцами, сказала беспечно:

— Вот в этот момент ничего я не знала, и было замечательно. А потом меня просветили...

— И давно вы в последний раз видели Балакина?

И опять она взглянула на Баскова с сочувствием.

— Все тогда же, в пятьдесят седьмом. — И добавила, словно поддразнивая этих людей, неожиданно явившихся со своими бесчисленными вопросами и ворошащих далекое прошлое: — А у меня от него дочь. Институт кончает.

— Вы с ним не расписаны?

— Не успели.

— Почему?

— Помешали. Пришлось ему уехать.

— Кто помешал?

Она уже готова была вновь поддаться раздражению, но сдержалась — все это читалось на ее лице, как по книге.

— Господи, я ведь говорила: коротко не расскажешь, а расскажешь — вы ничего не разберете.

И снова Басков не соблазнился возможностью пойти по этой безусловно существенной для дела нитке — связи Ольги Шальневой с Балакиным. Если даже предположить, что она говорит неправду насчет того, когда видела его в последний раз, — в данный момент ему

важен сам факт связи, остальное можно оставить на потом.

— Брат часто у вас бывал? — спросил Басков.

— Раз в год обязательно.

— Он кем работает?

— Вообще-то у него инвалидность. Инвалид войны второй группы. В шестидесятом году оформил и корректором работал, нештатно, на дом брал.

— Не женился больше?

— Ну что вы! До сих пор Тоню любит.

— Но в остальном жизнь у него в порядке?

Ольга Андреевна замялась: еще один неловкий вопрос. Но, помолчав, ответила:

— Пить стал нехорошо.

— Что значит нехорошо?

— Ну, понимаете, последние годы, даже когда у нас гостил, каждый день допьяна.

— Не скандалист?

— Ну что вы! Наоборот — все ему друзья, все прекрасные люди.

— Последний вопрос, Ольга Андреевна, — сказал Басков. — Брат ваш никогда о Балакине не вспоминал?

— Ну, конечно, говорили, он же все-таки отец моему ребенку. Вы имеете в виду: не встречался ли Игорь с Сашей?

— Пожалуй, так будет точнее.

— Нет, это исключено. Игорь бы не утаил. — Она задумалась на секунду. — Но, знаете, был непонятный случай с письмом, у меня такое ощущение возникло — не без Саши тут... Мы тогда еще на Красной жили, он адрес-то знал.

— А что за письмо?

— По-моему, оно должно было сохраниться. Попробую поискать.

Она снова покинула их.

— Вот оно как бывает: он для нее по-прежнему Саша, — задумчиво сказал Серегин. — Повезло Брысю.

— Интересно, знает он, что у него дочь есть?

— А вы, Алеша, спросите, не стесняйтесь. Она уж успокоилась.

Басков перевел разговор на дело:

— Анатолий Иванович, она столько ниток дала, надо все это быстро раскрутить.

— Целый клубок, — согласился Серегин. — Какие же мысли? Что намерен предпринять?

Полковник впервые употребил обращение на «ты».

— Надо разыскать Юру, а потом срочно в Ленинград.

— А мне хочется с ней поговорить. Просто так, поболтать о прошлом. Я, пожалуй, останусь до вечера.

— Это и на пользу будет. Она о Балакине, наверное, много может рассказать.

— Насчет пользы посмотрим. Но как нам дальше координироваться?

— Нет проблемы, Анатолий Иванович. Мы, знаете, как сделаем? Я машину вам оставлю, Юра меня только до вокзала довезет, а там на электричке час с небольшим. А в Москву приедете — решим.

— Ну что ж, годится.

Ольга Андреевна вернулась.

— Вот нашла. — Она держала в руке конверт и словно колебалась, кому первому его протянуть. И, как и фотографию, отдала письмо Серегину. Баскова это нисколько не обидело: как-никак у этих двух людей было гораздо больше общего, чем у него с Ольгой Андреевной, да и не попал он с первых минут в нужный тон.

Прочитав письмо, Серегин передал его Баскову. Оно было коротким.

«Здравствуйте, уважаемый Игорь Андреевич! Пишет Вам неизвестный Вам человек. Адрес мне дал один человек, который Вас хорошо знал, а сейчас неизвестно где, и посоветовал обратиться к Вам. А просьба очень большая, если нетрудно. Я очень люблю журнал «Вокруг света», но здесь у нас его достать невозможно, не говоря о подписке. Большая просьба: если можете, подпишите меня на этот журнал на 1971 год. Деньги я вышлю. Буду очень благодарен. Мой адрес... Корольков Владимир Николаевич».

Судя по адресу, письмо писано в колонии.

— И что же вы ответили? — спросил Басков.

— Видите, какое дело... Игорь тогда уже в Ленинграде жил. Я написала этому Королькову, дала адрес Игоря.

— А к нему Корольков обращался?

— Нет. Но подписку Игорь устроил.

— Можно, я возьму это письмо?

— Пожалуйста.

Басков положил письмо в блокнот.

— Ну, извините, Ольга Андреевна, за беспокойство, мне пора.

— Ничего, ничего, вы же по делу. Но об Игоре так ничего и не рассказали. Или нельзя?

Серегин кашлянул в кулак и сказал:

— Ольга Андреевна, я с вашего разрешения еще посижу. И об Игоре поговорим.

Она обрадовалась.

— Очень вам буду благодарна.

Серегин едва заметно улыбнулся: это было почти дословно из письма неведомого почитателя журнала «Вокруг света» по фамилии Корольков.

## Глава V || КАК РАЗРУШАЮТСЯ СЕМЬИ

Когда Басков ушел, Ольга Андреевна предложила Серегину отведать клубники, которую привезла со своего садового участка. Но прежде надо было ее почистить, и они перешли в кухню.

Анатолий Иванович помогал хозяйке, они разговаривали, пытаясь вспомнить моменты особо замечательные, но это плохо получалось, потому что из довоенного Ольга Андреевна мало что могла восстановить в памяти, да и вообще вряд ли много найдется общих предметов для воспоминаний о детстве у двух людей, если один старше другого на одиннадцать лет.

— Как же вы войну-то прожили? — спросил Серегин.

Она помолчала, улыбнулась рассеянно.

— Сама не знаю... С топливом плохо было, мы с Матреной на станции угольную крошку собирали, в лес за хворостом ходили... Голодно жили, конечно... Матрена стирать по домам пробовала, иногда пяток картошек принесет, пшена стакан, но больше все сами стирали, а Матрене работу так уж давали, из жалости... Меня соседи иной раз пообедать пригласят... Игорь-то ничем помочь не мог. Он сначала курсантом на флоте был, в Ленинграде, в отряде подводного плавания. Потом их в

пехоту перевели, он сержантом стал, иной раз пришлет пятьдесят или тридцать рублей, и то не из жалованья, а как-то там разживется. Он писал, они ведь все на займ подписывались, на десятимесячный оклад, а облигации — в Фонд обороны. Все так делали, и он ведь не мог сказать, что у него дома сестра и нянька совсем без денег живут. Он же настоящий комсомолец был, правда?

Серегин вздохнул.

— Он замечательный был парень. А в комсомол мы вступали в сорок первом.

— Знаете, когда Игоря второй раз ранило, он в Ленинграде в госпитале лежал, на Гороховой улице, это в сорок четвертом году было, блокаду уже сняли... Так он нам посылочки присылал, сэкономил из своего пайка... Хлеб сушеный, не сухари казенные, а сам сушил. Табак на продажу, сахар и даже витамин цэ — маленькие такие пузырьчики, а в них черносмородиновый экстракт — это ему против цинги давали...

Они услышали, как возле дома на улице затормозила машина. Серегин выглянул в раскрытое настежь окно.

— Юра вернулся, шофер наш.

— Надо бы его в дом позвать, жарко на улице.

— И то верно.

Серегин пошел за Юрой, а Ольга Андреевна принялась мыть в дуршлаге очищенную клубнику, которой было почти целое ведро.

Когда Серегин привел Юру, Ольга Андреевна поставила перед ним тарелку крупных красных ягод.

— Не стесняйся, — посоветовал Серегин.

Он вернулся следом за Ольгой Андреевной на кухню, и она спросила:

— Анатолий Иванович, а вы можете об Игоре подробности рассказать?

Серегин испытывал некоторую неловкость: что, собственно, мог он ей поведать, если сам не знал ничего, кроме виденного собственными глазами? Она поняла, что он в затруднительном положении, сказала:

— Вы хоть объясните, как его состояние. Не опасно это?

— Мой молодой товарищ все, собственно, вам рассказал. Что добавить? Я Игоря видел. Сейчас ему очень плохо, но он этого не чувствует. Полная потеря сознания.

- Его ударили?
- В затылок и в лицо.
- Изуродовали?
- Есть немного.
- А повидать нельзя?

— В принципе можно. Но я бы вам не советовал пока, Ольга Андреевна. Вот в себя придет, заговорит... А так что же — только расстраиваться.

У нее опять слезы навернулись на глаза, но она превозмогла себя.

Серегин посмотрел на нее несколько искоса и, словно нащупывая почву, сказал с мягкой усмешкой, стараясь не выдать собственного отношения к тому, о чем шла речь:

— Мой младший товарищ... как бы это выразиться... весьма озадачился.

— Чем же?

— Знал Саша Балакин, что у него дочь растет, или не знал?

Если Серегин и лукавил с Ольгой Андреевной, то совсем слегка и не в своекорыстных целях. Хотя поднятый им вопрос имел существенное значение для дознания, но он его задал больше для того, чтобы сделать плавный переход к другим вопросам, которые интересовали его просто по-человечески, а не как одного из участников расследования.

Ольга Андреевна обеими руками пригладила свои густые волосы.

— Нет, Анатолий Иванович, не знал. Я в тот момент, как он исчез, и сама не знала. А потом не появлялся, не писал...

Ей было явно невесело возвращаться в пятьдесят седьмой год.

— Ольга Андреевна, голубушка, расскажите, как Игорь с войны пришел, как вы тут жили... Очень мне интересно... И, поверьте, это интерес не постороннего человека.

— Понимаю.

— Да нет, — горячо возразил Серегин. — Вы многого не сможете понять. Я, в сущности, свинья. Жил в Москве пять лет после войны, учился... И не нашел пяти-шести часов сюда съездить, юность вспомнить. Как ни говорите, а Игорь-то был моим единственным настоящим другом.

— Ну, хорошо, я расскажу. Только вы про клубнику не забываете.

Она поставила перед ним миску с ягодами и розетку с сахарным песком, себе положила на тарелку пригоршни две, полила клубнику сливками из бумажного пакета. И вот что услышал Серегин.

— Игорь в сорок пятом демобилизовался по ранениям. Приехал в декабре. Я тогда в пятом классе училась. Сажу за столом у окна, домашние готовлю. Вдруг снежком в стекло — стук. Я думала, Генка, сосед, балуется. Окна у нас не замерзали, рамы двойные, между рамами Матрена вату клала. Смотрю, красноармейская шапка перед окном на прутике покачивается... А Игорь не писал точно, когда придет, сглазить боялся... Но я тут же догадалась, что это он. Побежала дверь открыть, а сама уже плачу, и Матрена, глядя на меня, тоже в слезы... Я Игоря даже не узнала, он мне меньше ростом казался, а тут такой большой, в шершавой шинели, табаком пахнет...

Но это лирика. Приготовила Матрена картошку с салом, которое Игорь привез, напились мы малинового чаю, и рассказал он нам про все, как было в Ленинграде, про войну, как ранили его, где побывал, что видел. Из трофеев он привез фотоаппарат-«лейку» и готовальню для черчения — просто чудо. А нам с Матреной целый рулон байки — знаете, которая на зимние портянки шла. Мягкая такая, теплая, цветом как сливочное масло. Это ему знакомый старшина дал, в полку, где Игорь последнее время служил. Мы с Матреной сами сшили себе прекрасные кофты и юбки... Ну не очень, конечно, прекрасные, мы же не портнихи, но, во всяком случае, с нашей одежкой не сравнишь — все заплата на заплате было, а в школу я ходила в старенькой Матрениной овчинной душегрейке, еще дореволюционной. А теперь приоделись. Да еще вторую кофту Матрена покрасила в синий цвет, так что у меня была перемена.

Игорь на другой же день отправился в редакцию городской газеты. Там работали те же люди, что и в сорок первом году, и все его помнили. Место корректора было занято, но один литработник собирался уходить, и редактор предложил Игорю поработать пока нештатно. Игорь стал писать заметки под рубрикой «По городу», а иногда делал стихотворные подписи под клишированными карикатурами — их, по-моему, присылали откуда-

то из Москвы, централизованным порядком... Ну гонорар в газете был маленький, трудновато приходилось, но как-никак Игорю рабочие карточки выдали, так что мы с Матреной считали, живем как в раю... По сравнению с войной, конечно...

Игорь веселый был, не унывал. Жалел только, что мало флотского привез — один ремень с медной бляхой, на которой якорь выдавлен.

Рана у него первое время сильно болела, на бедре свищ был, вечно ему его чистили, но, в общем, это не мешало. Он даже начал зимой в хоккей играть за заводскую команду.

Году в сорок восьмом его приняли в штат, появился твердый оклад. Если не ошибаюсь, семьсот девяносто рублей в месяц, по-нынешнему семьдесят девять. Да плюс гонорар рублей пятьсот. Да еще к тому времени у них цинкография появилась, можно было делать клише со своих снимков, и Игорь занялся фотографией, стал делать портреты передовиков, и в редакции его работы очень нравились.

Вы не удивляйтесь, что я редакционные дела хорошо знаю. Мне тогда тринадцать лет исполнилось, в седьмой класс ходила, а Игорь о своей работе, хорошо там у него или плохо, все нам с Матреной рассказывал. Он вообще по натуре такой человек, не может в себе держать чувства свои... Вернее, был таким, но его научили, крепко научили...

В пятьдесят первом, летом, как раз я десятилетку окончила, приехала сюда Нина Матвеевна Мучникова, у нее была дочь Тоня, мне ровесница. Им квартиру дали в доме восемь по улице Горького, это тогда лучший дом считался в центре города. Нина Матвеевна заведовала горздравотделом.

Ну, знаете, городок наш был тогда не такой большой, как сейчас. Все всё друг про друга знают, а про новеньких стараются узнать. А эта Нина Матвеевна ничего о себе и не скрывала — наоборот, охотно рассказывала свою биографию. Уж на что Матрена наша на сплетни и пересуды не падкая, и то через неделю от соседок услыхала: вот, мол, явилась в городе выдающаяся гражданка, энергичная женщина, любого мужика за пояс заткнет. Одна, без мужа, и дочку вырастила, и институт окончила, и вон на какую должность назначена. А старшая ее сестра и того выше — занимает в



Москве очень большой пост. Тоже без мужа, но, правда, детей нет. До того она своим рабочим делом озабочена, что во всю жизнь некогда ей было о муже подумывать.

Но я немножко перескочила, надо по порядку.

Я когда аттестат получила, у нас с Игорем был серьезный разговор. Он хотел, чтобы я поступала в институт. Но это получалось несправедливо. Он ведь перед войной тоже десятилетку окончил, ему высшее образование тоже необходимо, еще больше, чем мне. Если бы не мы с Матреной, он бы давно его и получил, а тут, чтобы нас кормить, он об институте и не заговаривал. На вечерний у него бы ни сил, ни времени не хватило. Все-таки газета, занят он и днем и вечером, а иногда и ночью.

Ну я поставила вопрос так: иду работать, и оба мы поступаем на вечерний факультет, ему для этого надо только ограничить немного свои обязанности в редакции — ну хотя бы отказаться от фоторепортерской работы.

Игорь ни в какую. Ты должна учиться, говорит, а я ждал десять лет и еще подожду. Вот получишь диплом, тогда и я возьмусь — и никак его с этого не собьешь.

Поступила я в Московский педагогический имени Ленина, что на Малой Пироговке. Как говорится, по призванию.

Тогда в Москву ходили не электрички, а поезд обычный, с паровозом, два часа езды. Но это, с одной стороны, даже хорошо было — два часа туда, два обратно — удобно для студента, можно много проштудировать за дорогу.

В поезде и познакомилась я с Тоней Мучниковой, дочерью Нины Матвеевны. Она училась тоже в педагогическом, но в другом — иностранных языков.

Постепенно мы сдружились. Тоня познакомила меня с матерью, и честно скажу, не понравилась она мне. Я так определенно говорю вовсе не под влиянием последующих событий, она мне с самого первого раза показалась малосимпатичной. Она, например, не умела говорить тихо. Всегда по-командирски, словно солдат строем ведет. Тоня при ней как-то стушевывалась, хотя была девушкой неробкой.

На меня Нина Матвеевна весьма неодобрительно смотрела. Правда, кофточку и юбку из портяночной бай-

ки я давно не носила, Игорь мне кое-что получше купил, но одета я была сравнительно с Тоней мало сказать бедновато. Пальто из бобрика, юбка бумажной вязки, кофта ситцевая. Смерила меня взглядом Нина Матвеевна при первом знакомстве с ног до головы и процедила сквозь зубы: «Да-а...» А по всему видно, что сама-то в шелках и габардине ходить стала не так уж и давно... Ну да ладно...

Конечно, я Тоню к себе в гости тоже пригласила, и лучше бы уж и не приглашала. Понимаю, рано или поздно Игорь все равно бы ее увидел, познакомился, но до сих пор себя виню. А было это уже в пятьдесят втором...

Словом, Игорь сразу, с порога, как вошел в мою комнату, где мы сидели, так и влюбился в Тоню. Нет, он вида не показал, только шутил больше обыкновенного, но после мне признался, когда уж они разошлись, именно с первого взгляда понял, что никуда ему от Тони не деться.

Сейчас-то я представляю, какие сомнения он испытывал. Ему двадцать восемь, ей семнадцать. На шее у него Матрена и я — как же еще и жену прокормить? Положим, у Тони мать побольше зарабатывает, помощь обеспечена, да не таков Игорь, чтобы эту помощь принять. Но, если быть точной, о женитьбе Игорь тогда не помышлял. Он просто полюбил Тоню, а женитьбу отодвинул куда-то в будущее, лет на пять-шесть. Надо Тоню хотя бы институт окончить. А там, если она не встретит кого-нибудь более подходящего, он откроется и предложит руку. С разрешения и согласия матери, разумеется. Так он решил.

Мы с Тоней часто друг у друга стали бывать, и Игорь не упускал случая, когда она ко мне приходила. Острит, анекдоты рассказывает — на это он мастер. Если бы так же умел среди людей себя поставить и планы осуществлять — самый счастливый человек был бы. А на самом-то деле... Знаете, чтобы понятней было, я вам вот что расскажу... Дружил он с одним инженером заводским, холостяком. Такой славный, тихий человек. Игорь лет на пять моложе его был, а обращался с ним даже покровительственно. Он мне про него говорил: знаешь, Оля, этот Дмитрий такой вежливый и застенчивый, что вытирает ноги о коврик при дверях, когда выходит из квартиры на улицу. А между прочим, сам-

то он был точно такой же, только храбрился всегда, и его постоянно хорошее настроение, оптимизм, что ли, сбивали людей с толку. Никто ведь не слышал, как он вздыхал по ночам, лишь мы с Матреной...

Но дело не в этом.

На беду ли Игоря, на счастье ли, а Тоня и сама в него влюбилась. И произошло это на встрече Нового года, пятьдесят пятый встречали, мы с Тоней учились тогда уже на четвертом курсе. Вернее, призналась она ему под Новый год. Встречали мы у нас, Тоня пожелала быть вместе с нами, хотя мать тащила ее в Москву, к тетке, у которой собирались какие-то знаменитости.

Она осталась ночевать в комнате у Игоря. Тогда все и решилось.

Сейчас-то я понимаю, что ничего плохого в этом не было, раз они любили друг друга. Но в ту новогоднюю ночь места себе не находила, до утра не спала. «Как же так? — думаю. — Он на одиннадцать лет ее старше, как она может его полюбить?» Правда, Игорь женщинам нравился. Знаете, все женщины, даже самые молодые и неопытные, безошибочно чувствуют мужскую доброту...

Утром позавтракали мы вдвоем, а потом Игорь мне говорит: «Мы с Тоней поженимся, но не сейчас, а летом будущего года. Надо Тоне институт кончить. Мы тебя просим — никому ничего, ладно?» Но, как часто бывало, и этот план у Игоря провалился. Тоня забеременела, и месяца через три мать ее это обнаружила. Я представила себе, какой скандал выдержала Тоня, и даже нехорошо сделалось. И вот однажды вечером в начале апреля Нина Матвеевна является к нам.

У нее была особая манера входить в незнакомый дом. Войдет, знаете, твердым шагом, станет посреди комнаты и оглядывает стены кругом так, будто ни людей, ни даже мебели здесь нет, будто это пустая комната в новом доме, а ключ и ордер на квартиру у нее в кармане.

Мы сидели в комнате Игоря, ужинали. Ну она все-таки увидела нас, говорит Игорю:

— Нам нужно побеседовать с глазу на глаз.

Что людей от еды отрывает — это для нее пустяки, мелочь по сравнению с историей и с задачами, которые она у себя в горздраве решает.

Ладно, мы с Матреной взяли свои тарелки, перешли на кухню.

Едим и прислушиваемся. Дом деревянный, дверь фанерная, а мамочка Тони, я уж объясняла, тихо разговаривать не умела. Так что содержание беседы стало мне известно, хотя Игорь отвечал еле слышно, его ответов было не разобрать. Но ведь и по одной половине диалога почти все можно понять, по вопросам. Тем более общая ситуация мне знакома.

— Я все знаю, уважаемый Игорь Андреевич, — сказала она. — Вы заморочили моей дочери голову. Как вы объясните свое поведение?

В ответ Игорь пробубнил что-то неразборчивое, но я могла себе вообразить, что именно он сказал.

Она деланно захохотала, как плохая актриса на сцене:

— Ха-ха-ха! Любовь до гроба! Связался черт с младенцем. Знаю я вас!

Тут единственный раз Игорь повысил голос, и его слова можно было отчетливо разобрать. Для него это был уже не обычный разговор, а крик:

— Мы женимся!

— Подлец, — со злобой сказал она. — Чем такого зятя иметь, лучше дочь удавить — вот как по-нашему делали. Да ничего не попишешь, окрутил девчонку.

Игорь — бу-бу-бу. А она совсем из себя вышла и уже на «ты»:

— Голодранец! Подумаешь — в газете работает. Чем семью кормить станешь на свои полторы тысячи или сколько там?

Вроде бы с образованием женщина, а вот не выдержала, вся позолота слетела, нутро прорвалось, и кричала она как на базаре. А Игорь повинно мямлил или вовсе молчал.

Закончила она в том же стиле:

— Жалко, беспартийный ты, я б тебе показала, не смотря, что будущий зять.

И удалилась гордо. А Игорь попросил Матрену капать ему валерьянки — у нее всегда была, сама корешки настаивала.

Поженились Тоня с Игорем буквально недели через две, еще в апреле. Теща все быстро организовала. Игорь с Тоней только рады были. Правда, Тоня со мной поделилась — тень какая-то у нее на душе лежала, что

все это сладилось так скоро, хоть и заботами матери, но наперекор ее воле и желанию. Они договорились, что будут жить у нас, в Игоревой комнате, но с квартиры матери съехать — это для Тони вовсе не значило, что она из-под маминой власти ушла. Власть-то оставалась...

Я вот теперь иногда сижу, думаю и прихожу к мысли, что все несчастья, которые потом случились, все они оттого произошли, что и мать Тони, и тетка ее суровая сами никогда настоящей семьи не имели. Я, конечно, по-бабьи тут рассуждаю, но, по-моему, это правда: они просто завидовали в душе Тоне.

Стала Тоня у нас жить, и все у них с Игорем было хорошо. Денег Нина Матвеевна дочери не давала, только на учебники. Игорь и сам запретил у тещи брать. Но в октябре родился Юра, и тут нам пришлось туговато. Приданое-то и мы приготовили, и теща раскошелась, но Тоня после тяжелых родов нуждалась в усиленном питании. Игорь, конечно, старался, даже корректуру начал брать в московских издательствах, да только все это было нерегулярно.

Нина Матвеевна захаживала иногда. Придет, поглядит на наше житье-бытье, поморщится, скажет: «Не могут ребенку даже кровать купить», — и уйдет до следующего раза. А Юра у нас действительно первые месяцы в кошелке спал — большая такая кошелка для белья, из ивового прута плетенная, ее еще из Рязани мама привезла, это мы от Матрены знали.

Тоня пятый курс пропустила, ректорат разрешил ей как роженице на год перенести. Перезимовали мы, но Игорю легче не стало. Тоня все время болеет, то ангина, то бронхит. У меня диплом, помочь мало чем могу. Игорь почернел весь за полгода. Если бы не Матрена, не знаю, чем бы все это кончилось. Имею в виду — для Юры. Потому что он тоже начал болеть, простужаться, и Матрена его с рук не спускала. Выхаживала.

А для остальных все равно дело кончилось плохо.

Мне сначала повезло. Защитила дипломную работу, и меня распределили сюда, в Электроград, и попала я в родную школу, которую сама кончала. Лучше придумать трудно.

Ну с осени пятьдесят шестого нам, то есть Игорю, стало немного посвободнее с семейным бюджетом. Тоня возобновила учебу у себя в институте. Юрику на второй

годик пошло, и болеть он вроде перестал. Приободрись мы, так что визиты Нины Матвеевны нас уже не смущали, хотя она по-прежнему каждый раз пуд презрения с собой приносила. Неугомонная особа...

Пятьдесят седьмой год встречали с большими надеждами, как-то вдруг поверили в будущее. Игорь даже бутылку шампанского купил. Почва под ногами укреплялась, тем более Тоня тоже должна через полгода окончить институт.

Так вот, в июне пятьдесят седьмого — я тогда первые четыре класса вела, к июню уже освобождалась на все лето, — как-то под вечер, Игорь еще из редакции не возвращался, сижу я у открытого окна в его комнате, портняжничаю — кофту свою переделываю. Тоня в Москве, в институте задержалась. Юра уже спит. Матрена тоже прилегла. Но еще совсем светло, часов восемь.

Вижу, по тротуару под нашими окнами ходит взад-вперед человек с серым кожаным чемоданом, из настоящей кожи. Костюм синий очень хорошо на нем сидит, фигура спортивная, может, немного грузноватая, лицо загорелое, волосы темные, коротко подстрижены. Ходит и на меня искоса поглядывает, глаза прищурены, глядит из-под бровей, а брови густые и черные. Явно ждет кого-то. Ну а раз под окнами у нас — значит, кого-то из нашего дома. Интересный мужчина, думаю, такого раз увидишь — не забудешь. Очень, судя по выражению лица, независимый человек, самостоятельный.

Я перестала голову поднимать, а сама угадать стараюсь, кто он такой. То ли известный спортсмен, а может, летчик. Выглядит лет на сорок, но чувствуется, что моложе, — по походке, что ли.

Так он больше часу ходил и папиросу изо рта не вынимал, одну от другой прикуривал. И вот вижу: Игорь из-за угла, с улицы, появился. Увидел этого мужчину с чемоданом, остановился и как закричит:

— Брысь!

Я думала, шутка какая-то, что он пугает кошку. А тот говорит тихо:

— Эсбэ, дорогой, жив-здоров?

Чемодан поставил на тротуар, они с Игорем обнялись, и, вижу, на глазах у брата моего слезы.

Потом входят в квартиру, Игорь говорит:

— Вот, Оля, это Саша Балакин, мой довоенный друг, бывший Брысь.

Гость поправляет:

— Почему же бывший? Бывшие — это гроши сплывшие. — И прибавляет, на меня внимательно глядя: — Я вас, Оля, знал, когда вам было лет пять. А вы меня не помните?

Я, конечно, не помнила.

— Не то слово — знал! — кричит Игорь. — Скажи лучше: кормил. Всех нас подкармливал.

А потом Игорь позвал из кухни Матрену и опять кричит так — ничего подобного с ним раньше не бывало:

— Помнишь, Матренушка, Сашу Балакина, Брыся?

Матрена тогда уж видеть плохо стала, шить и штопать совсем не могла, но Сашу узнала.

— Вон какой ладный вырос, — говорит. — Озоришь все аль бросил?

Он смеется.

— Бросил, Матрена. Вот деньжата завелись, надо им глазки протереть.

— Кабы не помереть, — Матрена говорит. Она любила в рифму отвечать.

— Ничего, мы культурно. Я культуры нахватался, как бобик блох.

У меня тогда мелькнуло в голове, что не идет Саше такое балагурство. Не то чтобы он развязно себя вел, но как-то раздваивалось впечатление. Будто в нем, как в футляре, сидел другой человек.

А он на меня посмотрел и вдруг говорит:

— Извините за бобика, Оля. Больше не буду.

Я была поражена: как он мог так точно и быстро прочитать мои мысли? И сразу такое ощущение, что нет от него у меня никаких тайн. Я уже много позже поняла, что он был очень наблюдательный и даже проницательный человек, а это дается только большим опытом жизни. А тогда, несмотря на мое высшее педагогическое образование, он представлялся мне колдуном или, может быть, гипнотизером. Тем более что благодаря сказкам Матрены я с детства брала в расчет колдунов при всяком удобном случае. Напрашивается сказать, что я была им околдована с первой встречи.

Игорь спрашивает:

— Ты к нам?

— Если можно, — отвечает Саша. — Думал, дядя приютит, да он, говорят, помер. В квартире там другая семья...

— Живи, Саша, друг! Места хватит!

Это Игорь немного преувеличивал: с местом как раз было сложно. В одной комнате — Тоня, Игорь и Юра, в другой — мы с Матреной. Значит, гостю жить, вернее, спать можно лишь на кухне. У нас там, правда, нормальная кровать стояла, довоенная, никелированная.

— Идем прогуляемся, — предложил Саша.

— Ужинать давай, — говорит Игорь, — ты же с дороги.

— Пойдем, прихватим чего-нибудь.

Вернулись они нагруженные — коньяк, вино, закуски разные. А тут и Тоня из Москвы приехала. И началось...

Отмечали приезд Саши целую неделю. Игорь в редакции отпросился, хотя ему новый редактор с неохотой отпуск за свой счет дал. Я должна была в пионерлагерь уехать, с горкомом комсомола уже договори-лась, да не поехала. Гуляли, веселились, в Москву два раза на такси катались, в лес ходили. Тогда, между прочим, и сфотографировались. Тоня тоже участвовала поначалу, но потом явилась Нина Матвеевна, увидела водку и коньяк на столе и устроила Тоне разгон. Это было по справедливости. У Тони экзамены шли. Мы-то с Тоней вообще не пили, так только, чуть пригубишь, чтобы ребят не обижать, но ей не объяснишь...

Платил за все, конечно, Саша, денег у него были полны карманы, и носил он их как-то небрежно, без бумажника.

Пока пили, он о себе ничего не рассказывал, больше нас расспрашивал. А потом Игорь на работу пошел, и гулянка поутихла. Только по вечерам они с Сашей выпивали немного за ужином или в пивную на рынок за-хаживали.

Днем Саша куда-то уходил или уезжал, но однажды остался. Я в то утро как раз собралась в горком — узнать, не отпала ли во мне нужда в пионерлагере, и если нет — собрать чемоданчик и отправиться с первой попутной машиной. Но Саша предложил пойти побродить в городском парке — ему, мол, хочется вспомнить молодые годы. Я и не подумала отказываться. Не могу



объяснить, как это все сложилось, но за неделю он сделался для меня главным человеком, а ведь он ничего специально ради этого не предпринимал, вел себя просто... Я была уже влюблена. Я сравнивала его со своими знакомыми ребятами, и сравнение было не в их пользу.

Когда мы гуляли в парке, попросила я Сашу рассказать о себе. И поведал он довольно грустную историю.

В сороковом году его за мелкую кражу арестовали, судили, и попал он в колонию — об этом я и от Игоря слыхала. Потом война, его послали в штрафную роту, был ранен. Так сказать, смыл кровью свое преступление, и судимость с него сняли. После госпиталя воевал уже в обычной части, был разведчиком. Один раз ходили в тыл к немцам за «языком», и ему не повезло. При отходе его ранило в голову, потерял сознание, и фашисты взяли его в плен. Увезли в Германию, гоняли из одного концлагеря в другой. Несколько раз пытался бежать, но неудачно. А в сорок пятом году, когда наши освободили его из плена, при проверке угораздило попасть на злого человека. Тот не разобрался как следует, заподозрил его в предательстве, и Сашу осудили. После освобождения мотался по всей стране.

Так он рассказывал, а я слушала и плакала. Спросить, откуда у него столько денег, мне и в голову не приходило, но он сам объяснил, что целый год работал на китобойном флоте, плавал в Антарктике и вот приехал к нам прямо из Одессы, целенький, даже по дороге ни рубля не потратил.

Потом говорит: «Махнем в Москву?» Я с удовольствием. Вышли на шоссе, Саша «проголосовал», и мы приземлились, как он выражался, в ресторане «Метрополь». Выпили вина немного, пообедали и обратно тоже на машине приехали. И в машине он шепнул, что полюбил меня и не знает, что теперь делать. Он на тринадцать лет старше, но самое главное — я сестра Игоря, Игорь же ему верный друг, а мне — и отец и мать. Надо у Игоря просить, чтобы разрешил нам пожениться, а у него язык не повернется — стыдно.

Саша даже не находил нужным у меня спросить, как я на это смотрю, да оно и понятно, если я сама ничего другого не придумала, как только сообщить ему, что Игорь старше своей жены Тони на одиннадцать лет.

Саша, разумеется, понял мое сообщение как согласие, и правильно понял.

В тот же день Саша говорил с Игорем. После Игорь мне сказал, что сначала удивился, никак не мог себе представить меня женой своего друга, которого знал столько лет. Но Саша привел ему как аргумент его собственную женитьбу на Тоне, и вопрос был решен.

По правилам, надо бы идти в загс и подать заявление, но оказалось, у Саши паспорт остался в Одессе, в пароходстве, а на руках было только удостоверение. По правде, я и удостоверения не видела, но ни на миг у меня не возникало никаких подозрений. В конце концов не в регистрации дело. Свидетельство о браке важная, конечно, вещь, только мы тогда рассуждали немножко не так, как сейчас. Важно, что люди любят друг друга и живут дружно, а бумажку оформить никогда не поздно...

Но не все так думают. Тоня по простоте душевной рассказала своей матери, Нине Матвеевне, о нашей скоропалительной женитьбе, и та возмутилась. Мы с Игорем смеялись, когда Тоня передавала нам в лицах разговор с матерью, а ничего смешного не было. Нина Матвеевна спросила, где же новобрачные собираются жить. Жить мы собирались в моей комнате, а Матрене приходилось перебраться на кухню. Тогда Нина Матвеевна еще больше возмутилась и сказала, что не допустит, чтобы ее дочь и внук обитали в такой квартире и в такой ненормальной атмосфере — она имела в виду, что Саша с Игорем часто выпивают, а дальше, мол, будет еще хуже. И вообще наша семейка, Шальневы, вполне оправдывает свою фамилию, и еще неизвестно, кто такой этот Саша Балакин. Лично у нее, Нины Матвеевны, он вызывает резко отрицательное отношение. Саша слушал все это с мрачным видом, только глаза блестели.

Свадьбу мы играли три дня и были втроем, не считая Матрены. Тоню вместе с Юрой теща забрала к себе домой. И, честно говоря, невеселая свадьба получилась. Пил один Игорь. Поцелует меня, потом Сашу, а потом начнет тещу ругать и плакать над своей неудалой судьбой. Пьяные слезы, чего говорить, но я его понимала.

Ну планы обсуждали, конечно. Саша собирался устроиться на работу во Владимире, в море ему надое-

ло. Я спросила, почему именно там, а не здесь. Он говорит, у него никакой подходящей специальности нет, чтобы на заводе работать, а во Владимире живет приятель, который его может устроить, пусть на самую маленькую зарплату, — денег у него лет на пять хватит, а там видно будет...

За эти три дня из дому выходили только Игорь и Матрена — он в магазин, она на базар.

На четвертый день Игорь с утра отправился на работу, а мы с Сашей решили погулять в парке.

И вот, едва от дома отошли, догоняют нас двое, молодые парни, в обыкновенных костюмах. Один мне говорит: «Извините», а второй показывает Саше свое удостоверение и требует предъявить документы. Саша прищурился на него, потом голову опустил и говорит мне: «Прости, Оля, мне надо с ними пройти. Иди домой», — и сует мне в руку комок бумажек, деньги. Но тот, с удостоверением, остановил его. Говорит: «А вот этого не надо. Положите обратно в карман».

Тут подъехала милицeйская машина, и Сашу увезли.

Истерики со мной, конечно, не было, но, как я в редакции у Игоря очутилась, не помню. Кажется, он не очень удивился, когда услышал, что произошло. Велел идти домой и сказал: постарается узнать, в чем дело. Может, это простое недоразумение. У него в городской милиции много знакомых было.

Пришла домой, поглядела на наш свадебный стол, и такая тоска меня взяла, хоть вой. А тут явился один из тех, что Сашу задержали, забрал его чемодан, спросил, не было ли у него еще каких вещей, извинился и пожелал доброго здоровья.

Еле дождалась я Игоря. А он сел на кровать и молчит. Спрашиваю, что ему удалось узнать, а он: «Тоня не приходила?» Я за свое. Тогда он говорит, а в глаза мне не смотрит: «Понимаешь, он мне рассказывал — год назад его из колонии освободили. Он не имеет права ближе чем за сто километров от Москвы жить. Вот и забрали». Я не сообразила возразить, что Саша у нас еще не прописывался, говорю другое: «Что же они, за сто километров его повезли?» Игорь объясняет, что за нарушение правил полагается наказание. «А как они узнали, что он у нас остановился?» — спрашиваю. И тут он проговорился: «Я думал, следили за ним. Ошибся.

Теща моя ненаглядная в милицию сообщила». Тогда уж до меня дошло, что не так все невинно, как Игорь мне представить старается. Наш город — семьдесят километров от Москвы. Что ж, Саша не имеет права на тридцать километров ближе к столице подъехать, обязательно должен находиться за сто? Ерунда какая-то. И почему Игорь думал, что за Сашей могли следить? Непонятно. Но Игорь ничего больше сказать мне не хотел. «Сам ничего не знаю. Но ты не расстраивайся, все будет хорошо».

Да уж, так хорошо — хуже не придумаешь. Но это еще были цветочки. Мои слезы — сладкая водичка по сравнению с тем, что Игорю пришлось перенести. Правда, он и сам во многом виноват — не надо было так себя распускать, поддаваться.

Ну ночь я почти совсем не спала, слышала, как он метался, как бутылкой о стакан звякал — свадебные остатки допивал, а там много оставалось.

Уснула часов в семь, но скоро проснулась — разбудил меня голос Нины Матвеевны. Не к месту, но вспомнила, как Игорь про нее один раз сказал: с ней надо при раскрытых окнах разговаривать или стекла крест-накрест бумажной лентой заклеивать, как в войну заклеивали, чтобы не полопались от ударной волны.

— Ха-ха-ха! — слышу за стеной знакомый голос. — Посмотри на свою рожу, красавец! Опух весь от пьянства.

Игорь молчит. А она продолжает:

— Вот что, друг. С Тоней вам не жить, и сына тебе воспитывать я не позволю. Так что давай по-мирному, без шума. Развод устроим быстро, это я на себя беру. А мы в Москву переезжаем. Давай-ка вещички соберем.

Я надела халат, иду к ним.

— В чем дело, Нина Матвеевна? Что здесь происходит?

Она в пустой чемодан платья Тонины кидала, разгибается и говорит:

— А тебе надо меня благодарить — от уголовника спасла, от рецидивиста.

Смотрю, Игорь сидит на стуле, голову руками обхватил и качается из стороны в сторону. Так мне его жалко стало!

— По какому праву вы нами командуете? — говорю ей.

— Молчи, тебя не спрашивают! — орет она на меня. — Притон завели? Не выйдет!

Закрыла чемодан, и ушла, и дверью так хлопнула, что со стола вилка упала...

Дальше все произошло в точности, как постановила Нина Матвеевна. У меня тогда не укладывалось в голове, что дружную в общем-то семью, мужа и жену, которые друг друга любят, может кто-то разлучить, разбить, хотя бы и такая особа, как Нина Матвеевна. Но, видно, чего-то я не понимала, да и сейчас не понимаю.

Положим, ко всему еще добавилось, что Игорю новый редактор вынес строгий выговор с предупреждением, запретил делать снимки. Но это же чепуха, при чем здесь семья? Да только я и не подозревала, что Тоня смотрела на все глазами матери, а собственного мнения уже не имела.

Мы с Игорем ничего раньше не слышали, а между прочим, Тоня-то прекрасно была осведомлена, что мать ее на повышение идет и должна переехать в Москву.

Ну а дальше все совсем печально.

От воспаления легких умерла в октябре пятьдесят седьмого года Матрена.

Игорь стал пить очень часто, и в редакции ему предложили подать заявление — по собственному желанию. Он уволился.

Я ждала ребенка. По расчетам, роды должны быть где-то в конце февраля — начале марта. А Игорь вдруг собрался в Ленинград. Жить и работать там.

Я плакала, но он успокоил: устроится, обживется, а как мне настанет срок рожать — обязательно приедет. Так оно и было.

— Дочку вашу как зовут? — спросил Серегин после долгой паузы.

— Люба.

— В институте, вы сказали, учится?

— Да, в текстильном, на четвертом курсе. Сейчас у них трудовой семестр, в Калининской области со стройотрядом работает.

— Она об отце не знает?

— Мы с Игорем решили — лучше сказать, что он китобоем был, утонул на промыслах.

— Не баловала вас жизнь.

Ольга Андреевна расправила плечи и улыбнулась.

— Ну что вы, Анатолий Иванович! Грех жаловаться.

— Счастливый характер... Ну а Игорь общался с сыном-то?

— Я же говорю: они даже от фамилии его отказались. И денег не брали, и к Юре запретили ездить... Издалека иногда видел... Приедет из Ленинграда ко мне в отпуск или так, потом в Москву чуть не каждый день. Ждет у дома, караулит за углом... Когда увидит, а когда не повезет...

— Да-а, дела...

...Она проводила его и шофера Юру до машины.

На прощанье Серегин сказал:

— Я скорей всего уеду на днях к себе в Сибирь, но теперь уж нам так надолго терять друг друга из виду не надо бы.

— Мне тоже так кажется, Анатолий Иванович.

Он сел в машину рядом с шофером, опустил стекло.

— Басков вам скажет, когда можно будет увидеть Игоря.

— Спасибо.

## Глава VI || ПОЕЗДКА || В ЛЕНИНГРАД

Чтобы время не пропадало зря, Басков по дороге от дома Ольги Андреевны Шальневой до железнодорожного вокзала заехал в горотдел милиции и позвонил Марату Шилову — велел узнать адрес Юрия Игоревича, Антонины Ивановны и Нины Матвеевны Мучниковых, а если есть телефон — то и номер телефона. Он почему-то твердо был уверен, что они живут вместе, хотя для такой уверенности не было никаких оснований, кроме тона Ольги Андреевны в тот момент, когда она говорила о Мучниковых. Вторым пунктом Басков продиктовал Марату связаться с Ленинградом и уточнить адрес Игоря Андреевича Шальнева, который, по предвари-

тельным данным, прописан в доме на Суворовском проспекте.

Так что, приехав на Петровку в пять часов пополудни, Басков освободился от невольного чувства подчиненности перед старшим, которое хотя и не очень-то тяготило его, но все-таки мешало и слегка раздражало, как раздражает человека надетый не по погоде лишний свитер или плащ.

Басков сел за стол, закурил и сочинил в уме первую свою деловую фразу, чтобы, как он выражался, не начинать разговор со здоровья.

Набрав номер, он после третьего гудка услышал бодрый, густой, среднестатистически приветливый женский голос:

— Вас слушают!

Басков знал по опыту, что такой безлично-приветливый голос тут же меняется в ту или иную сторону — в жесткую или мягкую, — как только его обладателю становится известно, кто на другом конце провода.

— Здравствуйте, — сказал Басков. — Это Нина Матвеевна?

— Да. С кем я говорю?

— Это майор милиции Басков. Беспокою вас по вопросу, касающемуся вашего бывшего зятя, Игоря Андреевича Шальнева. Но вы не волнуйтесь, никаких неприятностей для вас лично тут нет.

Рычаг переключения голосовых связей сработал автоматически.

— Я и не волнуюсь. Он что, не алименты ли от сына получать захотел? — с надменной жесткостью спросила Нина Матвеевна.

— Ну что вы! — сказал Басков и с удивлением отметил, что в точности, вплоть до интонации, повторил любимое восклицание Ольги Андреевны. И, кашлянув, тоже изменил тон: — Но дело действительно касается его сына. Мне нужно задать ему один вопрос, всего один.

На этот раз рычаг как будто скрипнул и перевелся в другую сторону.

— При чем здесь Юра? Он отца в глаза не видел, он за него не ответчик.

— Понимаю. Но мне надо увидеть вашего внука. Он в Москве?

— Да, в Москве.

— Вечером я могу застать его дома?

— Вы обязательно должны его видеть? А по телефону разве нельзя?

— Можно, конечно, но лучше... — Басков оборвал себя, подумал и сказал: — Впрочем, вы правы... Будьте любезны, дайте мне его рабочий телефон.

Голос Нины Матвеевны, не теряя своего привычного напора, сделался почти нежным:

— Прошу вас, не звоните на работу. Он там недавно... Его еще плохо знают... Он очень нервный... Должность ответственная... Это же внешнеторговая организация.

— Ну хорошо, — согласился Басков. — Когда он придет домой?

— Он на машине... у нас «Жигули»... — Нина Матвеевна заговорила быстрее и с прежней уверенностью: — Так что я позвоню, скажу, чтобы не задерживался.

Басков обратил внимание на то, что она произнесла «задерживался» вместо «задерживался», и в душе подивился, сколь крепко может сидеть в человеке какой-нибудь нелепый порок произношения, приобретенный черт знает когда и где, но в один момент снимающий с человека даже самым тщательным образом наведенный многими годами городской лоск. И ничего тут зазорного нет. Это как метка на лапе у окольцованной птицы — по выбитым там буквам и цифрам можно узнать, откуда прилетела...

— Значит, когда я могу застать? — спросил он.

— Я-то должна на фабрику ехать... Просят выступить перед работницами как ветерана Великой Отечественной. — Рычаг переключился на «возвышенно». — Я на пенсии... Персональный пенсионер... Но от жизни народа не отрываюсь, дорогой товарищ...

— Басков, — скучным голосом подсказал он.

— Да, товарищ Басков... Так мне, может, лучше отменить?

— Нет-нет, — испугался Басков. — У меня к вашему внуку всего один вопрос. Самый простой... И ответить на него может только он сам... Не беспокойтесь, все будет в порядке.

— Надеюсь... Так я сейчас с ним свяжусь.

— Благодарю. Я приеду в восемь. Будьте здоровы. — И Басков повесил трубку, не дожидаясь ответного пожелания.



Он попробовал покритиковать себя за крайне необъективное, неприязненное отношение к этой Нине Матвеевне, которую он совершенно не знал и никогда не видел. Но эта его попытка, подобно самокритике людей, выступающих на общих собраниях, была явно формальной и притворной. «А за что, собственно, я ее должен любить?» — спросил себя Басков и бросил это пустое притворство.

В восемь вечера он был на проспекте Жукова. Дверь ему открыл высокий молодой человек в сизо-голубом вельветовом костюме и малиновой рубаше с расстегнутым воротом. Поглядев в его серые холодноватые глаза, Басков подумал, что уже видел этого красавчика, и начал было гадать где, но тут же вспомнил фотокарточку, которую показывала Ольга Андреевна, — Юрий Мучников глазами был очень похож на Игоря Андреевича Шальнева.

Из-за правого плеча Юрия на Баскова с прищуром смотрела завитая и напудренная пожилая дама, одетая в черный костюм и белую кофту с кружевным воротником. На бортах ее жакета блестели медали и значки. Значит, Нина Матвеевна все-таки отменила встречу с фабричными работницами. Из-за левого плеча Юрия выглядывала другая женщина — копия Нины Матвеевны лицом, но моложе лет на двадцать. Басков догадался, что это мать Юрия.

Поздоровавшись, Басков сказал:

— Я на одну минуту.

— Нам можно присутствовать? — как бы только для того, чтобы соблюсти необходимые приличия и не ущемить права пришедшего, поинтересовалась Нина Матвеевна.

— Пожалуйста, — немедленно согласился Басков. — Никаких секретов нет.

— Прошу вас. — Наметанным глазом окинув и оценив одеяние гостя, Юрий Мучников плавным жестом показал на дверь комнаты, завешенную портьерой.

Басков хоть и не смотрел на него в этот момент, но маршрут его взгляда и выражение глаз угадал безошибочно — по тому, как было сделано приглашение, ясно, что костюм Баскова не произвел впечатления.

— Не надо, — отказался Басков. — Я тороплюсь. Скажите, Юрий Игоревич, вы не посылали в последнее время телеграмму в Ленинград?

— Совершенно четко отвечаю: не посылал, — стараясь быть приятным, но не умаляя собственного достоинства, отвечал Юрий. — Ни в Ленинград, ни в другой город Советского Союза, а также за рубеж я в последнее время не посылал.

— Кому телеграмму? — не выдержала Нина Матвеевна.

— Шальневу Игорю Андреевичу.

— Юра даже не знает его адреса! — повышая голос, сказала она.

— Кто это — Шальнев? — спросил Юра у бабушки.

— Вот видите! — воскликнула она, победно глядя на Баскова.

— Да, все ясно. — И, подумав, Басков продолжал: — Тогда еще дополнительный вопрос: двадцатого июля, в пятницу вечером вам никто не звонил? Часов в десять-одиннадцать...

Юрий наморщил свой идеально гладкий, красиво вылепленный лоб и, помедлив, вспомнил:

— Видите ли, мы в пятницу уехали на дачу. — Он поглядел на мать, ожидая подтверждения.

— Да, Юра заехал за мной на работу в шесть часов, а в семь мы были уже за Внуковым, это я точно помню, — молвила молчавшая до этого мать Юры. — Слушали по радио последние известия.

Нина Матвеевна посмотрела на нее снисходительно и сказала:

— Надо коротко и ясно отвечать. При чем здесь последние известия? А я вообще всю ту неделю жила на даче.

— Ну ладно, — сказал Басков. — Прошу простить за беспокойство.

Басков повернулся к двери, протянул руку к сложной системе запоров, но Юра предупредил его.

Шагнув за порог, Басков, не оборачиваясь, сказал:

— Счастливо оставаться.

— Всего хорошего, — в один голос ответили мать и сын.

Дверь закрылась, масляно шелкнув замками. Басков закурил сигарету и потому не стал вызывать лифт, спустился по лестнице. На последней ступеньке он выбросил эту семью Мучниковых из головы. Он испытывал досаду — может, оттого, что после очного общения с ними опять почувствовал неприязнь к этим незнакомым

людям, а больше все-таки потому, что его надежда заполучить нить от Юры к происшествию на бульваре Карбашева оказалась напрасной.

К себе домой он добрался в девять. И едва вскипятил чайник, зазвонил телефон. Это был Серегин.

— Вы где, Анатолий Иванович? — спросил Басков.

— У себя, в гостинице. Что новенького?

— Сын отцу телеграмму не посылал. А телеграмма подписана «Юра».

— А почему вы так мрачно?

— Тот, кто посылал телеграмму, все до тонкости изучил, очень хорошо осведомлен о семейных делах Шальнева. И действовал без осечки. Боюсь, такого двумя пальцами не ухватишь.

Серегин хмыкнул.

— Вы же знаете, Алеша, иной раз слишком большая осведомленность преступника может дать наводку лучше, чем его ошибки.

В словах этих заключался целый метод. Ну если и не метод, то один из принципов, которым можно руководствоваться при розыске преступника. Ищи того, кто мог, например, знать все о разрушенной семейной жизни Шальнева, и, может быть, этот человек как раз и окажется преступником.

Басков был достаточно опытен, чтобы не считать такой подход неким открытием, откровением. Это обыкновенные азы розыскной практики. Но слова Серегина вернули ему равновесие.

Басков медлил с ответом, поэтому Серегин подул в трубку.

— Алло, Алеша! Вы меня слышите?

— Да, Анатолий Иванович.

— Я думал, куда-то пропали... Я говорю, где тонко, там и связывать.

— Наверно. Вы представляете, как Шальнев к сыну рвался... В каком состоянии был... Без промаха действовали...

— А рука-то все-таки дрогнула.

— Ну это, может, по не привычке к мокрому делу.

— Тоже штрих. — Серегин продолжал вселять в него оптимизм и уверенность. — Приезжайте прямо в гостиничный ресторан, я места займу.

Басков нашел Серегина в переполненном ресторане гостиницы «Будапешт» за неуютно стоявшим возле са-

мых дверей столиком. Играл оркестр, пела низким меццо-сопрано высокая брюнетка на эстраде. Публика танцевала.

Разговаривать было трудно, приходилось близко сводить головы, и со стороны, наверное, казалось, что собеседники поочередно жуют друг другу ухо. Все же, пока усаживали графинчик и закусывали каким-то фирменным салатом и семгой, Серегин сумел передать Баскову половину из того, что рассказала ему Ольга Андреевна. Вторую половину он досказал, когда провожал Баскова на Пушкинскую улицу, на остановку троллейбусов № 3 и № 23.

— Крепко ее Балакин окрутил, — сказал Басков. Но Серегин возразил:

— А может, он ее не морочил? Может, собирался жизнь налаживать?

— На ворованные деньги?

— Тогда у него не ворованные были. Не честным трудом добытые, но и не ворованные.

— Как это?

— А так... Я от нее в горотдел заехал. У них архив налажен превосходно, в пять минут дело нашли. Читаю, и картина любопытная. При обыске обнаружили у Балакина чужой паспорт, поддельное удостоверение личности, рыбацкое, китобойское. И около десяти тысяч рублей — старыми, конечно. А своего паспорта нет. И нигде не устроен, хотя еще годом раньше из колонии вышел — справка имеется. Ну стали допрашивать: откуда деньги, чей паспорт? Паспорт, говорит, в поезде у одного раззявы принял, а деньги в карты выиграл, в очко. В Сухуми играли по крупной, он банк держал. Почему на место не определялся, чем жил? Хорошее место подыскивал, а жил картами, да кореша, мол, старые долги отдавали. Начали ему вопросы о Шальневых задавать: почему у них остановился, кто они ему такие? И он заявляет: Ольга Шальнева ему фактически жена, надо только зарегистрироваться. И просит отпустить его для этого хотя бы на день.

— Тут в протоколе должно стоять: «Смех в зале», в скобках, — пошутил Басков.

— В скобках ничего нет, а смех, наверно, был... И напрасно. — Серегин сердито кашлял в кулак. — Задержали его, взяли у прокурора санкцию — до выяснения... А Балакин той же ночью совершил побег из ка-

пэзэ. И попал ему под руку милиционер из новичков — досталось бедняге, три недели в больнице лежал. Балакина словили еще до утра... Ну и вкатил ему суд пятерку... А насчет денег он, между прочим, не врал. Проверяли — в Сухуми и свидетелей нашли...

— Может, и насчет регистрации не врал, — уже совершенно серьезно заметил Басков.

— Вполне возможно.

— Интересно, догадался он, кому спасибо сказать должен?

— Тут ему понятно.

— Повезло Нине Матвеевне. Одним разом от двух неугодных избавилась.

— К слову пришлось, Леша: как ее святое семейство поживает? Вы ведь в хоромах были...

— Дальше порога не ходил. Но скучно, наверно...

— Почему?

— Машина есть, дача есть, должность у внука ответственная во Внешторге, у самой — персональная пенсия союзного значения, кругом почет и уважение. Все есть... Разве не скучно?

— Э-э, бросьте-ка, пожалуйста! — Серегин взмахнул рукой. — Будьте уверены, этим Мучниковым совсем не скучно...

— Ну их к богу, Анатолий Иванович, а?

— И то верно... Что-то троллейбусов нет...

Басков посмотрел на свои часы.

— Без четверти двенадцать. Еще будут... У вас теперь какой план?

Серегин вздохнул, расправил плечи.

— Да что ж, пора домой возвращаться, я вам тут больше не нужен. А там дела ждут.

Басков достал из кармана сигареты, хотел закурить, но раздумал.

— Я вот о чем, Анатолий Иванович... Шальнев-то когда-нибудь очнется.

— Нет вопроса, — живо откликнулся Серегин. — Мне самому смерть хочется с ним поговорить, потрогать его живого, а не чурку безгласную... Как только в себя придет, давайте телеграмму, не задержусь.

— От вас он ничего не скроет, а я ему кто? Просто сыщик.

— Может, там и скрывать нечего.

— Я завтра в Ленинград... Должно там что-нибудь найтись, должно.

— Так вы, значит, вечером отправитесь со «Стрелой»?

— Хочу самолетом. Чего день терять?

— А кто мне командировку отметит?

— Вы зайдите ко мне, Марат на месте будет, я ему скажу.

Снизу от Дома союзов появились огни троллейбуса — длинная лента на лбу и два светлых пятна на полах.

— Ну счастливо, Анатолий Иванович. Очень рад был вместе поработать.

— Взаимно, Леша.

Подошел троллейбус. Они пожали друг другу руки, и Басков уехал, а Серегин не спеша зашагал к гостинице.

Басков смотрел в круглый иллюминатор на крыло самолета, которое вот уже минут сорок высоко парило над белоснежным стеганым одеялом облаков, а сейчас с едва ощутимой косиной снижалось, облака стали похожи на покрытую пушистым снегом бескрайнюю степь, и крыло вот-вот начнет срезать верхушки сугробов, между которыми лежит синяя тень.

Как с заигранной, трескучей грампластинки зазвучал из динамика голос стюардессы, призывавшей застегнуть ремни. Стекло иллюминатора сделалось мутно-сизым, и крыло пропало. Самолет вошел в облака...

Через десять минут Басков вышел из здания аэропорта, а еще через полчаса здоровался за руку с начальником жилищно-эксплуатационной конторы, к чьей епархии относился дом, в котором жил Игорь Андреевич Шальнев. Там ждал Баскова ленинградский коллега, старший лейтенант Шустов.

Начальник ЖЭКа, у которого на правом лацкане серого пиджака висел знак участника войны, вышел и быстро вернулся в сопровождении низенького немолодого человека с заплывшими глазками и не менее как трехдневной щетиной на небритом лице.

— Это наш слесарь, — представил начальник.

— Здравия желаю, — хмуро проворчал слесарь, и по комнате порхнул перегарный душок. В руке он держал замурзанный чемоданчик.

— Понятых возьмем там, — сказал Шустов, обращаясь к Баскову.

— Тогда пошли.

По дороге к дому Басков узнал от начальника, что Шальнев обитает в двухкомнатной квартире, где есть еще один жилец — Зыков Константин Васильевич, год рождения 1929-й, одинокий, прописан в Ленинграде с 1973 года, приехал из Пскова, жилплощадь получена в порядке обмена. Работает Зыков на железной дороге, должность — составитель поездов. Больше ничего о Зыкове начальнику не известно... Да, квартплату в сберкассу вносит своевременно.

— Зыкова мы предупредили. Дождется, никуда не уйдет, — заключил начальник. И добавил: — Он в ночную работал. Спит, наверное.

— А как сказали — для чего придем? — спросил Басков тихо, чтобы слесарь не слышал.

— Как вот старший лейтенант велел. Осмотр квартиры на предмет ремонта.

Эта вынужденная ложь перед соседом Шальнева была необходима, чтобы, во-первых, не пришлось портить замки на квартирной двери, во-вторых, Баскову очень хотелось побыстрее увидеть соседа и поговорить с ним, а в-третьих, было бы неграмотно со стороны Баскова допустить, чтобы сосед заранее, до его появления, знал об истинной причине предстоящего визита в квартиру № 32. Мало ли что может выясниться впоследствии...

Начальник был брит, и пахло от него мужским одеколоном «Шипр», но глядел он ненамного веселее слесаря: видно, не причислял хлопоты с милицией к разряду желанных.

— Неприятности, что ли, Иван Степаныч? — спросил у него Шустов.

— Наше дело такое: из крана вода не течет — плохо, с потолка течет — все одно, понимаешь, плохо. Не угодишь, понимаешь, — ворчливо, но без всякого уныния отвечал Иван Степаныч.

— А наоборот бывает — из крана течет, а с потолка нет? — продолжал развивать тему Шустов.

Начальник одобрительно повел на него бровью.

— Иной раз получается... Если верхний сосед не купается... — И, не меняя тона, на том же дыхании вернул вопрос: — А что этот гражданин Шальнев сотворил?

Шустов обернулся к Баскову, и тот объяснил:

— Под трамвай в Москве попал.

— Насмерть?

— Да нет... Помяло сильно.

— Он тихий, — подтверждающе сказал начальник.

— Знаете его?

— Кабы знал, был бы не тихий. Или неплательщик...

А так я его фамилию первый раз вчера услышал.

Тут они подошли к дому.

— Постановление на обыск есть, — сказал Басков Шустову. Он имел в виду обыск комнаты Шальнева.

Дом был пятиэтажный, старый, без лифта. На третий этаж поднимались по крутой лестнице с выбитыми, словно обтаявшими ступенями из светлого камня. На площадке второго этажа Иван Степаныч позвонил в обе квартиры — тут на каждом этаже их было по две. В одной не отозвались, а из другой женский голос спросил: «Кто?» Иван Степаныч назвал себя. Открыла высокая полная старуха. «Еще кто-нибудь есть дома?» Услышав, что есть еще ее старик, Иван Степаныч попросил подняться в номер 21.

В квартиру № 21 позвонил Басков. Открыли быстро — ждали. Басков увидел перед собой одинакового с ним роста плотного человека в синей нейлоновой рубаше и черных брюках. Густые черные волосы стрижены коротко. Лицо загорелое, но как-то по-деревенски, по-крестьянски: верхняя половина лба белая, как молоко, а все остальное — того медного, с нефтяным отливом в углублениях, цвета, какой бывает только у чеканных поделок массового производства, продающихся в сувенирных магазинах. Лицо это чеканилось без излишней проработки, стилизовано под примитив. Однако в глазах, смотревших вполприщура, переливались некие оттенки. Это Басков заметил и отметил.

— Здравствуйте. Вы Зыков? — сказал Басков.

— Константин Васильевич. Заходите, — пригласил Зыков, отступая в прихожую. Его простуженный тенорок звучал не то чтобы льстиво, но выражая готовность слушать.

— Мы тут заодно с вашим начальником, — объяснил Басков, кивая на Ивана Степаныча: надо было как-то оправдать начальника ЖЭКа за его вынужденную ложь жильцу, хоть она и была во благо. — Я майор милиции Басков.



— Это мы понимаем. — Зыков согласно наклонил свое чеканное квадратное лицо, и Баскову показалось, что он понимает гораздо больше, чем заключалось в его, Баскова, словах.

Иван Степаныч, изображая ремонтную озабоченность, заглянул в ванную, но забыл при этом включить свет.

— Ладно, ближе к делу. — Басков поглядел на слесаря и подошел к двери комнаты Шальнева. Что это именно его комната, было очевидно, ибо дверь другой комнаты, принадлежавшей Зыкову, стояла настежь.

Слесарь осмотрел замок — не английский и не французский, а самый обыкновенный, которые открываются большим ключом через большую скважину, именно такую, в какие на рисунках художников-сатириков вот уже лет сто подглядывают и подслушивают отрицательные персонажи.

— Тут спичкой можно, — проворчал слесарь презрительно.

Он сунул какую-то загогулину в скважину, потом нажал — замок тихо хрюкнул, и дверь раскрылась.

Все, кто стоял за спиной у Баскова, вытянули шеи — с тем врожденным людским любопытством, которое так неудержимо тянет даже самого безразличного человека заглянуть в чужое жилище.

В большой квадратной комнате с двумя узкими окнами стояли платяной шкаф, диван-кровать, письменный стол и четыре стула. И все это старое, того сорта, что потрескивает по ночам. На одной стене, справа, — полки с книгами. В левом углу на табуретке телевизор марки «Рекорд», облупленный, с маленьким экраном.

Прибрано, пыли не успело еще накопиться.

Басков обернулся к старухе со второго этажа:

— Вас как зовут?

— Мария Антоновна.

— Войдите, пожалуйста, в комнату, Мария Антоновна... Вместе с мужем. Мы тут кое-что посмотрим... Это на пять минут...

Иван Степанович тронул Баскова за рукав.

— Я вам нужен? А то, понимаешь, дела...

— Надо будет после комнату запереть. Мы ее печатаем.

Иван Степанович посмотрел на слесаря:

— Сделаешь. — И ушел.

— Вы, Константин Васильевич, подождите у себя — разговор будет, — сказал Басков Зыкову и, войдя в комнату Шальнева, закрыл дверь.

Мария Антоновна с мужем стояли в сторонке.

Басков открыл ящики письменного стола и начал перебирать бумаги. Шустов занялся книжными полками.

Собственно, это был не обыск, а осмотр вещей с целью составления их описи. Но Басков все же питал смутную надежду найти здесь хоть какую-нибудь зацепку, которая намекнула бы на причинную связь того, чем жил Шальнев до отъезда в Москву, с тем, что произошло на бульваре Карбышева. В существовании такой связи он не сомневался.

Покончив с письменным столом, Басков открыл платяной шкаф. Там на плечиках висели довольно потертое драповое пальто, старый, уже не пахнувший овчиной полушубок и три костюма — один поношенный, два почти новые.

Басков разложил костюмы рядышком на кровати, посмотрел на них, отступив, и позвал Шустова.

— Гляди. Ничего странного не находишь?

Шустов раздумывал недолго.

— Вот это, по-моему, пятидесятый размер, третий рост, нашего производства. — Он показал на черный костюм. — Этот побольше. Пятьдесят четыре, рост два. — Это относилось к темно-синему. — А серенький — пятьдесят два, четвертый. Оба финские.

Шустов прекрасно мог бы работать продавцом в отделе готового платья. Басков так и сказал ему и пошел за соседом. Тот ступил в комнату как-то странно, словно здесь была полная непроглядная темнота и он боялся наткнуться на что-нибудь.

Басков показал ему на костюмы и спросил:

— Это Игоря Андреевича костюмы?

— Вроде, — неуверенно отвечал Зыков.

— Но он носил?

— Мне ить это ни к чему... замечать...

— А вы вспомните.

Зыков ткнул пальцем в черный костюм.

— Вот эт носил.

— А эти?

— Ей-ей, ни к чему мне... Може, когда и носил. Може, он в прежние годы важней был...

Так, значит... И Зыков тоже с одного взгляда опреде-

лил, что костюмчики разного размера. Но чего-то он как будто не договаривал...

— Хорошо, Константин Васильевич, идите пока к себе.

Костюмы Басков повесил обратно в шкаф. Составили протокол, дали понятым подписать.

Потом слесарь тем же своим крючком запер дверь, ее опечатали. Шустов со слесарем и понятыми ушли, а Басков постучался к Зыкову.

Его комната размером была такая же, как у Шальнева, но в ней казалось тесно, потому что вещей помещалось раз в пять больше.

В главном углу, слева против входа, стояла двухспальная высокая кровать. На розовом пикейном одеяле пирамидой громоздились три подушки — две блином, а третья углом к потолку. И сверху наброшена розовая же кисейная накидка. Или тут женская рука, или сам хозяин такой аккуратист, мелькнула у Баскова посторонняя мысль.

Сказать, что Зыков принял появление гостя с удовольствием, было бы сильным преувеличением, но что он ждал нетерпеливо, в этом Басков не сомневался. Весь вид хозяина говорил о нетерпении.

Зыков выдвинул из-под круглого обеденного стола мягкий в цветастой обивке стул, обмахнул рукой сиденье.

— Пожалста, милости просим.

Басков сел. Ему хотелось пить, и он посмотрел на хрустальный графин, накрытый кисейной салфеткой, стоявший на хрустальном подносе посредине стола.

— Водицы хотите? — угадал Зыков.

— Хорошо бы.

— Момент.

Зыков шагнул к заставленному посудой серванту, а Басков окинул комнату быстрым взглядом. На гвозде, вбитом в дверь, висела выгоревшая железнодорожная фуражка — единственная деталь, нарушавшая теремную гармонию этого дышавшего прочным благополучием жилища, набитого крепкими, добротными вещами. «Наверное, от этой фуражки лоб у хозяина наполовину белый», — подумал Басков.

И воду Зыков налил в хрустальный стакан.

— Супруга на службе? — мимоходом поинтересо-

вался Басков, хотя уже знал от начальника ЖЭКа, что Зыков холостой.

— Без бабы живу. Разведенный...

Зыков улыбнулся — скромно, но так, чтоб понятно было: мы, мол, хоть и холостые, но не без женского внимания. Он как бы надеялся на мужскую понятливость и солидарность своего непростого гостя.

— Давно?

— Да вот, поди, осьмой год будет.

— А сами работаете кем?

— Составы формуя... Составитель поездов называется.

Выражался Зыков не всегда грамотно, но доходчиво.

— Скажите, Константин Васильевич, сосед ваш когда последний раз дома был?

— То ись как — последний? — не испугался, а удивился Зыков.

— Ну когда вы его в последний раз видели?

Зыков собрал складки на своем двухцветном лбу.

— Так ведь Андреич к сестре поехал... В четверг, на той неделе...

Все верно — Шальнев пил коньяк в ресторане «Серебряный бор» вечером в пятницу.

— На поезде поехал?

— А как же. И на дорожку опрокинули.

— Ночным? Может, «Стрелой»?

— В ночь — это так, в двенадцатом из дому ушел...

А «Стрелой» иль нет — чего не знаю, врать не стану...

— Ну а как он себя чувствовал?

Зыков пожал правым плечом.

— Да как обнаковенно...

— Не волновался? Ничего особенного не заметили?

— Да нет вроде. Пить разве не схотел... Налил свой лафитничек серебряный, и все. Я ему: чего-то ты? А он: не идет, извиняй... Ну я ее один и прикончил.

— А вообще-то он пил?

— А как же!

Зыков говорил о Шальневе таким тоном, как говорят о недоразвитых или чудаковатых.

— Я закурю? — Басков достал из кармана сигареты.

Зыков суетливо как-то поспешил к серванту, подвигал там мелодично позванивавшей посудой, и на столе появилась круглая крутобокая пепельница — опять же хрустальная, свинцово-тяжкая.

Баскову почему-то вспомнилось прошлогоднее дело, которое он вел вместе со следователем из Управления внутренних дел на транспорте и по которому проходили три составителя поездов. Они воровали из контейнеров транзисторные приемники, телевизоры, меха и прочие дорогие товары, в том числе и хрусталь. Действовали ловко и награть успели тысяч на шестьдесят... Зыков — тоже составитель.

Однако Басков принципиально не признавал подобные оскорбительные для честных людей силлогизмы: составители поездов имеют возможность вскрывать контейнеры; Зыков — составитель, следовательно... Кроме того, против таких необоснованных заключений убедительно выступал элементарный факт: Зыков прямо навязывался гостю со своими хрустальями, совал их под нос. Будь у человека совесть нечиста, никогда бы он на рожон не лез. Бывает, конечно, наоборот, но для этого необходима изощренность закоренелого преступного ума.

А с другой стороны, поведение Зыкова казалось Баскову все-таки неестественным. Почему он, например, до сих пор не спросит, что стряслось с Шальневым? Как-никак семь лет в одной квартире. Всякий нормальный сосед не утерпит, поинтересуется. Вон Иван Степаныч, начальник ЖЭКа, впервые фамилию Шальнева услышал — и то не удержался.

— Сам-то не балуюсь, а чужого дымку понюхать — ноздрю прочищает, — сказал Зыков, подвигая пепельницу к Баскову.

— Тоже, говорят, вредно.

— Да оно ить и кушать вредно, и спать... ежели одному. — Зыков робко пошутил и сам хихикнул от неловкости, но тут же приосанился. — Может, закусочку соорудить? У меня имеется...

— Жарко, Константин Васильевич, в другой раз... Я вот сижу и думаю: неужели вам не интересно узнать, чего это мы к Шальневу вломились?

Зыков упер руки в колени, а подбородок в грудь — набычился, задумался, сдвинул брови, словно собирался дать ответ на самый главный вопрос жизни. И наконец молвил — не простуженным тенорком, а басовито:

— Я так разумею, товарищ майор: мне у вас спытывать прав не дано. Коли надо, сами скажете. Чую — неладное дело, а за язык тянуть негоже.

— Тоже правильно, — одобрил Басков. — Вообще-то он вам нравился?

Зыков прикрыл ладонью рот, чтобы скрыть ухмылку.

— Так ить он не девка, товарищ майор.

— Но жили-то дружно?

— Душа в душу!

Басков встал, прошелся в узком пространстве между сервантом и столом.

— По-моему, вы его не очень-то одобряли, а, Константин Васильевич?

— Не томите, товарищ майор. Не живой уж Андреич, что ли?

— Почему решили?

— Да вы так об нем... как про бывшего...

— Жив Андреич, но состояние неважное. В дорожную катастрофу попал в Москве.

Басков сознавал, что Зыков ему не верит. Самому наивному из наивных ясно: с чего тут станут обыскивать комнату человека, если он пострадал от городского транспорта? Но Зыков сделал вид, что поверил.

— Здоровья ему.

Басков поглядел Зыкову в глаза и снова спросил:

— А все же, Константин Васильевич: почему вы его не одобряли? Ну не во всем, а иногда...

Зыков опять упер руки в колени и набычился — видно, в такой позе ему легче было обдумывать важные вопросы. Но на сей раз заговорил он без нарочитой солидности, даже с некоторой игривостью:

— Малахольный малость.

— Например?

— Ну касательно баб взять...

— Не увлекался?

— Какой там! Он пятью годками меня постарше, тут особо уж не пожируешь... Да не в том смех.

— В чем же?

— А вот ходит к нему рыжеватенькая, молодая еще, не боле тридцати, и все при ей... Одно — в очках, и зовут чудно — Агриппина, а щечки-губки — аленький цветок...

Зыков с таким нарастающим смаком излагал предмет, будто сам распалялся от собственных описаний, но Басков вдруг почувствовал фальшь. Все эти зыковские «ить», «може», «спытывать» отдавали специальной нарочитостью. В Ленинграде человек живет уже семь лет и

до этого, надо полагать, не в глухой деревне обитал, прибыл-то сюда из Пскова и работает на железной дороге, где не по-таковски разговаривают, — как же тут деревенский лексикон сохранить?

— Простите, Константин Васильевич, вы сколько классов окончили? — спросил Басков.

Прежде чем ответить, Зыков с каким-то новым вниманием посмотрел на Баскова и, вероятно, разобрал подспудное значение вопроса: отчего и для чего он задан? Дальше он свою речь поддельными простонародными завитушками украшал уже не столь густо.

— Семь, а что? — сказал Зыков, потеряв всю смачность голоса.

— Ничего, так просто... Ну и что этот аленький цветочек?

Зыков словно уж забыл, о чем шла речь. Помолчав, он продолжал без всякой охоты, как досказывают конец анекдота, который, оказывается, давно известен слушателю.

— Ну что... Ходила она, ходила... «Ах, Игорь Андреич! Вы такой хороший, Игорь Андреич!.. Вы себе цены не знаете, Игорь Андреич!» А он ей все стишата читал...

Басков счел, что пора кончать разговор, и встал.

— Ну я пошел. Спасибо за содействие. Может быть, мне понадобится еще раз встретиться с вами.

— Мы всегда рады, милости просим.

## *Глава VII* || ГОСТИ || ШАЛЬНЕВА

По пути в райотдел милиции Басков испытывал чувство какого-то неопределенного недовольства собою, словно начал работу и бросил ее, не завершив.

Старший лейтенант Шустов, встретив его у себя в кабинете, предложил пойти перекусить.

— Подожди. Давай покурим, — отказался Басков.

— Не так чего-нибудь? — спросил Шустов.

Басков закурил, походил вдоль стола и сказал:

— Ты быстрее меня сообразил про костюмчики. С разного плеча, верно?

— Абсолютно.

— Зыков намекнул — мол, Шальнев в прежние годы мог иную комплектацию иметь. А два костюма совсем новые. Финского производства. А давно ли у нас финские костюмы появились?

— Ну, может, лет десять...

— Но эти-то явно не десять лет в шкафу висят.

— Точно. Фасон модный.

Басков спросил:

— У тебя магнитофон есть?

— Найдется.

— Одолжи, пожалуйста. И кассет штуки три.

Шустов достал из сейфа портативный магнитофон и кассеты.

— Не дают мне покоя костюмы эти, — сказал Басков. — Пойду к Зыкову, пока он не остыл... А ты, будь другом, узнай, работал Зыков двадцатого июля и в какую смену...

Зыков вроде бы и не удивился такому скорому возвращению Баскова, однако вид у него был настороженный.

Басков поставил магнитофон на стол, сел в пододвинутое Зыковым кресло и сказал озабоченно, как бы приглашая хозяина разделить эту озабоченность:

— Не пойму я одну штуку, Константин Васильевич.

— А чего? — с готовностью отозвался Зыков.

— Не сосед ваш носил эти костюмчики, которые новенькие.

Зыков промолчал.

— Давайте начистоту, Константин Васильевич: были гости у соседа?

— Были, — вздохнув, ответил Зыков.

— Это их костюмы?

Зыков кивнул головой.

— В них и приехали.

— Почему сразу не сказали?

— Да ведь оно знаете как — путаться кому охота?

— Почему путаться? Во что? Или подозрительные гости были?

— Зачем! — возразил Зыков. — Полярники они.

Это было сказано горячо, но Басков уловил фальшь в тоне Зыкова и почувствовал недоверие к нему, даже некое подозрение шевельнулось у него. Но на каком основании можно подозревать Зыкова в чем-то противоза-



конном? Нет таких оснований. Одна интуиция, нечто из области парапсихологии, а парапсихологию Басков, хоть убейся, за науку не признавал, не боясь заслужить репутацию отсталого и даже темного человека у тех, кто тотчас захлебывается от восторга перед всякими новомодными идеями, едва они являются на свет. Правда, Зыков соврал, когда ему показывали костюмы, но этого еще недостаточно, чтобы зачислять его в категорию подозреваемых.

И все-таки Басков не верил Зыкову. А Зыков, видно, почувствовал это еще гораздо раньше, чем Басков задал ему прямой вопрос, уличавший его во лжи. Стало быть, не имело смысла маскировать истинное свое отношение к нему, тем более что Басков и с самого начала не очень-то старался притворяться лучшим другом Зыкова. Такова уж дана ему натура; он всегда оставался вежливым и корректным даже с самыми несимпатичными ему людьми, так или иначе причастными к преступлениям, но быть артистом, разыгрывать роль отца и благодетеля не умел и не хотел. В раскрытии преступлений Басков не придавал никакого значения личному обаянию дознавателя, целиком полагаясь на неопровержимость твердо установленных фактов...

Молчание становилось тягостным, и Басков его нарушил.

— Вы меня извините, Константин Васильевич, — сказал он, — покажите ваш паспорт. Для порядка надо.

Эта просьба возникла не по наитию — о паспорте Басков подумал, еще когда только входил в квартиру и увидел открывшего дверь Зыкова. Само слово «паспорт» как бы напрашивалось быть кодовым названием дела, если бы такие названия употреблялись в угрозыске для дел официально, а не только в рабочем обиходе среди инспекторов, прибегавших к ним для краткости: именно паспорт, обнаруженный в кармане у Шальнева, послужил тем коконом, из которого Басков тянул свою нить — путеводную, как он надеялся.

Реакция Зыкова на вполне безобидную просьбу оказалась для Баскова неожиданной. Зыков расстегнул светлыми пальцами две пуговицы на рубашке, словно ему стало душно, и вдруг громко запричитал:

— Господи, вот беда! Нету паспорта, пропал! Неведомо как, а пропал!

— Когда пропал? — как можно спокойнее, чтобы вселить спокойствие и в Зыкова, спросил Басков.

— Да кабы знать! — Зыков вскинул руки выше головы. — Года два, считай, не лазил в шкатулку, не нужен был... Зачем он, паспорт? В полуклинику не хожу, здоровый... По санаториям не разъезжаю...

Зыков опять начал коверкать свою речь.

— Подождите, — остановил его Басков. — Два года вы в шкатулку не заглядывали, где паспорт лежал, да?

— Точно так. А може, год.

— А когда же заглянули?

Зыков лишь секунду помедлил, соображая, а потом ответил убежденно:

— Да на той неделе. В среду... Верно — в среду.

Басков чувствовал, что он говорит правду, и задал следующий вопрос без всякой задней мысли:

— Зачем же паспорт понадобился?

Но этот вопрос, еще более нестрашный, чем просьба предъявить паспорт, оказал на Зыкова странное действие. Он перестал причитать, улыбнулся — явно деланно — и ответил с задушевностью, которая никак не подкреплялась настороженным выражением его прищуренных глаз, настолько прищуренных во все время их разговора, что Басков до сих пор не сумел еще определить, какого они цвета.

— Сижу, значит, вечером, покопаться захотелось, там у меня карточки всякие, в шкатулке-то... Да вот гляньте... — Зыков поднялся со стула, направился в угол, где стоял низкий столик, а на нем большая черная шкатулка палехской работы, блестящая лаком.

— Не надо, охотно верю, — сказал Басков, хотя он точно знал, что сейчас Зыков говорит неправду — насчет причины, по которой Зыкову захотелось покопаться в шкатулке.

— Я и в милицию заявление подал, чтобы, значит, новый паспорт выправили.

Зыков оправдывался, и Басков опять решил его успокоить, хотя, учитывая уже проявленную собеседником проницательность, это было бесполезно.

— Ну и ладно, — сказал Басков. — Червонец заплатите, и все дела.

В истории с паспортом позиция Зыкова была Баскову совершенно непонятна. С одной стороны, сосед Шальнева был встревожен вопросом о том, зачем ему пона-

добился паспорт, и дал явно лживый ответ, с другой — он вроде не притворялся, когда не сумел объяснить пропажу паспорта. Если тут что-то нечисто, Зыков без малейшего риска мог бы сказать, что паспорт он потерял, или придумать, как его украли.

Но были и другие варианты. Не исключено, что один из костюмов принадлежал Балакину.

Паспорт Балакина оставлен в кармане у Шальнева, а зыковский пропал. Что, если Балакин без ведома хозяина заглянул в шкатулку? Документ Балакину необходим, а в чертах его лица, как заметил Басков по автоматической привычке сравнивать, проскальзывало некоторое сходство с Зыковым.

И наконец не выглядел абсурдным вариант, что Зыков мог уступить Балакину свой паспорт — не бесплатно, разумеется.

В том и другом случае поведение Зыкова становилось объяснимым. Но почему паспорт понадобился ему именно в прошлую среду и почему он скрывает истинную причину, оставалось непонятным. Этим и наметил заняться в первую очередь Басков.

— Вот что, Константин Васильевич, — сказал он. — Давайте-ка все по порядку. И начистоту.

— Я что? Я — пожалуйста.

Басков включил магнитофон, и Зыков начал свой долгий рассказ, из которого, как позже обнаружил Басков, выяснилось, что Зыков обладает редкостной памятью на мелочи.

Около десяти часов вечера 24 июня, в воскресенье, Константин Васильевич Зыков сидел у раскрытого окна в своей комнате и смотрел на улицу. Было совсем светло — не прошла еще пора белых ночей.

Собственно, ничего интересного он не видел, потому что в канун понедельника люди ложатся спать пораньше и оживления на проспекте не наблюдалось. Зыков скучал, позевывал, но спать ему не хотелось, да и ни к чему укладываться в такую рань, если завтра можно валяться сколько угодно, так как на работу ему идти в ночную смену.

Вдруг зазвонил дверной звонок. Один раз — значит, к нему: соседу звонят два раза. Зыков никого не ждал, поэтому удивился, но открывать пошел с большой охо-

той: все-таки развлечение. Он набросил на плечи пижамный пиджак. Пиджак был точь-в-точь такой, какой он видел давным-давно, лет тридцать назад, на одном солидном пассажире мягкого вагона, в котором сам Зыков, тогда работавший в ремонтной бригаде, ехал два перегона по договору с проводником в служебном купе.

Открыв дверь, Зыков увидел перед собой двух мужчин. Один, в темно-синем костюме, был коренастый и плотный, ростом точно с него (свои габариты Зыков знал: рост 174 сантиметра, вес от 75 до 80 килограммов, смотря по режиму, объем грудной клетки на вдохе 120 сантиметров). Другой, в сером костюме, тоже не хилый и на полголовы выше. Первому лет пятьдесят с хвостиком, второй ему в сыновья годится.

— Добрый вечер, — вежливым баском сказал старший. — Шальнев дома?

— Дома, если спать не лег, — пошутил Зыков.

Но пришельцы шутить не были настроены. Они как будто торопились. Зыков обратил внимание, что карманы у обоих оттопырены и на груди и на брюках, а поклажи никакой нет.

— Мы к нему, — сказал старший и шагнул через порог.

Зыков протянул руку к выключателю, зажег в прихожей свет.

Молодой, войдя, аккуратно, бесшумно притворил за собою дверь.

— Андреич! — крикнул Зыков. — К тебе гости!

— Соседей разбудишь, — сказал, как цыкнул на него, молодой.

Из комнаты появился Шальнев в потертых сатиновых черных штанах, в белой рубашке с коротким рукавом, с очками в левой руке.

Чуть подавшись вперед, он вглядывался в старшего из гостей, а тот глядел из-под густых бровей на него, и так они стояли друг перед другом долго, дольше, чем спичка горит.

— Не узнаешь, Эсбэ? — наконец спросил гость.

— Саша, — словно не веря себе, прошептал Шальнев.

И они обнялись. А молодой вроде бы облегченно усмехнулся и сказал наблюдавшему в стороне Зыкову:

— Это называется «Друзья до гроба», или «Двадцать лет спустя». Детям до шестнадцати лет смотреть

не разрешается. — И ткнул Зыкова пальцем в бок как бы играючи, но довольно ощутительно.

Зыкову такое панибратское обращение пришлось не по душе. Отметив стальную жесткость ткнувшего его пальца, он удалился к себе в комнату, а молодой крикнул ему вдогонку:

— Не горюй, папаша, еще поладим!

Зыкова это совсем озлило, он хотел ответить, что, мол, если такой папаша пожелает, запросто может из такого сынка лыка надрать и лапти сплести, но что-то подсказало ему не ввязываться.

Зыков опять присел к окну. Глухо слышимый за стеной оживленный говор был ему немного досаден, но он не завидовал. У него есть заботы послаще. Продавщица Валя из магазина электротоваров, где он покупает лампы, обещала в следующую субботу поехать с ним на Кировские острова. На лицо она, конечно, не ахти, носик сапогом и лоб прыщавый, зато молоденькая и, видать, небалованая: под казенным халатом, он приметил, второй год зимой и летом все одну кофту носит.

Его приятные расчеты остановил стук в дверь.

Вошел сосед. Через голову его на Зыкова смотрел молодой гость.

— Будь другом, Васильич, — просительно сказал Шальнев. — Уж все закрыто, а у меня, знаешь, хоть шаром покати, угостить нечем... Ты не сходишь на Московский в ресторан? У тебя ведь там знакомство...

Соседа Зыков всегда готов был уважить, хотя и считал его не совсем полноценным человеком — по той причине, что сосед был оскорбительно и пугающе равнодушен ко всему тому, что сам Зыков и подавляющее большинство известных ему людей считали неременным условием настоящей жизни.

Только для порядка, чтобы соблюсти приличие, Зыков немного подумал, прокашлялся и молвил:

— Коли ты, Андреич, просишь — я готов.

— Сразу видно — страдал человек на своем веку, — вмешался молодой, скаля белые зубы. Он обошел Шальнева, приблизился к Зыкову, подал руку и представился: — Митя Чистов.

— Меня Костя зовут, — не глядя на него, но без обиды отвечал Зыков.

— «Папаша» не в масть прошел? Ну больше не бу-

ду, прости. — Митя заглянул ему исподнизу в глаза, но Зыков свойски грубовато отстранил его.

— Не булди. Чего взять?

Митя вынул из кармана брюк пачку десятков, положил на стол.

— Тут триста... Водочки, коньячку, шампанское любишь — шампанского бери... Икра есть — икру бери. Чего не дадут — тоже таши.

— Ишь пулемет, — уже почти одобрительно заметил Зыков, надевая рубаху.

В дверях Митя обернулся к Зыкову.

— Поймай такси или «левого». Туда-обратно, пусть ждет.

И ушел.

— Ты, правда, не стесняйся, — почему-то шепотом возбужденно сказал Шальнев. — Придется нам сегодня кутнуть.

— Дружки старые, что ли?

— Тот, второй, Саша... Еще до войны водились. А Митю первый раз вижу.

— Давно разбежались? — Зыков уже надевал костюм.

— Да вот, знаешь, получается без малого четверть века. С пятьдесят седьмого.

— Видать, с большой монетой, — Зыков кивнул на пачку десятков.

Шальнев кашлянул в кулак, отвел глаза и сказал, будто оправдываясь:

— Где-то на Севере работали, я еще толком не спрашивал.

— Понимаем. Калымили, значит. — Зыков положил деньги в бумажник. — Надо бы посуду какую захватить.

— Да-да, и сумку.

Они пошли на кухню. В большую пластиковую сумку на «молнии», принадлежавшую Зыкову, уложили одна в одну три разнокалиберные кастрюли и салатницу, принадлежавшие ему же, для закусок. И Зыков отправился в ресторан Московского вокзала. Как советовал Митя, он поймал «левого», попросил его обождать чуть в стороне, на Лиговке, и минут через сорок вернулся домой, нагруженный съестным и спиртным, как дальний запасливый дачник.

Гости, пока Зыков ездил, умылись и сидели, скинув

костюмы, в одних трусах и майках. Взглянув на старшего, которого Шальнев звал Сашей, Зыков немножко испугался, хотя и не подал вида: руки и грудь его, там, где не закрывала майка, были синие, как баклажаны. Но тут же догадался, что это наколки, и успокоился. Митя встретил его появление громкими аплодисментами.

— На чем есть-пить станете? — ворчливо спросил Зыков, расстегивая сумку. Он намекал на то, что у Шальнева-то обеденного стола не имелось.

Митя приподнял крышки кастрюлек, потянул носом и зажмурился.

— Такую закуску можно и на полу.

— Что мы — арестанты, что ли? — продолжал ворчать Зыков.

При этих словах гости, молодой и старый, быстро переглянулись и старший сказал:

— Может, на кухне?

Шальнев замахал на него руками.

— Ну зачем же, Саша? Сейчас придумаем что-нибудь.

— А чего тут думать, — сказал Зыков и кивнул Мите: — Давай-ка мой раздвижной притащим. — И, подумав, прибавил: — А может, проще ко мне?

— Нет-нет, — с непривычной для Зыкова решительностью запротестовал Шальнев. — Будем здесь.

У себя в комнате Зыков хотел отдать Мите остаток денег, их было сотни полторы, но Митя сжал его ладонь в кулак вместе с бумажками и сказал небрежно:

— Еще сочтемся. Только начинается, а мы с Сашком народ измученный, до звездочек злые.

— Ты про коньяк? — пряча деньги в карман, уточнил Зыков.

— Про него, проклятый.

И они еще до застолья сделались если не друзьями, то понимающими друг друга людьми: Зыков признавал такую вольность с деньгами баловством, но людей вроде Мити, которые их не считают, очень уважал.

А потом была душевная пьянка, ради которой Зыков не пожалел даже своей льняной скатерти цвета малосольной семги, точно такой же семги, какая лежала на одной из тарелок.

Они с самого начала разделились: Шальнев с Сашей сидели рядышком по одну сторону стола, Митя с Зыко-

вым — по другую. Саша и Митя пили из стаканов, Зыков и Шальнев — из хрустальных рюмок. Так что в некотором роде получалось крест-накрест. Но разговор был тоже парный: Шальнев с Сашей говорили тихо, из губ в ухо, а Зыков с Митей вели громкую и веселую беседу.

После третьего или четвертого захода Зыков сказал Мите:

— Колбаски не хошь? У меня хорошая есть, венгерская, салями называется. В ресторане такой нет.

Митя братски обнял его за плечи.

— Костя, друг, самая хорошая колбаса — это чулок с деньгами...

Тут старый Саша перебил их беседу, обратясь к Мите, как показалось еще не пьяному Зыкову, с подначкой:

— Сдачу не брал?

— Ты что! — обиженно откликнулся Митя.

— Ша.

Зыков сообразил, что его почтение к Мите выходит вроде бы и не по адресу.

Шальнев и Саша кончили шептаться. Игорь Андреевич, еще не очень захмелевший, громко спросил:

— Слушай, что это за история с журналом «Вокруг света»?

Саша не враз сообразил, о чем речь.

— Какой журнал?

Шальнев погрозил Саше пальцем и в этот момент показался Зыкову мальчишкой.

— Брось, Сашка! Думаешь, я не понял? Тот парень подписать его просил. Письмо еще на Красную улицу пришло, а я уже сюда перебрался. Оля парню ответила, мои координаты дала, а я как раз к ней погостить приехал, читал письмо, но не помню, взял его или не взял... На «Вокруг света» трудно подписаться, но мне устроили...

Саша смотрел на Шальнева нежно, и это удивило Зыкова, потому что такое лицо, как у Саши, по его разумению, могло выражать что угодно, только не ласковость и нежность.

— Ну и что? — подбодрил Саша умолкнувшего Шальнева.

— А вот что: письмо-то было послано из...



— Догадываюсь, — перебил его Саша, покосившись на Зыкова. — И дальше что?

— И был там привет от «моего знакомого», — неумело изображая хитрость, продолжал Шальнев. — Полагаешь, мне трудно вычислить, кто такой этот знакомый?

Саша сказал:

— Ты старый штурман... Курс на Испанию, помнишь, проложил, все вычислил.

Шальнев расхохотался, а Зыкову слова Саши остались непонятны.

— А мальчик-то был? Или ты просто аукнуть хотел? — спросил Шальнев.

— Правда, попался там шкет, малолетка совсем, но с головой. Журнал получил — радовался. А я заодно адресок твой новый узнал. — Саша налил себе водки в стакан, а Шальневу коньяку в рюмку и спросил другим тоном, как бы опасаясь чего-то: — Ну а Оля что?

Они выпили и опять стали говорить друг другу на ухо.

Митя хлопал коньяк по полстакана и закусывал без передышки. Зыков за ним не поспевал, но тоже мимо рта не проносил. Ему было и вкусно, и, главное, интересно, потому как в строго мужских застольных компаниях бывал он разве что на работе во время обеденного перерыва.

Чем дальше, тем больше хмурился Саша, слушая Шальнева. А потом вдруг Шальнев заплакал и даже разрыдался.

— Они же все разбили! — пресекающим голосом выкрикивал он. — Они же у меня Юру отняли, жизнь сломали.

Митя, уже порядком нагрузившийся, заорал пьяно:

— Подать их сюда, секир-башка делать будем!

— Заткнись, — сказал Саша, словно камнем бросил.

Он встал, приподнял Шальнева за плечи со стула, и они вышли из комнаты.

Митя, кажется, мигом протрезвел, толкнул Зыкова локтем.

— Он что, припадочный?

— Сосед-то? Да нет. Книжек много читает, и работа тоже — все читай и читай. Корехтур называется.

— Корректор, — поправил Митя. — А Юра — это кто?

— Сын. Андреичу бы дедом быть, внуков растить,

да не про него это. Тютя, а не мужик. У него даже карточки сыновьей нету, а вживе и подавно руками не трогал.

— Неудачник, значит, — усмехнулся Митя. — А Сашок расписывал!

Зыкову сделалось неудобно оттого, что он перед незнакомым человеком вроде бы чернил какого-никакого, но все же доброго соседа. Он сказал:

— Видать, Андреич в молодые-то лета козырем был, да ведь жизнь кому хошь крылья обобьет. А жену выбирать — что арбуз без разреза: не угадаешь. У меня вот тоже не задалось...

— Ну ты мужик хоть куда, — возразил Митя. — А этого — по стенке размазывать. Ха! В одном городе жить — и родного сына не видеть? — И он добавил непечатное словечко, которого Зыков отродясь не слышивал.

— Сын в Москве, — уточнил Зыков.

— Все равно... — Митя повторил словечко и предложил: — Ну их в трам-тарарам, давай-ка тяпнем.

Вернулись Шальнев и Саша, налили себе и больше уже не шептались. Разговор стал общим и бестолковым, потому что все, даже Саша, который до тех пор не пьенел, быстро напились.

Зыков проснулся в своей кровати, увидел аккуратно сложенные на стуле брюки и рубаху на его спинке, но как и когда улегся спать, он решительно не помнил. Он в ванной почистил зубы, пошел на кухню, поглядел на свою двухпудовую гирию, черневшую в простенке за плитой, которую он выжимал каждое утро — тридцать два раза без передыху правой рукой и потом, после короткого перерыва, двадцать четыре раза левой, — но поднимать тяжести не хотелось, да и не утро было, а час дня.

Подойдя к соседской комнате, он услышал легкий храп — там еще не вставали. Делать нечего — надо ждать, когда проснутся.

Зыков побрился, умылся, наодеколонился, и тут дверь у соседа хлопнула. Он выглянул в коридор, увидел встрепанного Митю, направлявшегося к нему с неполным стаканом в руке.

— Здорово, пьяница! — приветствовал его Митя.

— От такого слышу, — добродушно отвечал Зыков.

— На-ка поправься, да продолжим.

Зыков водку выпил, крикнул и сказал:

— Мне нынче в ночь вкалывать.

— Идем-идем, какая ночь? Тут, как за Полярным обручем, — сплошной день.

У Зыкова возникли зыбкие догадки насчет Саши и Мити еще тогда, когда он увидел синие от татуировки руки Саши. Поэтому он спросил, проверяя себя:

— А ты видал, каково за Полярным-то кругом?

Митя посмотрел на него и сказал нахально:

— Я только лысого ежа не видал. Там, как у тебя на роже, — сверху светло, внизу темно.

Зыков не успел обидеться. Митя одной рукой отнял у него пустой стакан, другой обнял за шею, притянул к себе, нос к носу, и заговорил жарко и притворно, как артист или цыганка, с придыханием:

— Ходишь ты по крутой горе, ты слышишь? Счастье по пять пудов по пяткам бьется, в руки не дается, ты понимаешь? На лице твоём печаль и скука, ты слышишь? А сама ты... — Он оборвал себя и нормальным голосом сказал: — Не обижайся, Костя, вот рука. А на пару мы с тобой — ни одна стерва не устоит.

Этот молодой, но все угадывающий Митя одновременно и раздражал Зыкова, и располагал к себе.

— Язык у тебя, — скривясь, сказал Зыков.

— Знаю — помело, — быстро согласился Митя, и они пошли в комнату, где за столом сидели невеселые Шальнев и Балакин.

Так как выпивки оставалось по ничтожной норме, а из всей компании самым бодрым был Зыков, ему и выпало снова отправиться в ресторан.

И само собой получилось, что уже часам к четырем он понял: на работу сегодня лучше не показываться. Но без замены никак нельзя, и Зыков поехал на квартиру к своему сменщику. Тот вошел в положение — сам иной раз просил о том же, — и Зыков, вернувшись, с легкой душой продолжил начатое...

И закружило Зыкова на две недели. Он и на работу ходил вполпьяна, а трое его собутыльников, можно сказать, трезвыми не бывали.

Как-то вечером пожаловала рыженькая Агриппина. Шальнев к себе в комнату ее не пустил, говорили в прихожей, и Агриппина ушла, расстроенная видом Игоря Андреевича.

Когда на следующий день Зыков проснулся, он вы-

шел в прихожую. Из комнаты соседа доносились громкие голоса. Зыков притаился.

— Не будь жлобом, — сказал Саша.

— Мы так не договаривались, — зло ответил Митя.

— А теперь договоримся.

— Чего это я должен от себя отрывать? — не соглашался Митя. — В благодетели лезешь?

— Не твое дело. Тебе трех пока хватит.

— А если не дам?

— Не финти, Чистый! — нервно, с угрозой крикнул Саша. — Забыл, кто я и кто ты?

— Смотри — не пожалеть бы, — смиряясь, но все же по-прежнему зло произнес Митя.

— Заткнись, надоело! Сказано — и ша. Давай!

Зыкову почудился шелест бумаг, но дальше подслушивать он побоялся и поспешил в ванную. Это было вовремя: в квартиру вошел Игорь Андреевич с двумя полными сумками в руках — он вернулся из магазина... Все опохмелились, и опять закутилось пьяное колесо.

Так прошла неделя, началась вторая. Во вторник, 3 июля, Зыков предложил всем сходить в баню, попариться с веником. И тут между ним и Сашей произошел такой разговор.

— В баню мы не пойдем, но вот насчет помыться ты прав, — сказал Саша.

— А что? — удивился Зыков. — Оченно даже помогает — похлестаться веничком. От головы оттягивает.

— Оно так, да сердце больное, пару не выдерживает... Но ты вот что — купи-ка нам белья... Ну, трусы, майки, носки покрасивше. Можно?

— Отчего же? Конечно, можно.

Саша дал денег, и Зыков съездил в Военторг на Невском, купил все, что надо. Саша и Митя мылись в ванной, а Зыков собирался в баню и про себя рассуждал: чудной народ — не понимают своей пользы. Какое это мытье — в ванне? Как в корыте... И насчет сердца ерунда. Непохоже, чтоб у таких мотор барахлил. Водку хлещут, как за плечо бросают, а пару вдруг испугались.

Но окончательно странными показались Зыкову гости соседа на следующий день, в среду. Саша позвал его к себе и сказал:

— Васильич, не в службу, а в дружбу... Нам с Ми-

тей костюмчики новые надо купить, а идти неохота. Морды опухшие — стыд. Сделаешь?

— Можно, да не ровен час мерка не сойдется.

— Чего ей не сойтись? Размеры мы знаем: мне — пятьдесят четвертый, рост второй, ему — пятьдесят второй, рост четвертый.

— Ну а цвет? Матерьял?

— Это все равно, лишь бы неодинаковые. И не синий и не светлый. И подороже.

Саша отсчитал пятьсот рублей.

— Вот, хватит?

— За две сотни хороший костюм достать можно.

— Ну на твой вкус...

Когда Зыков в универмаге выбрал два костюма и, не примеряя, попросил выписать на них квитанцию и вернуть, продавщица посмотрела на него как-то удивленно, даже опасливо. Тут-то Зыков и подумал, что гости Шальнева — люди все же очень непонятные, а может быть, и такие же малахольные, как сам Шальнев. Но он успокоил себя, что всяк по-своему с ума сходит. Да и морды у них вправду опухшие, со стороны глянуть — как только что из вытрезвителя.

Саша и Митя, надев обновки, остались довольны. Костюмы были чехословацкие, модно сшитые, чистошерстяные. У Саши коричневый в синеватую клетку, у Мити — мышиного цвета.

Оставшиеся деньги — сотню с рублями — Саша подарил Зыкову.

А ровно через неделю, 11 июля, часов в девять утра (Зыков как раз вернулся с ночной смены), Саша постучался к нему, вошел в комнату и попросил спуститься на улицу, поймать машину — лучше не такси, а «левую», можно даже грузовую. Ехать, мол, до Колпина, и пассажир шофера не обидит. И машину желательно подогнать прямо к подъезду, во двор. Саша, между прочим, побрился, оставил лишь усики, которые выглядели вполне подходящими, а борода у него так и не отросла до подобающих размеров, потому что времени было мало.

Зыков нанял черную «Волгу», поднялся за Сашей, потом вместе с ним спустился. Они обнялись внизу на прощание, Саша сказал: «Не поминай лихом», сел в машину и уехал.

Как он простился с Шальневым и Митей, Зыков не видел, но с Митей скорее всего без слез, потому что в

последние дни, после того подслушанного разговора, они меж собой мирных, а тем более дружеских бесед и за чаркой не вели, а трезвые — и подавно, будто черная кошка между ними пробежала. Митя и зубоскалить перестал, ходил туча тучей, только глазами злыми поблескивал, а Саша недобро усмехался, глядя на него.

Митя отбыл тем же манером, с помощью Зыкова, через два дня, 14 июля. И тоже в сторону Колпина.

Шальнев после отъезда Саши сделался сам не свой. Ничего не ел. От выпивки отказывался категорически. И не спал совсем. Только курил и кашлял, кашлял и курил.

Зыков объяснял это усталостью, потому что и сам порядком утомился после двухнедельной непрерывной пьянки, а ведь он был не в пример здоровее и выносливее своего хилого соседа. Но дело оказалось не только в усталости.

Накануне отъезда Мити, вечером 13-го, у него с Шальневым завязался почему-то скандал. При начале Зыков не присутствовал, началось это в комнате у Шальнева, а потом сосед в расстроенных чувствах прибежал на кухню, где Зыков жарил молодую картошку, купленную на рынке.

— Господи, ну и человек! — держась рукой за сердце, сказал Шальнев и присел на табуретку.

— Ты чего это, Андрейч? — поинтересовался Зыков, углядев при этом, что держался Шальнев за сильно оттопыренный борт пиджака.

Но Шальнев не успел объяснить, так как на кухне появился Митя, который был все еще под мухой.

— Ну что, старая крыса, не любишь против шерсти? — спросил Митя, глядя на Шальнева исподлобья.

— Не хочу с вами говорить, — тихо сказал Шальнев.

— А ты и помалкивай, паразит, обмылок! На чужие жрет-пьет, и еще сухими ему давай.

— Подите вы к черту, — умоляюще протянул Шальнев.

— Что-о! — заорал Митя и подвинулся к нему. — Я тебя соплей перешибу, огарок!

Шальнев встал, и Зыкову показалось, что он ищет глазами, чем бы ударить Митю. Да где уж такому против Мити — смех один. Зыков еще помнил своим ребром, как Митя при первом знакомстве ткнул его пальцем, но он все-таки посчитал возможным на правах

проверенного собутыльника вмешаться в неожиданную свару.

— Вот так так! — укоризненно сказал Зыков. — То пили-пели, с одной площадки ели, а то и площадку пополам. Нехорошо так, некрасиво.

Митя плюнул под ноги Шальневу и ушел в комнату.

Ту ночь Шальнев коротал у Зыкова на полу, на старом своем матрасе. Он сказал, что не хочет больше видеть Митю.

Утром Митя, слава богу, уехал. Шальнев с ним не попрощался. А когда они остались с Зыковым вдвоем, Шальнев сказал, что собирается через неделю съездить к сестре в Электроград. Но уехал раньше, потому что 18 июля получил телеграмму и сильно взволновался.

Вот и все. Больше Зыков ничего не знает.

Выключив магнитофон, Басков сказал:

— Послушайте, Константин Васильевич, вы себя ребенком, надеюсь, не считаете?

— Да какой уж там ребенок!

— А их, значит, полярниками считали?

— Честное слово!

Басков постучал пальцем по магнитофону.

— Любой, кто вот это послушает, любой скажет: знали вы, кто они такие.

— Да не знал я!

— Ну, скажем, догадывались. А?

Зыков горестно покрутил головой.

— Догадывался.

— В таком случае как ваше поведение называется, понимаете?

— Не понимаю, ей-ей, не понимаю.

Кажется, он действительно не видел в своем поведении ничего предосудительного — так уж устроен.

## *Глава VIII* || ЗАЧЕМ НУЖЕН ПАСПОРТ?

Басков слушал рассказ Зыкова, и у него было такое ощущение, словно он заперт в затхлой комнате без окон, куда не проникает ни светлый день, ни людской шум.

Не верилось, что рядом живет огромный город, что где-то на заводах станки точат и шлифуют металл, в парках плещут фонтаны и смеются дети.

Этот Зыков, педантично выворачивавший свое вполне реальное пахучее нутро, казался ему нелепой выдумкой, персонажем бреда, плодом больного воображения. Вот встряхни головой — и он исчезнет, развеется, как дым.

Но нет, такая прочная плоть не исчезнет ни под чьим брезгливым взглядом, она только посмеивается над высшими субстанциями — разумом, душой и прочим.

Однако абстрактные размышления о смысле существования на земле таких, как Зыков, личностей Басков считал бесполезными. Ему надо было выяснить роль Зыкова во всем этом деле...

Из того, что теперь ему известно, вычерчивалась странная схема.

Ограбив совхозную кассу под городом П. и взяв 23 тысячи рублей, Брысь-Балакин и Петров по кличке Чистый знали, что немедленно будет объявлен всесоюзный розыск, и до 24 июня отсиживались где-то в тихом месте. Это понятно и естественно...

24 июня они появляются у Шальнева, чей адрес Брысь имел. Это уже менее понятно. Ленинград очень опасен для преступника, которого разыскивает милиция всего Советского Союза. Нужны какие-то особые причины, чтобы рецидивист с опытом Брыся решился так рисковать. Невозможно представить, чтобы Брысем руководило сентиментальное желание повидать друга детства, с которым в последний раз встречался года двадцать два тому назад, в 1957-м. Правда, тут примешана еще и несчастливая любовная история Брыся и Ольги Шальневой. Но что могло остаться от любви за двадцать два года? У Ольги выросла дочь, но ее отец Брысь все эти годы о ней и не подозревал. И что ему до нее? Как угодно поворачивай, но риск Брыся ничем не оправдан — или же существует мотив, скрытый пока от Баскова...

У Зыкова пропал паспорт. Внешностью Брысь немного похож на Зыкова. Вполне допустимо, что он паспорт и взял...

В рассказе Зыкова обращают на себя внимание два момента.



Разговор у Брыся с Чистым, который подслушал Зыков, шел, вероятнее всего, о деньгах. Брысь требовал, Чистый не давал. Что за счета между двумя грабителями?

Ссора на прощание между Шальневым и Чистым имеет какую-то связь с подслушанным разговором, ибо Чистый упомянул о «сухих», то есть о деньгах. Но какую?

Так или иначе, добытые сведения нисколько не проясняли вопроса, каким образом паспорт Балакина оказался в кармане у Шальнева на бульваре Карбышева.

Теперь Басков имел основания подозревать Чистого. Во-первых, Чистый мог легче, чем кто-либо еще, заполучить паспорт Брыся. Во-вторых, из пьяных разговоров ему нетрудно было выудить подробности прошлой жизни Шальнева и истории его несостоявшейся семьи, имя сына и где он сейчас живет. Но зачем Чистому понадобилось нападать на Шальнева?

Предположим, у Шальнева имелись деньги — те самые, о которых шла речь в подслушанном Зыковым разговоре. Даже крупные деньги. Для чего же Чистому надо было доставать левой рукой правое ухо, разыгрывать такой сложный спектакль, если он мог просто отнять эти деньги еще на квартире? Боялся Брыся? Но если деньги крупные, ему вовсе не обязательно встречаться с Брысем и докладывать: так, мол, и так, я изъяс у твоего друга энную сумму.

Нет, и тут плохо вяжется — или опять-таки есть мотив, неизвестный Баскову...

Где-то на самом дне сознания померещилась Баскову комбинация, что все это мог сотворить и сам Брысь. Но для этого ему нужно обладать большим иезуитством, ибо Брысь обязан был рассчитать за следователя невероятно витиеватый ход мысли. Он должен был рассуждать так: я убиваю Шальнева и оставляю у него в кармане свой паспорт; следователь не имеет причины думать, что это сделал я, потому что именно я и дал деньги Шальневу; со мной был Чистый, и только он знал обо всем, значит, подозревать будут только Чистого...

Но Басков эту версию принять не мог, хотя она и не казалась совершенно уж абсурдной. Он по-прежнему не верил в возможность того, что преступление на бульваре Карбышева совершил Балакин.

И наконец, как самый малоправдоподобный, но все

же допустимый вариант: на Шальнева напал с целью ограбления Зыков. Зыков подслушал разговор — раз. Поменялся паспортами с Брысем — два. Его паспорт был кстати Брысю, паспорт Брыся оказался кстати Зыкову, если он задумывал ограбление с инсценировкой, а может быть, и натолкнул его на мысль об ограблении Шальнева. О сыне и взаимоотношениях Шальнева с ним Зыков был отлично осведомлен — три. Но чтобы включить эту версию в число подлежащих рассмотрению, надо прежде дождаться, что скажет старший лейтенант Шустов, который как раз сейчас выясняет, что делал Зыков 20 июля, в день нападения на Шальнева...

И еще насчет Зыкова: если он и непричастен к преступлению на бульваре Карбышева и если действительно не заглядывал в шкатулку год или два, то паспорт вдруг понадобился ему неспроста. Возникла какая-то причина. Но какая? А может, он все-таки просто уступил свой документ Балакину по его просьбе?

Басков перебирал в уме все эти рассуждения, а Зыков, видя, что он задумался, сидел тихо, не двигаясь, ожидая, что последует дальше.

Закурив, Басков отодвинул магнитофон в сторону, облокотился о стол и спросил:

— Скажите, Константин Васильевич, новый паспорт вы получили?

Зыков, конечно, какого-нибудь вопроса ждал, но явно не такого. Однако ответил не смутившись:

— Больно скоро! Там сказали, дней через десять... Справки навести требуется.

— А зачем вы вдруг паспорт искать стали?

— Да не искал я... Карточки поглядеть захотелось... Я ж говорил...

— А как в милицию написали? Где потеряли?

— Ну-у, где... На улице потерял...

— Зачем соврали?

Зыков сделал страдальческое лицо и сказал обиженно:

— Пытаете меня, товарищ майор, а за что? Если там с Андрейчем чего, так я невиновный.

Басков решил приоткрыть перед Зыковым краешек правды — это иногда развязывает язык.

— Слушайте, Зыков, дело серьезное. Вашего соседа хотели убить. О паспорте я не из любопытства спрашиваю. А вы что-то скрываете...

С Зыковым произошла мгновенная перемена: впер-  
вые Басков увидел, как лицо его побледнело. Он мол-  
ча встал, открыл шифоньер, достал из пиджака вчетве-  
ро сложенный листок и положил его перед Басковым,  
выдохнув:

— Вот...

Это оказалось извещение из почтового отделения,  
написанное от руки чернилами: «Получите денежный  
перевод».

— Когда это принесли? — спросил Басков, нисколь-  
ко не удивившись.

— В среду.

— Восемнадцатого?

— Ну да, прошлую среду.

— А Шальнев когда телеграмму получил?

— Я ж говорил — тоже восемнадцатого.

— Шальнев про перевод знал?

— А зачем мне докладывать?

— От кого деньги?

Зыков прижал обе руки к груди.

— Ей-богу, товарищ майор, знать не знаю. Никогда  
ни от кого не получал.

— А сколько?

— Так ведь не показали, — скороговоркой заторо-  
пился Зыков. — Прихожу, удостоверение служебное  
предъявляю, а она, вредная, — паспорт надо.

— Может, должок чей?

— В займы не даю... Оно знаете как...

Басков поднялся со стула.

— Одевайтесь, пойдем на почту. А потом еще в ма-  
газин надо. Вы где костюмы покупали?

— На Невском, в универмаге.

...Начальница почтового отделения, оставив их в сво-  
ем кабинете, сама сходила за бланком с переводом на  
имя Зыкова. Это оказался телеграфный перевод на  
300 рублей. Отправитель — Александр Иванович Бала-  
кин. Внизу отстуканы четыре слова: «Спасибо за все  
Саша».

Басков повертел бланк в пальцах и протянул его  
начальнице.

— Вижу, это из Москвы послано. А из какого от-  
деления?

— Вот, тут все есть — и часы и шифр. А отделение  
связи — четыреста сорок восьмое.

Басков записал номер и встал:

— Благодарю. Будьте здоровы.

— А что же дальше? — Начальница приподняла бланк за уголок, словно он был липкий.

Басков улыбнулся.

— У адресата паспорт потерялся. Выправит новый — получит деньги.

Басков собрался уходить, но сообразительная начальница сказала:

— А вы разве не хотите посмотреть бланк-подтверждение?

— А что такое бланк-подтверждение? — спросил Басков веселым голосом, мысленно ругнув себя за то, что не знает вещей, которые ему полагалось бы знать.

— Ну как же, — сказала начальница. — Сначала мы получаем по телеграфу, сколько кому перевести, а потом нам присылают бланк-подтверждение по почте... Ну самим отправителем денег писано...

Басков в душе поблагодарил почту за такой хороший порядок.

— Покажите, пожалуйста, этот бланк.

— Одну минуточку.

Начальница принесла бланк-подтверждение. Басков прочел тот же текст, который до этого видел в телеграфном исполнении. Но этот был сделан от руки и написан чернильными печатными буквами.

— Я, простите, должен это изъять у вас, — сказал он начальнице.

— Ну раз надо...

У Зыкова после посещения почты на лице снова играл румянец. Он даже пытался по пути к универмагу на Невский заговаривать о капризах ленинградской погоды, но Басков его не поддержал.

— Вы лучше скажите, за что вам Саша платит.

Зыков сник.

— Невинный я, товарищ майор...

— Ладно. Деньги отнесете в милицию. — И, подумав секунду, спросил: — Он вам сколько подарил?

— Я уж сказывал: сотню с рублями, — ответил Зыков и полез в карман.

— Не надо, — остановил Басков. — Поберегите пока. То речистый вы, Зыков, то клещами тянуть придется. Вы костюмы помните, какие покупали?

Зыков наморщил лоб.

— Счас вспомним... Значит, так... Чехословацкие костюмчики, по сто восемьдесят... Саше коричневый подошел, в клеточку такую синюю, еле-еле видно... А Мите этому — мышастый.

— А в каких они приехали?

— Да уж я говорил. Которые в шкафу у соседа висят.

Они сели в троллейбус.

В отделе мужской одежды универмага Баскова интересовали чехословацкие костюмы — коричневые в синеватую клетку и темно-серые, мышиноного цвета. Серых уже не осталось — распродали, а два коричневых висели — в точности такие, подтвердил Зыков, какой он купил для Балакина.

Выйдя из универмага, Басков позвонил в отделение милиции, но старшего лейтенанта Шустова не оказалось на месте. Басков попросил передать Шустову, чтобы он его дождался, и сообразил, что давно пора перекусить — было без двадцати минут пять.

— Значит, так, — сказал он ожидавшему в сторонке Зыкову. — Вы свободны. Спасибо за содействие. Но одна просьба: будут вести от этого Саши или Мити и вообще если что — звоните старшему лейтенанту Шустову. И деньги ему сдадите.

Басков вырвал из блокнота половинку листка, переписал в него телефон Шустова и отдал Зыкову со словами:

— А теперь всего хорошего.

— До свиданья, товарищ майор, будет сделано.

Басков повернулся и зашагал прочь.

Пообедав в кафе, он отправился в отделение милиции. Шустов уже был там.

— Ну что? — спросил Басков.

— Двадцатого июля он работал с шестнадцати до двадцати четырех.

Так, значит, Зыков отпадает.

— Хорошо. Сумею я на «Стреле» сегодня уехать?

— Устроим.

— Тогда еще одна просьба, Шустов. Нужно держать связь с почтовым отделением. Если будет что для Шальнева — забирай. Зыкову пусть доставляют, но ты поинтересуйся у него — от кого. Он скажет. И не удивляйся — деньги принесет, четыре сотни. Прими, оформи.

— Понял.

Было десять часов утра, когда Басков пришел к себе на Петровку. Скучный Марат сразу повеселел, встретив его в коридоре.

— Как съездили, Алексей Николаевич?

— Кое-что есть. У Шальнева как дела?

— Еще без сознания, но вроде лучше.

Басков открыл кабинет.

— Заходи.

Марат сел к окну. Басков достал из сейфа папки.

— Вот что, Марат. Возьмешь фото Брыся и Чистого, подберешь портретики посторонние и поедешь... — Басков заглянул в свой блокнот, — ...поедешь в четыреста сорок восьмое отделение связи... Позвони, где это находится.

Марат позвонил.

— Улица Глаголева, дом восемь, Алексей Николаевич.

— Глаголева, Глаголева... Это же по проспекту Жукова?

— Точно. И от ресторана «Серебряный бор» рядом.

— Интересно. А родной дом Чистого у нас где?

— На другом конце, на Таганке.

— А сынок Шальнева на проспекте Жукова живет. — Это Басков сказал как бы самому себе, потому что о семейных обстоятельствах пострадавшего Шальнева Марат еще ничего не знал. — В общем, дело вот какое. Восемнадцатого июля из этого отделения был отправлен телеграфный денежный перевод на триста рублей в Ленинград Зыкову Константину Васильевичу. Отправитель — Балакин. Предъяви фото девушке, которая этот перевод принимала. У тебя рука легкая, вдруг признают...

Марат порывисто вскочил.

— Нет, ты совершенно безнадежный, — сказал Басков. — Сядь, еще не все... Возьми это. — Он вынул из папки обрывок телеграммы, найденный в кармане у Шальнева. — Спроси, пусть посмотрят — должен быть оригинал. Послана тоже восемнадцатого и по тому же адресу, только на имя Шальнева...

— Все, Алексей Николаевич?

— Да... И звони мне сразу, как там.

...Редко когда нетерпеливый по природе Басков ждал звонка с таким нетерпением, потому что он был уверен:

сообщение с почты или подтвердит версию, возникшую у него после Ленинграда, или еще больше все запутает.

Узлом был денежный перевод. Когда Зыков у троллейбусной остановки подтвердил, что Брысь подарил ему сто рублей, Басков будто бы вмиг прозрел. Так бывает, если разглядываешь загадочную картинку, на которой в сплетении древесных ветвей надо найти охотника: крутишь туда-сюда минут десять, и вдруг глаз схватывает нужные контуры, и ты удивляешься, что потратил столько времени на розыски, потому что охотник со своим ружьем просто кричит с дерева, кроме него, ничего уже и не видишь.

Действительно, что же получается?

Брысь хотел отблагодарить Зыкова за услуги — дал сотню. И вдруг ему вздумалось послать еще триста рублей. Можно это хоть мало-мальски убедительно объяснить? Вряд ли.

Будем считать, что деньги послал не Брысь. И телеграмму тоже. Тогда кто?

Ответ напрашивается.

Человек, пославший телеграмму и деньги, должен быть знаком с Балакиным, Шальневым и Зыковым, знать ленинградский адрес. Он также должен быть осведомлен о семейной драме Шальнева и о том, что его сын Юрий живет в Москве.

Таким человеком мог быть Чистый.

Если же вернуться к преступлению на бульваре Карбышева, принять во внимание все выяснившиеся обстоятельства и спросить: кто мог положить в карман Шальневу паспорт Балакина? — вполне естественный ответ: Чистый.

Раз так, все концы сходятся. Правда, эта версия оставляет темными два вопроса: ради чего Чистый хотел убрать Шальнева и зачем столь сложно готовил преступление? Но тут ответить мог только сам Чистый...

Марат позвонил в половине двенадцатого.

— Порядок, Алексей Николаевич.

— Выкладывай.

— Перевод послан в десять тридцать. Но не Балакин деньги посылал. Я фото предъявил, девушка категорически заявила: не видела таких.

— Значит, Чистый?

Марат замялся.

— Видите ли, какое дело... Насчет Чистого у нее уве-

ренности нет... Сначала я в числе трех его показывал — не узнала, а одного показал — вроде знакомое лицо.

— А что с телеграммой?

— Отсюда, из четыреста сорок восьмого, в Ленинград восемнадцатого июля не посылали.

— Слушай, Марат, спроси там: есть почта на проспекте Жукова, поближе к началу?

— Минутку.

Баскову вспомнились все его выкладки на этот счет, и ему пришла мысль: человек, посылавший телеграмму от имени Юры, чтобы вызвать Шальнева в Москву, для вящей убедительности должен был послать ее из отделения связи, ближе всего расположенного к дому, где живет Юрий Мучников. Надо полагать, Шальнев, знавший адрес сына, знал и почтовый индекс этого адреса. А получив такую неожиданную и такую желанную для себя телеграмму, он, наверное, сто раз разглядывал, не веря глазам, каждую букву, каждую цифру...

— Алло, Алексей Николаевич, — слышался в трубке голос Марата.

— Да.

— Есть. Триста восьмое отделение, проспект Жукова, три.

Значит, дом, где живет Юрий Мучников, всего метрах в ста от почты.

— Поезжай туда. Проверь все, как сделал с переводом. Я жду.

Через час Марат снова объявился.

— Я из триста восьмого, Алексей Николаевич. Такая же история. Отправлено в одиннадцать двадцать. Балакин — наотрез нет, Чистый — может быть.

— Оригинал нет?

— Есть. Но печатными буквами.

— Изыми...

По рукописному тексту, исполненному печатными буквами, очень трудно установить, кому принадлежит почерк, зато по двум таким текстам можно определить, писал ли их один и тот же человек.

Марат привез оригинал телеграммы. Басков положил рядом оба бланка, поглядел на Марата и сказал:

— Мы с тобой не графологи... Но похоже?



- Похоже, Алексей Николаевич.
- Басков сунул бланки в конверт.
- Отдай графологам...

Баскову очень не нравилось в людях то, что он называл шаманством. Самую обыкновенную свою работу, за которую ему выдают зарплату, шаманствующий человек обставляет такими сложными мнимыми трудностями, что со стороны это смахивает на магию и волшебство. Чаще всего так делается с целью пустить пыль в глаза менее опытному коллеге или завоевать симпатии женщины. Но, как правило, это только вредит делу, а иногда и самому шаману.

Простой здравый смысл заставлял Баскова принять то, что само собой напрашивалось, хотя дознавательская практика ясно говорит: очевидное — отнюдь не самое вероятное.

Он пошел к начальству, доложил добытые данные и сказал, что считает наиболее правдоподобной и перспективной версию, согласно которой на Шальнева покушался Чистый. Начальник МУРа спросил, какие специальные розыскные мероприятия в отношении Чистого он может предложить. У Баскова таких предложений не было. Он мог добавить лишь кое-что из примет, полезных для розыска: преступники одеты в чехословацкие костюмы такого-то и такого-то цвета.

Поскольку ведется всесоюзный розыск Брыся и Чистого и поскольку они, так сказать, в одной связке, оставалось ждать результатов. Для оперативного работника нет ничего хуже такого пассивного состояния, но тут приходилось мириться...

Минуло почти две недели, а на след Брыся и Чистого напасть все еще не удавалось. По-видимому, они отсиживались в укромном месте.

Девятого августа ожидание наконец кончилось. Баскову из Ленинграда позвонил старший лейтенант Шустов.

— Есть письмо, Алексей Николаевич, — будничным голосом сообщил он, не подозревая, как празднично звучит это для Баскова.

— Кому? От кого?

— Шальневу. Подписано: «Саша».

— Откуда?

— В письме обратного адреса нет.

Праздник моментально померк.

— А штемпель? — почти крикнул Басков. — Почтовый штемпель на конверте есть?

— Есть, Алексей Николаевич. Послано из Харькова.

— Ну ты большой драматург, Шустов, — облегченно вздохнул Басков. — Вези письмо в городское управление — пусть по телетайпу передадут сюда. А оригиналчик вышли. — Басков подумал секунду и добавил: — И заодно вот что: купи конверт, попроси начальницу почты, где мы были, тиснуть штемпель... Ну, скажем, одиннадцатого августа. И тоже вышли.

Через два часа Басков прочел короткое письмо, переданное по телетайпу:

«Игорь! Почти месяц прошел, пора что-то получить от тебя. Как все устроил? Срочно напиши. Город — сам знаешь. До востребования, Зыкову К. В. Не удивляйся, после объясню. Буду здесь до 25 августа. Привет. Саша». И в приписке — номер почтового отделения.

Так, значит, паспорт Зыкова все-таки оказался у Брыся, но каким путем — выкрали его или Зыков отдал сам? И значит, Брысь заранее наметил, куда отправится из Ленинграда, раз сообщил Шальневу город еще у него в гостях. И если уж он такой завзятый конспиратор, что не называет этот город в своем письме, то вполне возможно, что харьковский штемпель на конверте ничего Баскову не даст — Брысь мог попросить кого-нибудь бросить проездом в Харькове письмо в почтовый ящик. Но харьковский вариант необходимо отработать.

В пятницу, 10 августа, из Ленинграда пришел пакет. Рукописный оригинал письма мало что говорил Баскову, но мог пригодиться графологам, потому что хоть и редко, но иногда все же удается идентифицировать скоропись с текстом, выполненным печатными буквами.

Конверт со штемпелем ленинградской почты Басков повертел в пальцах и подумал, что, пожалуй, с этим конвертом он немного пошаманил: если Брысь действительно явится в почтовое отделение в Харькове, у него не будет времени ни разглядывать штемпель на конверте, ни почерк, а уж читать письмо — тем более.

Басков положил в конверт чистый листок бумаги, заклеил, написал адрес и тут же подумал, что все это вообще ни к чему, лишнее. Придет Брысь на почту — хорошо, а получит он там что-нибудь или не получит — не имеет значения,

В Харьков Басков взял с собою инспекторов Сергея Фокина и Ивана Короткова. Ему с ними не раз доводилось ходить на задержание опасных преступников, в них он не сомневался. Марат умолял включить в группу и его, но Басков знал, что у него больна мать, по ночам ему приходится быть сиделкой, и потому отказал...

Засада у такого объекта, как почта, да еще днем, да еще на людной улице, — дело щекотливое. Брысь мог быть вооружен, поэтому Басков хотел взять его так, чтобы свести к нулю риск для посторонних.

Фокин сидел внутри почты за столом — будто писал. Коротков прогуливался по противоположному тротуару. Басков сидел перед окном в доме напротив. Метрах в пятидесяти на улице стояла «Волга» с двумя инспекторами из городского угрозыска.

У всех были фотопортреты Брыся, так что его появление обязательно кто-нибудь заметит еще до того, как Брысь войдет в помещение почты. Каждый постоянно видел хотя бы одного из товарищей, а об условных знаках было четко договорено...

Миновало три пустых дня.

Брысь пришел в четверг, 16 августа, в половине одиннадцатого утра. Он появился из ворот дома, около которого стояла их «Волга». Коротков, заметив сигнал из автомобиля, дал знак Баскову. Басков покинул свой пост, вышел из дома и увидел Брыся. Прежде всего он узнал костюм — коричневый в синеватую клетку.

К двери почты они подошли одновременно. Басков пропустил Брыся вперед, и, когда тот, приблизившись к стойке, сунул руку во внутренний карман пиджака, Басков дал знак Фокину, а сам, положив ладонь на плечо Брысю, сказал:

— Здравствуйте, Балакин.

Брысь медленно повернул голову, посмотрел сначала на него, потом на Фокина, вставшего рядом с другого бока. Баскову было не до выражения его глаз, но смотрел Брысь недобро.

— Оружие, — сказал Басков.

— Не ношу, — ответил Брысь хмуро.

Фокин единым плавным долгим движением обеих рук огладил его от груди до щиколоток.

— Не ношу, — презрительно повторил Брысь.

Фокин защелкнул наручники.

— Извините. — Басков вынул из кармана у Брыся паспорт, откинул корочку.

Это был паспорт Зыкова.

## *Глава IX* || ДОПРОС || С ПЕРЕРЫВОМ

Хорошо разработанный план допроса — великая, конечно, вещь, но Басков понимал, что допрос человека с таким богатым уголовным опытом, как у Брыся, не укладывается в общие рамки. Тут вряд ли сумеешь поставить ловушку, которую твой подневольный собеседник не заметит, вряд ли перехитришь его в игре околичностями. Поэтому Басков избрал самую простую тактику — ставить Брыся перед фактом, и пусть он опровергает, если сможет.

Когда конвойный ввел Брыся, Басков поразился перемене, происшедшей с арестованным: за три дня он постарел на десяток лет. Крупные морщины на щеках глубоко врубились в кожу, глаза запали, а цвет лица приобрел какой-то чугунный оттенок. Новый костюм висел на нем словно на вешалке, а между тем Басков отлично помнил, что там, на почте в Харькове, плечи у него были как влитые.

— Вы что, совсем не едите? — спросил Басков, когда Брысь сел на стул.

— А вы меня на откорм поставили, что ли? — мрачно пошутил Брысь.

Басков пожалел, что задал чисто по-человечески свой вопрос.

— Я к вам не подмазываюсь, Балакин. Начнем по делу. — Он взял паспорт. — Откуда у вас документ Константина Васильевича Зыкова?

— На улице нашел, — с издевкой ответил Брысь.

— Вы даете понять, что врете. Только не надо строить насмешки, это не укрепляет отношения. Лучше вы начистоту, Александр Иванович.

На Баскова глянули из-под густых темных бровей усталые и все же неуловимо насмешливые глаза.

— Не держите меня за долдона, гражданин начальник. Вы еще молодой, а я давно с ярмарки еду. Ксива краденая, ну и что? Не за это меня взяли.

— Ладно, разберемся. Только не зовите меня начальником. Лучше — гражданин майор. — Басков из своей руки показал Брысю его письмо. — Это вы писали?

— Ну, наверно, я.

У Баскова уже было заключение графологической экспертизы, где говорилось, что денежный перевод и телеграмма написаны одним человеком, а письмо, по всей вероятности, другим, но он сейчас не хотел касаться этого вопроса.

— Что вы должны были получить от Шальнева и что он устраивал? — спросил Басков.

Брысь покачал головой.

— Эх, гражданин майор... Я телом еще не старик, раз покуда комар кусать не отказывается... А душа... — Он взглянул на Баскова уже без тени насмешки. — Можно мне спросить? Один раз, больше не буду.

Басков почувствовал, что сейчас должен произойти какой-то поворот, что сидящий перед ним матерый рецидивист по неведомой ему, Баскову, причине дрогнул где-то в глубине своего существа и хочет вынырнуть на белый свет, чтобы глотнуть глоток чистого воздуха или, если это не удастся, утонуть.

— Спрашивайте.

— Меня сдал Шальнев? — тихо спросил Брысь.

— Нет. Подумайте сами: зачем бы я стал задавать вам лишние вопросы, если бы на них уже ответил Шальнев?

— Я ваши порядки знаю. Один сказал — другой закрепить должен. Я вор в законе, и вот мое слово: скажите правду про Шальнева, он меня заложил или нет, — расколюсь, жилы вам мотать не буду.

Момент был из тех, что редко повторяются. Сняв трубку, Басков позвонил по телефону.

— Марат, зайди.

Тот явился немедленно. Брысь сначала на него даже не оглянулся.

— Ты когда был в больнице? — спросил Басков.

— В пятницу, товарищ майор.

— Как там?

— Лучше, но пока без сознания. — При этих словах

Брысь посмотрел на Марата, который тоже смотрел на него.

— Позвони, предупреди — сейчас приедем. И вызови «воронок».

— Слушаюсь, товарищ майор...

Марат ушел, а Басков подвинул на столе сигареты, спички и пепельницу поближе к Брысю и сказал, взглянув на часы:

— Закуривайте. Я покажу вам кое-что, Балакин, и тогда вы, может быть, поверите мне.

Брысь еще не понимал, что ему готовится.

В палате, где лежал Шальнев, ничто не изменилось с того июльского жаркого дня, когда его сюда привезли. Он висел в своем фантастическом гамаке, укрытый до пояса простыней, и трубочки по-прежнему змеились от его рук и ног к стеклянному шкафу в изголовье, похожему на действующую модель какого-то химического производства в разрезе.

Изменилось только то, что было лицом Шальнева. Теперь оно походило на кору сосны с выступившими на поверхности смоляными каплями.

Сестра оставила Баскова и Балакина, одетых в белые халаты и белые же полотняные бахилы поверх ботинок, и Басков сказал, показав на левую руку Шальнева, лежавшую вдоль тела на кромке гамака:

— У него нет паспорта, но там есть татуировка... Посмотрите.

Балакин приблизился, склонился над рукой, по которой от запястья к локтю ползла синяя черепаха. Потом, пятясь, вернулся на середину комнаты и спросил шепотом:

— Кто его?

— Я думаю, что не вы. Но и без вас здесь не обошлось. Или как?

— Эх, гражданин начальник, — только и сказал Балакин.

— Ладно, пошли.

...Басков надеялся, что после столь убедительного ответа на вопрос Балакина о Шальневе, да если учесть слово, данное вором, допрос пойдет без помех, но он просчитался.

Уже в машине с Балакиным что-то случилось, он да-

же отказался от предложенной сигареты. А когда Басков, продолжая прерванный допрос, снова спросил, что должен был сделать Шальнев и каких вестей ждал от него Балакин, он услышал в ответ:

— Ничего я вам не скажу, гражданин майор. Дайте подумать.

За то, что свозил Балакина к Шальневу, Басков себя не ругал. Неприятно было одно — что поддался минутной слабости и поверил, будто в душе Балакина может произойти какой-то перелом.

— Подумайте, Балакин, подумайте. — сказал Басков. — Но учтите: мне долго ждать времени нет.

Басков не хотел открывать всех своих карт и не стал говорить на первом допросе ни о городе П., ни о Ленинграде, ни о паспорте Балакина, обнаруженном в кармане у Шальнева, — вообще ни о чем из того, что ему было известно: он хотел дать Балакину возможность самому, без постороннего нажима, признаться во всем. Жаль, что не получилось с первого захода.

Басков много бы дал, чтобы узнать, о чем будет думать у себя в камере Балакин. Можно догадываться, что он должен определить линию своего поведения на допросах и решить, в чем признаваться, а что отрицать. Можно также предположить, что он при этом будет учитывать важное обстоятельство: его показания и признания затронут третьих лиц.

Предугадать, как поведет себя Балакин дальше, было трудно, а время терять действительно не следовало. И Басков подумал об Анатолии Ивановиче Серегине.

Нет, он был далек от всякой сентиментальности, но свято верил в неисчезающую силу детских впечатлений. Он по себе знает, что ломоть черного хлеба, политый подсолнечным маслом и присыпанный солью, который был съеден пополам с приятелем по пути из дома в школу, — это такая прочная скрепка, что ее не разорвет никакое время.

И так же свято верил Басков в то, что самый закоренелый преступник, если только он не врожденный дебил, носит в себе тайную тоску по тем светлым дням, когда сердце его еще не заскорузло. Положи горячую ладонь на замерзшее стекло окна — увидишь через прогалину ясное небо...

Если Балакин и захочет раскрыться перед кем-нибудь, то гораздо скорее сделает это перед другом дет-

ства, чем перед обычным работником угрозыска, которых на своем веку он повидал наверняка больше, чем обыкновенный честный человек — зубных врачей...

Испросив разрешения начальства, Басков отправился в телеграфный зал дежурной части, и там девушки тотчас связали его по телетайпу с областным управлением внутренних дел, которое возглавлял полковник Серегин.

Анатолий Иванович, когда узнал, в чем дело, охотно согласился прилететь в Москву, но сказал, что задержится на два дня. Это Баскова устраивало.

Никаких театральных эффектов они не приготовили. Басков сидел за своим столом, а Серегин в кресле, спиной к окну.

Войдя в раскрытую конвойным дверь, Балакин склонил голову в коротком поклоне и сказал:

— Здравия желаю, граждане начальники.

— Попроще, Балакин, — сказал Басков. — Вот стул, садитесь. Курить хотите?

— Бросил, гражданин майор. Спасибо.

На Серегина, как прежде на Марата, Балакин не обращал внимания и повернулся к нему, только когда услышал:

— Ну, здравствуй, Брысь.

Балакин не удивился.

— Я уже здоровался. А зовут меня так, между прочим, только хорошие знакомые.

— Мы знакомы давно.

— Что-то не припоминаю.

Серегин расстегнул запонку на левой руке, поддернул рукав, обнажив ползущую от запястья к локтю бледно-голубую черепаху.

— Может, вспомнишь? Твоя работа.

Балакин перевел взгляд с черепахи на лицо Серегина, помолчал, и некое подобие улыбки скользнуло по его губам.

— Испания... Как же, не забыл, наколочка моя... А звать тебя?

— Серьга.

— Вы с Эсбэ дружками были... Ключками промышляли...

— И свечками.



Балакин покосился на Серегина.

— Не забыл, значит, свечечки?.. А ты кто ж теперь будешь?

— В милиции служу.

— Угу, понятно.

Балакин ерничал, а это на него совсем не было похоже. Так делают, когда хотят скрыть свое подлинное состояние.

— А что вам понятно? — спросил Басков.

— Психологию разводите. Слезу из меня давите. Так ведь я, гражданин майор, последний раз плакал, когда, извините, от материнской титьки отрывали.

Басков уже видел, что не такой уж он железный, каким хочет казаться, но играть дальше в кошки-мышки не имело смысла.

— Вы угадали, — сказал он. — Хотите, мы тоже погадаем?

Балакин с преувеличенной готовностью подался к нему, изображая наивный интерес, который вовсе не был наивным.

— Ну-ка, ну-ка.

— Будем исходить из того, что не вы напали на Шальнева. Это похоже на правду, верно?

— Похоже. — серьезно согласился Балакин.

— Тогда попробуем угадать, что вас беспокоит. — Басков закурил сигарету, вынул из стола паспорт, положил его под ладонь. — Начнем по порядку... Когда я показал вам ваше письмо, вы подумали, что вас выдал Шальнев. Так?

— Я вам это говорил.

— Потом вы увидели Шальнева в больнице, и подозрение отпало. Так?

— Верно.

— Тогда вы спросили себя: как мы на вас вышли? Ну, тут ясно: нашли полумертвого Шальнева, установили наблюдение за квартирой, перехватили письмо, а дальше все проще пареной репы. Так?

— Ну так.

— Теперь один вопрос, Балакин: вы бы по лицу узнали Шальнева?

— Какое же там лицо...

— Вот именно. — Басков сделал паузу и продолжал: — Значит, установить, что это Шальнев, можно было лишь по паспорту. Согласны?

— И по другим бумагам тоже, — уже деловито поправил Балакин.

— Никаких бумаг при Шальневке не оказалось. В кармане у него нашли только это.

Басков подал Балакину паспорт и мельком взглянул на Серегина, молча следившего за развитием этого разговора, который можно было считать допросом лишь весьма условно. Серегин знал обо всем, что удалось добыть Баскову по делу, в мельчайших подробностях, и он понимал, что сейчас наступил важный момент.

Балакин держал в руках свой собственный паспорт, глядел на собственный портрет и молчал. Желваки вздувались и опадали на его скулах.

— Ну что, Александр Иванович, — прервал молчание Басков, — ловил я вас, когда про Шальнева спрашивал?

— Это было у Эсбэ в кармане? — не отвечая на вопрос, спросил Балакин.

— А откуда же бы попал ко мне ваш паспорт? Или опять думаете, покупают вас?

Балакин молчал.

— Кого покрываете, Александр Иванович, — со вздохом сказал Басков.

— Мне покрывать некого.

— Города, где после колонии жили, боитесь?

— Это вы на меня не навесите, — Балакин поднял голову. — Большое дело — уехал, не рассчитавшись.

Басков поднялся, взял у него паспорт, спрятал в сейф.

— Вы уж и меня за долдона не держите, Александр Иванович. Тут ведь заколдованный круг. И сдается мне, одно имечко все развязать может.

Имя Чистого ни разу еще не всплывало, но наивно было бы полагать, будто Балакин не подозревает, что оно известно Баскову. Однако Басков не желал первым произносить это имя — опять-таки в надежде, что Балакин в конце концов использует оставляемый ему шанс добровольно помочь следствию и тем облегчить не только душу, но, может быть, и будущую свою участь. Если бы он мог признаться этому старому взломщику сейфов в своей симпатии к нему, вызванной еще рассказом Серегина... Да нет, это было бы уж слишком...

Басков, закрыв сейф, сказал Серегину:

— Мне на полчаса надо отлучиться, Анатолий

Иванович. А вы тут посидите, потолкуйте. Наверное, есть что вспомнить.

— А вот Брысь скажет опять, что психологию разводим, — какой же разговор?

Балакин промолчал, и Басков у него за спиной, уже от двери, весело подмигнул Серегину.

— Я Марату скажу, пусть чайку принесет.

И он оставил Балакина и Серегина с глазу на глаз.

## Глава X || БРЫСЬ РАССКАЗЫВАЕТ

— Серьга, стал быть, — после долгого молчания сказал Балакин, не глядя на Серегина. — А вот как звать вас — хошь убей... Память отшибло.

— А ты меня и тогда не знал, как звать. Это мы с Эсбэ тебя знали.

Балакин посмотрел на него.

— На «ты» хочешь? Не брезгуешь?

— Не надо, Брысь. Старые мы уже.

— Я этому молодке говорил, — Балакин кивнул на дверь, — меня еще комары кусают, значит, нестарый. А вы кто же по чину будете, если не секрет?

— Полковник. — Серегин застегнул запонку на рукаве и пригладил волосы ладонью.

— Далеконько разбежались, — сказал Балакин.

Вид у него был очень усталый, и Серегин считал пошлым продолжать разговор в таком невразумительном духе. Не об этом он думал.

— Знаешь, Брысь, — сказал он, сердясь на себя, — я тебя не допрашиваю. — Он тоже кивнул на дверь. — Этот молодка через меня Шальнева опознал, через твою черепашку... Тебе учсть это надо, а вешать на тебя лишнего никто не станет. Сам навешал... Тебе же край. Помоги — легче будет.

— Легче мне не будет, — с усмешкой сказал Балакин. — А вас как все же величать прикажете?

— Еще раз прошу, Брысь, не будь клоуном. Зовут меня Анатолий Иванович.

Балакин упер локти в колени, обхватил голову.

- Записывать будешь?
- Я тебя не допрашиваю.
- Ну тогда с чего начнем?

— У тебя же все в одной завязке. Из клубка две нитки торчат. Хочешь — с Эсбэ, хочешь — с кассы. — Серегин помолчал и добавил совсем другим голосом, сам удивляясь своему волнению: — Ты ж смотри, как сошлось... Ты нам с Эсбэ татуировку делал, в Испанию бежали...

— Брось, Серьга. Черепашки — это для ваших... как их называют-то?.. Для романтиков. А я не про то...

Серегин чувствовал, что не попадал в тон, говорил он с Брысем, и взволновался не к месту, но притворяться не мог. Он сказал:

— В общем, учти, я про тебя много знаю. Я, например, с Ольгой Шальневой говорил.

При этих словах Балакин словно окаменел. Серегин заметил лишь, как дернулись его пальцы, зарытые в густые еще, темные с проседью волосы. Потом он распрямился, пристально поглядел в глаза Серегину.

— Давно видел? — Голос у него стал совсем тихий.

Серегин прикинул.

— Месяц назад.

— И Эсбэ видел? — Вопрос звучал нащупывающе, в нем крылся второй смысл — о времени и месте. Серегин уловил это и ответил так, чтобы стало ясно и невысказанное:

— Там же, где и ты. В больнице.

— Значит, не повидал он Ольгу?

Спросив так, Балакин шагнул сразу через много ступенек, и теперь обоим было понятно, что петлять и хитрить дальше ни к чему. Оставалось одно: вернуться назад и пройти по всей лесенке, не пропуская ни одной ступеньки.

— Не доехал, — сказал Серегин.

Балакин зло прищурился.

— Чистый сработал... Слышал про Чистого?

— Как же.

— Взяли его?

На этот вопрос по правилам отвечать бы не полагалось, но у них шло уже не по правилам.

— Пока не взяли, — сказал Серегин.

— Ну лады, Серьга, колюсь я. Ты прав, тут мне край.

Серегин промолчал. Что ему было говорить? Не спугнуть бы того, что зрело в Балакине.

— Так с чего начнем? — спросил Балакин.

— Давай с совхозной кассы.

— Это, Серьга, ближе к концу... Ты вот про Испанию помнишь, потому как черепашку на руке носишь. Поиняла черепашка, а у меня тут, — Балакин положил ладонь на сердце, — у меня вот тут одна метка сидит, не выцветает, не тушью сделано... Ты женатый?

— Дед уже.

— Вот видишь, а меня если какой молокосос старым хреном любя назовет — и тому рад...

— Ты ж не старый — сам говорил.

— Хорохоримся, Серьга. — И без всякого перехода Балакин спросил охрипшим вдруг голосом: — Тебе Ольга много рассказывала?

— Про тебя разговор был. Как чуть не поженились в пятьдесят седьмом.

— И про китобойную флотилию?

— Говорила.

— И про плен и про десять лет?

— Точно.

— Сам понимаешь, Серьга, то есть Анатолий Иванович... Десятка была, а плена не было... Пудрил мозги девчонке... Эсбэ-то, может, догадывался, да и то вряд ли. Это уж после, когда меня его теща сдала, ему в милиции, может, глаза открыли, а может, и не открыли, а так он голубь. — Балакин помолчал, вспоминая. — Да-а.. А насчет женитьбы — истинная правда... Ты представь, какой я был. Тридцать пять лет, из них пятнадцать по тюрьмам и колониям... Мне, кроме Матрены, ну няньки Олиной и Эсбэ, никто в жизни доброго слова не сказал... Вы с Эсбэ за мной бегали — так вы ж шкеты были... Ну, боялся меня кое-кто — это, знаешь, щекочет, да не греет... А тут залетел в чужое гнездо, посмотрел на Эсбэ, как он с молодой женой друг на друга не надышатся, — завидки взяли... А про Олю что говорить? Насчет женитьбы я не врал. Сначала думал: зачем волку жилетка — он ее все равно об кусты порвет. А потом вижу, полюбил так — режь на части... У меня, понимаешь, это быстро решалось — между посадками времени-то не очень... А тут и копейка честная была — в очко пофартило...

— Это я тоже знаю, в электроградской милиции твое дело видел, — сказал Серегин.

— Мог бы и не видеть. Я тебе все без балды говорю. Не про то речь... Ты скажи, откуда такие берутся — теща эта проклятая? Ладно, я вор, меня по закону надо ловить и сажать. А она людям жизнь ломает — кто ее остановит? Я б ее тогда, если б вырвался... — Балакин остановил себя, передохнул и продолжал тише: — Что заложила — пустяк, это и по дурости бывает или по честности. Не в том дело... Я тогда завязать решил, крепко решил. Думал, вот оформлюсь во Владимире, куда-нибудь устроюсь, копейка на первое время есть. Олю перевезу, распишемся — и все путем... А эта подлая баба приходит — и кранты...

— Игорю она тоже устроила. Жену и сына отняла.

— Это я в Ленинграде от него слышал, — мрачно сказал Балакин. — Из-за меня все и получилось.

— Ну, положим, не только, — возразил Серегин. — У него все равно к тому шло.

— Ты на мою совесть, Анатолий Иванович, бальзам не лей. Я-то знаю.

Серегину на миг показалось, что перед ним сидит не матерый вор Балакин, а тот Брысь, с которым они бежали в Испанию. И, подавляя в себе ненужную Брысю жалость, он спросил ворчливо:

— А о дочке-то когда узнал?

— То особый разговор. Слушай по порядку, а то не поймешь. — Балакин вдруг поднял руку, как школьник за партой, когда спрашивается, чтобы учитель к доске вызвал: — Можно, я пройдусь немного? Поясница затекла.

— Не пижонь. Курить хочешь?

— Я правда бросил.

Балакин прошелся от стены до стены поперек кабинета, растирая поясницу обеими руками. Серегин закурил сигарету и спросил:

— Может, чаю?

— Не надо. Тут небось чай хороший, а мне к хорошему привыкать не годится. — Балакин остановился, поглядел на Серегина. — Никак не разберу, сколько тебе лет?

— Мы с Игорем на два года тебя моложе.

— Законсервировался.

— Видимость одна. Сердечников, знаешь, в гроб кладут как огурчиков.

— Можно, я буду ходить? — В голосе Балакина даже робость слышалась.

— Да хоть бегай, только рассказывай.

— Ты не подумай, Анатолий Иванович, на допросе я бы наизнанку не выворачивался. Только Эсбэ да тебе вот.

— Чую, Брысь.

— Но ты этому своему молодке передай, — Балакин опять кивнул на дверь, имея в виду Баскова, — пусть считает, о чем мы тут толкуем, моими показани-ями. А протокол я подпишу.

— Ну, это нужно все по форме. Времени и у тебя и у него хватит.

— Тоже верно.

Серегин почувствовал, как изменилось настроение после этих почти что стариковских обоюдных жалоб на немочи. Не было надрыва и злости в голосе Брыся, не было у него самого, у Серегина, ощущения непреодоли-мой отдаленности от бывшего своего кумира, а ныне старого рецидивиста.

— Так об чем я? — спросил Балакин, возвращаясь к прерванному рассказу.

— Про дочку твою говорили.

Балакин подумал немного.

— Нет, теперь, пожалуй, надо кассу помянуть... Или ты и это знаешь?

— Опять же по милицейским документам. От тебя интересней будет.

— Не шути, мне вышка светит. В том ящике два-дцать три тыщи было.

— Что ты, Брысь! — с досадой за свои неловкие слова поспешно сказал Серегин.

— Ладно, ты не думай — не плачусь. Что было — не вернешь... Короче, ковырнули мы с Чистым ящичек и смылись. Недели три в лесу отсиживались, под Ки-ровом, в охотничьей избе. Чтобы след простыл... Сам понимаешь, по горячему искать легче. А снабжал нас один ханурик из ближней деревни. За приличную пла-ту, конечно, да и Чистый припугнул его раз, так что не опасались... Ну, сидим неделю, сидим две. Деньгами на-биты, а швырнуть некуда. И взяла меня такая тоска — хоть в петлю. И вспомнил я про Эсбэ. А адресок его

у меня имелся... Понимаешь, получилось такое дело...

— Про адрес можешь не рассказывать. И про подписку на журнал «Вокруг света» тоже.

Балакин кивнул.

— Понятно. Короче сказать, приоделись мы в Кирове и на попутных добрались до Ленинграда... Теперь вижу: лучше б мне туда не соваться.

— Глупо, конечно. В Ленинграде — не в лесу. Ты ж догадывался... На тебя розыск объявлен.

— Я не про то, — возразил раздраженно Балакин. — Не надо было Игоря замешивать, да если бы да кабы... Но ты слушай, пока у меня говорилка работает, а то заткнусь.

— Извиняй, молчу.

Балакин сел на стул, вынул из пачки, лежавшей на столе, сигарету, понюхал табак, но не соблазнился, положил сигарету рядом с пачкой и невесело усмехнулся.

— Видишь, как человек устроен. Вышка светит, а я курево бросил, о здоровье беспокоюсь. Кашлять надоело, дышать трудно.

— Далась тебе эта вышка... Суд рассудит.

— Не будем шлепать, Серьга. Слушай дальше. — Балакин снова поднялся и начал ходить туда-сюда, от стены до стены. — Игорь принял нас как человек, да я и не сомневался... У него, правда, сосед сбоку, такой ухватистый кулачок, но мы его не боялись, в компанию вошел и насчет поддачи — большой любитель... Само собой, мы с Чистым даже Игорю про себя — ни гугу... Вкалывали на Севере, заработали копейку — можем гулять... Наивняк, конечно, а что еще сочинишь?.. После уж я Игорю-то открылся, пришлось открыться... И дурак... Колебался он — ну и пусть бы себе колебался. Ему бы легче было.

— Постой, Брысь, — сказал Серегин. — Неужели он такой ребенок? Он же о твоём прошлом знал. Ты у него в пятьдесят седьмом гостил.

— Тогда он всей моей туфте поверил. Я ж говорю: голубь. За это и люблю.

— Фантастика какая-то. Столько его жизнь клева-ла... Войну прошел...

— Я на войне не был, но так соображаю, Серьга: она хитрованству не учила.

— Это верно...

— Ну вот... Гуляем, значит. Мы с Игорем за жизнь



толкуем, Электроград поминаем. Ну спросил я про Ольгу. Он: живет, мол, дочка уж большая, скоро институт кончает. Замужем Ольга? — спрашиваю. Да нет, говорит, как-то так получилось — не вышла... Это мы еще в первый день про Ольгу толковали, и он, понимаешь, не сказал, чья у Ольги дочка, а я и в мыслях не держал спросить. Больше двадцати лет прошло, мало что у бабы было... А потом раз ночью померекал, прикинул: институт дочка кончает — значит, не меньше двадцати... Аж в ушах зазвенело. Бужу Игоря, а он все время в штопоре был, дурной спросонья. Трясу его: от кого у Ольги дочка? Он хихикает, как блаженненький. Люба от вас, говорит, товарищ китобой, от кого ж еще? Вот крест, чуть я ему тогда не врезал. Какого ж черта сразу не сказал? — говорю. А он: а зачем? Ты для нее умер, утонул в холодных водах Антарктики. И правда, зачем было говорить? Какая теперь разница? Вот так...

Балакин замолк, и Серегин не нарушал молчания. Балакин, шагая, шаркал подошвами, и от этого шарканья Серегину сделалось тяжело на душе. Неужели и он вот так ноги волочит, когда задумывается? Да нет вроде бы. Вспомнился Никитин — сослуживец, которого в минувшем году хватил инсульт. Он с тех пор ходит с палочкой и вот так же шаркает, потеряв всякую уверенность в походке. Но только в походке... А за шарканьем Балакина чудилось Серегину до странности несоответственная, несообразная картина. Он видел раз на Оби, как, подточенный водою, рухнул в реку высокий берег, шурша опрокинувшимися вниз головою деревьями, стоявшими на самом обресе... Какая же боль должна точить человека, чтобы матерый мужичище, которому тюрьмы и колонии давно стали родным домом, вдруг сломался на глазах.

То ли угадал Балакин мысли Серегина, то ли это случайно получилось, но Балакин сказал:

— Подкосило меня... Сам подумай... Ну заложила меня та стерва, не заладилось с женитьбой — я про то забыл, и гори оно огнем. Но дочка, понимаешь... Детеныш... Я ж не зверь. — Балакин остановился, взмахнул рукой. — Нет, не то говорю. Зверь своих детенышей кормит. Как Игорь про дочку сказал, у меня в башке все перетряхнулось... Нет, я не про совесть и прочее... Я себя тогда жалел, первый раз о жизни своей

пожалел... Смеяться будешь, а я детишек всегда любил. Что же выходит? Ну Ольга — это ладно, потерял, забыл, ничего не попишешь. А Ольга и дочка — не тот вопрос. Ольга и дочка и я при них — мне б другого ничего и не надо... Захрапел Игорь, а я лежу, сам себе кино кручу — как бы оно все было, если бы да кабы и если б не та подлая баба. Попадись она тогда — раздергал бы на лоскуты. Считаю, два раза ей повезло... А остыл — и злость прошла. Чего ж все на кого-то валить? Сам не зеленый, мог одуматься — времени хватало. И в Электроград после той посадки заглянуть кто мешал? Да-а, не располагал я, что взвыть могу, ан взвыл. Но локти кусать — проку мало, и я дело расписал... Расклад простой. На двоих было у нас с Чистым девятнадцать кусков от тех двадцати трех. Оставляем себе по три, а тринадцать даю Игорю — он их Ольге отвезет... Утром говорю Чистому — он, конечно, на дыбы. Это, знаешь, понять можно. Мы-то, помнишь, как смотрели? Пить — так пить мадеру, любить — так королеву, а воровать — так сразу миллион. Да не все по-нашему думают. Развелся такой народец: пока деньга только еще светит, в кармане у тебя целковый, а у него вошь на аркане, так все пополам, а вот взяли куш, поделили — ты у него из пальцев клещами двугривенный не вырвешь, про всякое пополам ему слушать тошно, обижается. Но Чистый меня знал. И ящичек-то я разведаль, я и ковырнул, а его мог бы в стороне держать. Он охранника снял, но за это половинная доля — хорошая цена, я с ним по-людски обошелся. Короче, пошебаршил, а деваться ему некуда, он передо мной — шестерка...

Дверь открылась, в кабинет вошел Марат Шилов с подносом. На подносе стояло два стакана чаю.

— Извините, товарищ полковник. Вот чай.

Балакин посторонился, давая ему пройти к столу. Марат поставил поднос на стол и вышел.

— Все-таки давай по стакашку, — сказал Серегин. — Не привыкнешь. Да и не такой уж он хороший, судя по цвету.

— Ну давай. — Балакин сел на стул, взял стакан. Чай был горячий, и он поддернул рукав пиджака на ладонь, подложил под донышко, размешал сахар, отпил половину и спросил: — Не утомился слушать?

— Брось ты.

— Тогда поехали дальше. — Балакин допил чай, поставил стакан на поднос. Но прежде чем продолжить, расстегнул пиджак и сказал: — Жарко.

— А ты сними.

— И то правда. — Балакин снял пиджак, сложил его на коленях. — Ты учти, Анатолий Иванович, оправданья не ищу, а сказать надо: я по мокрому никогда не ходил, а что охранника чуток тюкнули — нужда заставила, по-другому нельзя было. Я Чистого тогда предупредил: оглуши, но чтоб очухался, а то самого удавлю. У Чистого кожаные перчатки были, в правую он свинцовый блин под подкладку заделал...

Серегин не выдержал:

— Гуманный метод, а? — Сказал и выругал себя, потому что Балакин посмотрел на него, как показалось Серегину, отстраненно, словно их разделяла решетка.

Но Балакин и после этих слов не желал видеть перед собой полковника Серегина, он видел Серьгу.

— Я не отмываюсь, да мне и не отмыться. Сам себя понять хочу.

— Не обращай внимания, Брысь. По-разному дышим. Во мне моя профессия сидит.

— Стало быть, и про охранника, и про Чистого, и про перчатку со свинчаткой — все в дело сгодится. Так что замнем... — Балакин встал, кинул пиджак на стул и опять начал ходить. — Не в том главное, мне главное — Игорь. Через меня ж он под свинчатку попал.

— Ты уверен, это Чистый?

— Ну говорю тебе, кто же еще? — Балакин вдруг застонал. — Эх, дотянуться б до него.

— Найдем, не сомневайся.

— Вы-то найдете, а мне что? Разве, коль помилуют, в колонии свидимся. — Голос у Балакина подрагивал, будто он сдерживал рвущийся из горла крик.

— На тебе никогда крови не было.

— Тут, Серьга, не вам рядить. У меня с ним свои дела.

Серегин глядел на Балакина и в эту минуту понимал, почему именно умел он держать в узде самых отпетых уголовников по всем колониям, в которых ему доводилось отбывать срок. Но миновала минута, сник Балакин, опустились широкие плечи. И голос, когда он вновь заговорил, стал хрипловатым.

— Ну слушай дальше... Мне бы надо все втихую

обстряпать. Кому деньги, зачем деньги — Чистому знать необязательно. Но это я сейчас смикнул, а тогда в открытую с ним шел, свой же человек, он даже знал, что Игорь в конце июля в гости к Ольге собирается... Короче, завернул тринадцать тыщ в газету, велел Чистому к соседу умотать и зову Игоря из кухни, он там что-то жарил. Объясняю — вот пакет, отвези Ольге. спрашивает: сколько тут? А потом за сердце схватился и говорит: она не возьмет. Говорит: думаешь, я не понимаю, откуда эти деньги? И кто такие вы с Митей? Я ему: черт с тобой, понимай, как хочешь, а ей наври, скажи, честные деньги. Он говорит: это на полного идиота рассчитывать. Не возьмет. И тут, как тогда ночью, когда он про Любу сказал, хотел я ему по роже дать. Прав ты, Серьга, можно быть голубем, но что-то ж в жизни надо разуместь. Кто это от тринадцати тыщ откажется, когда дают?

Серегин взглянул на Балакина и неожиданно для себя почувствовал неприязнь к нему. Но сразу к неприязни примешалось что-то вроде соболезнования или, пожалуй, сострадания, а когда он задал вопрос, то в нем, кажется, звучала и насмешка.

— Ты полагаешь, нет таких людей, чтобы от краденых денег отказались, если все втихую?

— От тринадцати целковых и дурак откажется, а вот от тринадцати тыщ — навряд ли. А ты таких видал?

— Случая не было, но, думаю, есть.

Серегин понял, что их разделяет кое-что покрепче решетки.

Горько стало ему. Сейчас, глядя на Брыся, он впервые, может быть, с такой острой отчетливостью ощутил, какой большой кусок жизни прожит. Он не гляделся в судьбу Брыся как в зеркало — слишком разные сложились у них судьбы. Но ему вспомнился далекий тридцать седьмой год, вишневого цвета упряжная дуга с облупившимся лаком, из которой они с Эсбэ мастерили клюшки, вспомнилось, как Брысь учил их в сарае курить, как торговали свечками в деревне, как лихо крутил сальто Брысь и как беззаветно они с Эсбэ его любили. И воспоминания эти словно раздули покрытый толстым пеплом уголь, тлевший в груди у него, — уголь из костра давно погасшего, но когда-то гревшего одинаково их всех. Обезоруживаю-

щее теплое чувство ребячьей общности нахлынуло на Серегина, и нелепым показалось ему, что вот он, бывший Серьга, преклонявшийся перед Брысем, стал полковником, а Брысь, который на два года его старше, так и остался Брысем и через несколько недель или месяцев будет в седьмой раз приговорен судом — может быть, к смертной казни. И нелепо было тоже, что Игорь Шальнев, бывший Эсбэ, лежит сейчас бесчувственный и, в сущности, пока неживой, и его жизнь, если разобраться, составила ненамного лучше, чем у Брыся. Все имеет начала и концы, и разумом соединить их не так уж трудно. Но какой ниткой свяжешь голубую отроческую мечту Брыся о морской службе с ограбленной им совхозной кассой? Как свяжешь неистребимую отвагу и неунываемость двенадцатилетнего Эсбэ с его жалкой беспомощностью и безволием перед какой-то наглой, ничтожной бабой, вообразившей себя олицетворением морали.

Бессмысленное озадачивание, наподобие того, как телевизионные репортеры с заученным придыханием и мнимомногозначительным подтекстом спрашивают кого-нибудь из предварительно выбранных собеседников: «Какую черту характера вы цените выше всего?», а интервьюируемый с серьезным видом отвечает: «Доброту» или «Смелость»... Все равно что спросить у леса, какое в нем дерево самое важное...

Балакин молчал. Серегин повторил свой вопрос, и теперь в голосе его уже не осталось ни неприязни, ни соболезнования, была одна лишь горечь:

— Полагаешь, нет на свете таких людей?

Но Балакин ничего не уловил — наверно, уши у него были с фильтром, о котором сам он и не догадывался. Балакин сказал:

— Один, может, и есть... Игорь... И то взял. С уговором, правда, но взял.

— И какой был уговор?

— Согласился он наврать Ольге... Ну туфту про Север. Совесть, мол, меня заела, решил вину загладить. А не примет денег — он оставит у себя, будет подарочки Любе делать. Это я его так просил, а он ежится, ежится — глядеть не могу. Из себя вывел, хоть на стенку лезь. Черт с тобой, говорю, не возьмет — придержи для меня. Спишемся, заеду, а не заеду — выброшь их, сожги, съешь, что хочешь делай. А в мили-

цию, спрашивает, сдать можно? Ну что такому скажешь? Сначала, говорю, попробуй сдать их Ольге. Уломал, а теперь вижу: не надо было. Может, и получилось бы, да Чистого я не учел. Не раскусил гада.

Балакин умолк, и Серегин понял, что продолжения не будет. Да и что еще, собственно, мог он рассказать?

— Спасибо за откровенность, Брысь.

— Тебя этот политичный майор специально вызывал, со мной потолковать, — не то спрашивая, не то желая услышать подтверждение, сказал Балакин.

— Сам видишь, как сошлось. Черепашки нас троих свели. Это ведь я Игоря опознал, а то бы не скоро еще майор его личность установил.

— Игорь в порядке будет?

— Ты же ездил, смотрел. Теперь уж не помрет, а каков будет, кому известно?

Серегину показалось, что Балакину хочется о чем-то спросить, и он не ошибся.

— Слушай, Анатолий Иванович, — сказал Балакин, — если можешь, растолкуй, ради Христа, зачем Чистый ему в карман мой паспорт сунул?

— А ты как считаешь?

— За меня хотел его выдать? Но ты посуди — отпечатки. Я же у вас в картотеке. Минута работы — и вся липа наружу. Что ж он вас, за фрайеров держит?

— Правильно мыслишь, — сказал Серегин. — Значит, не для этого паспорт твой...

— На меня наводил?

— Ничем другим не объяснишь. А Зыкова паспорт, между прочим, как у тебя оказался?

— А! — Балакин словно от мухи отмахнулся. — Чистый у него стянул. На карточке я похож... Мне все равно чужая ксива нужна была.

— А свой паспорт ты ему отдал, Чистому?

— Ну да.

— Неосторожно.

— Он сказал: на кухне над газом сжег. Я в тот день сильно бухой был.

— Вот тебе и Чистый.

— Молчу, Серьга. Кому поддался... Срам...

— А что вообще-то Чистый собой представляет?

Ответил Балакин не сразу, словно ему затруднительно было определить своего напарника «вообще», словно он никогда прежде об этом не задумывался.

— Котелок у него варит. Но жмот. Ненасытный. На этом и сгорел.

— То есть? — спросил Серегин.

— Он в Москве таксистом был. Сам знаешь, таксисты неплохие деньги имеют, а у Чистого семьи нет, одна мать. Но ему мало было. Завел он одну красотку и на нее, как на живца, бухариков ловил. Подъедут к гостинице, она зафалует командированного, в машине угостят винцом, а в винце снотворное. Потом оберут и в темном месте выбросят. Проще гвоздя.

— Ты говоришь, на жмотстве сгорел Чистый? А как это?

— Тут одно за одно цепляется. Работал бы себе, крутил баранку — чего еще? Ну по бухарикам ударил. На мой метр, грязное дело, но они с этой девкой не брезговали — ну и жируй, пока на умного не нарвешься. Нет, ему несытно было, хотя, гаденыш, на книжку складывал. Решил специальность менять, нашел какого-то амбала двухметрового в помощники, и начали они вместе с девкой квартиры грабить. Выбিরали на прозвон. Чистый в машине сидит, а эти двое идут по этажам. Звонят. Если дома кто есть, она спрашивает: Петровы тут живут? Ах, извините, ошибочка. А если нету... Какие в новых домах двери? А попались они потому, что Чистый по натуре жлоб. Грабанули квартиру, амбал чемоданы в машину притащил и говорит: ковры там по стенкам висят, как у иранского шаха. Чистый послал его за коврами. А дело днем было, они всегда днем работали. И, оказывается, бабка из этой квартиры к соседям на минутку ходила. Пока амбал чемоданы таскал, она вернулась — смотрит, в квартире все вверх дном, перепугалась, конечно, опять к соседям, те по телефону в милицию, а отделение рядом. Бабки услышали, как амбал опять в квартиру вошел, шуровать начал, а что они могут? Валерьянку пить? Ну амбала накрыли, когда он ковры в трубку скатывал. Чистый со своей красоткой смылся, да ненадолго. Заложил его амбал. — Балакин усмехнулся и добавил: — Мы с Чистым в колонии на одних нарах жили, бок о бок. Ложимся спать, и обязательно кто-нибудь да крикнет ему на ночь: «Эй, Чистый, ты бы коврик постелил, все мягше». Зубами скрипел.

— Где-то он сейчас гуляет... — задумчиво сказал Серегин.

— Есть один следок.

Серегин давно почувствовал: если Брысь знает хоть приблизительно о возможном местопребывании Чистого, то скрывать не захочет. А это для угрозыска сейчас главный вопрос.

Но, тронув самую горячую точку и убедившись, что не ошибся в своих предположениях, Серегин испытывал чувство, не подобающее, может быть, его служебному положению и вредное для высших интересов дела. Словно он пользуется слабостью человека, злоупотребляет своей властью над ним, властью, не основанной ни на чем, кроме общих для них двоих воспоминаний детства. Это очень большая власть.

Серегин поднялся с кресла.

— Слушай, Брысь. Я завтра улетаю домой, к себе в Сибирь. Так что, пожалуй, лет десять не увидимся.

Балакин посмотрел на него из-под бровей, хмыкнул.

— Десять, говоришь? У прокуроров мерки другие.

— А ты себя не отпевай, ты вот что... Майор Басков, между нами, парень очень приличный. И людей понимает, хотя намного нас моложе.

— А что майор? У меня за горбом столько намотано, да еще эта касса. Суд все сочтет.

— Не мне тебя учить. Суд не одно это сосчитает.

— Я с повинной не пришел.

— Ты майору все, что мне рассказывал, выложишь?

— Само собой. Что ж его морочить? Мне-то все равно крышка.

— Погоди... Заладил... Чистосердечное признание на суде тебе зачтется? Зачтется. С Чистым майору помощи — это поважнее всякого признания будет.

— Отпусти — сам найду.

Серегин улыбнулся.

— Ну вот, ты уже и шутишь. Значит, в порядке.

Опустив голову, Балакин спросил:

— У Эсбэ нянька была, помнишь?

— Ну как же, Матрена.

— Она говорила: все в порядке — огурцов нет, остались одни грядки.

— Ничего, какие наши годы? До свиданья пока.

— Прощай, Серьга.



На следующий день допрос был коротким. Басков сказал:

— Мне Анатолий Иванович кое-что передал из вашей беседы, но это мы пока отложим, это терпит. Давайте поговорим о Чистом.

— Спрашивайте, — сказал Балакин.

— У меня один вопрос: где он сейчас? У вас, кажется, адрес имеется.

— Дал мне Чистый один адресок, да теперь, думаю, пустой номер потянете.

— Почему же?

— Мы уговорились, эта хаза... как у вас называется?.. Ну почтовый ящик, что ли. Если ему меня или мне его сыскать потребуется — дать хозяйке знак.

— Так почему же пустой номер? — все еще не понимал Басков.

— А вы, гражданин майор, Игоря Шальнева за кем числите?

— За Чистым. Но могу и ошибаться.

— Не ошибаетесь. А коли так, он меня боится не меньше, чем вас. А может, больше.

— Похоже рисуете. А кто хозяйка?

— Любовь его. Письма в колонию писала.

— Это где?

— Недалеко. Станция Клязьма.

Басков зажег спичку, дал догореть до пальцев, перехватил другой рукой за обуглившуюся головку, и спичка сгорела вся, изогнувшись черным червячком.

— А он знает, что Шальнев должен в Харьков вам написать, как съездит в Электроград?

— Про это я не говорил.

Басков повеселел.

— Чистый встретил Шальнева двадцатого июля. Месяц прошел, всего месяц. Боится он вас — это понятно. Только как же вы могли про их встречу узнать?

Басков спрашивал больше у себя самого, поэтому Балакин молчал, не мешал ему.

Закурив, Басков задал вопрос Балакину:

— А вообще-то, что вы в Харькове остановились, ему известно?

— Я на юг держал, а в Харькове буду или где — сам не ведал.

— У кого жили в Харькове?

— Так, случайно со старичком одним столковались, тридцатку за месяц.

— Почерк ваш Чистый узнать может?

— Откуда, гражданин майор?! На одних нарах жили — переписываться не надо.

— Ну это ничего. Давайте-ка составим ему письмо. — Басков взял из стопки серой, газетного вида писчей бумаги один лист, сложил его пополам. — Садитесь поудобнее...

Балакин придвинулся к столу. Басков дал ему бумагу и шариковую ручку, спросил:

— Вы как друг дружку звали?

— По именам.

— Так. Значит, пишем: «Дорогой Митя...»

— «Дорогой» ни к чему, — перебил Балакин.

— Угу, — согласился Басков. — Знаете что, сочините сами, но чтобы смысл был такой: я, мол, отобрал у тебя в Ленинграде деньги, а теперь хочу компенсировать, наклевывается подходящее дело, решай, а если не хочешь, так я управлюсь и один. Жду ответа. И харьковский адрес.

Внимательно слушал его Балакин, а выслушав, положил ручку.

— Не клюнет он, гражданин майор.

— Неважно. Вы напишите, как лучше.

Расчет у Баскова был простой. Пусть Чистый и не видел никогда почерка Брыся, но о деньгах-то знают только они двое — стало быть, не засомневается Чистый, что письмо от Брыся. Брысь прав — он не клюнет, но не на этом строил свой план Басков.

Письмо в пять строчек далось Балакину нелегко. Но, испортив несколько листков, он написал так:

«Митя я свой должок не забыл твои шесть с полтиной верну. Сосватал тут один домишко дорого просят но хозяев уговорить можно. Дай знать согласен ли. Жду. Саша». И внизу — харьковский адрес.

Писал Балакин грамотно, если не обращать внимания на отсутствие запятых.

— Еще один вопрос, — сказал Басков. — Вы у охранника пистолет сняли. Он у Чистого?

— Да.

— А стрелять Чистый умеет?

— В армии служил.

— Ну хорошо, на сегодня довольно.

## Глава XI || „БЕРЕМ ЧИСТОГО“

Еще до того, как клязьминская любовь Чистого получила письмо из Харькова, майор Басков знал о ней почти все, что можно выведать о человеке, не бросая на него тень расспросами людей, так или иначе с ним соприкасающихся. Она работала в Москве парикмахером в одном из новопостроенных салонов, в мужском зале, и была отличным мастером. Год рождения — 1949-й. Есть сын десяти лет, зовут Сергей (по отчеству Дмитриевич). Зинаида Ивановна Сомова никогда в браке не состояла. Владеет половиной дома, переписанной на нее ее матерью, ныне пенсионеркой. Что еще? В конфликт с законом не вступала. Марат Шилов, ходивший к Зинаиде Сомовой стричься, сказал: симпатичная женщина.

Если верить добытым сведениям, Чистый у Зинаиды Сомовой в промежуток между двадцать первым июля и двадцатым августа не показывался. Во всяком случае, соседи не видели, а они Чистого, судя по всему, хорошо помнили: на такси приезжал, за рулем. Известная вещь: сосед про соседа всегда больше знает, чем о себе самом. Если б Чистый даже ночью к Сомовым невзначай тихой сапой проник, все равно чей-нибудь бессонный зрак или чуткое ухо засекли бы постороннее явление. А тут — ни шушу...

Правда, Чистый мог навестить Сомову в салоне, но то, что он предпочел не показываться у нее дома, не сулило Баскову скорой удачи. Когда вор бежит от двух погонь сразу — от угрозыска и от собственного брата, вора, — такого бегуна быстро не настигнешь.

В Москве жила мать Чистого, пятидесятирехлетняя женщина, работавшая в отделе технического контроля одного большого завода. Она занимала двухкомнатную квартиру, которую делила со своей дочерью, младшей сестрой Чистого, вышедшей замуж в то время, когда ее братец отбывал срок в колонии. На этой квартире Чистый тоже не появлялся. Мать и сестра вестей от него не имели.

Вся надежда была у Баскова на письмо. Получит

его Сомова — что-то с ним делать надо. Щепетильная штука, конечно, если она переправить почтой захочет по другому адресу. Но это ерунда, в таких случаях особенно щепетильничать не приходится: главное — чем быстрее, тем лучше, потому что преступник с «пушкой», и как он ее употребит, никому не известно.

За те трое суток, что Сомова находилась под наблюдением, ничего подозрительного заметить не удалось. Письмо, посланное Басковым, было получено на четвертые сутки утром. В тот день Сомова по графику работала во вторую смену — с 15 до 22 часов, но вышла из дому в десять, буквально через пять минут после ухода почтальона. Басков, получив сообщение об этом, вздохнул облегченно — кажется, надежда на письмо начинала оправдываться. Но оказалось, что Сомова спешила в Москву совсем по другой причине: чтобы встретить сына, которого привезли на автобусе из пионерского лагеря. Между прочим, десятилетний Сергей своим прямым носом и широко расставленными глазами очень похож на Чистого.

Радостная, Сомова увезла сына домой на такси, а в половине второго снова покинула Клязьму и на электричке вернулась в Москву.

В пять часов она позвонила с работы по телефону подруге, которая в это время тоже была, вероятно, на службе, так как Сомова сказала в трубку: «Попросите, пожалуйста, Тарасову». А затем состоялся короткий деловой разговор. «Тоша, как дела?» — спросила Сомова. «Нормально». — «Пьет?» — «Вроде поменьше». — «Скажи, пусть немного остановится. Ему свежая голова нужна. Я сегодня приеду». — «Во сколько?» — «Я же во вторую... Около одиннадцати буду. Еда у вас есть?» — «Если чего прихватишь — не мешает».

После этого Сомова отправилась в расположенный неподалеку от салона продовольственный магазин, вошла в него через служебный вход и вскоре вернулась с увесистым свертком из плотной бумаги.

В начале одиннадцатого она вышла из салона, пересекла улицу и встала с вытянутой рукой. Вскоре возле нее затормозила «Волга» со служебным номером, она коротко поговорила с водителем и села в машину. «Волга» держала путь в сторону Дмитровского шоссе,

а затем помчалась прямо и привезла пассажирку в Бескудниково.

Сомова вошла во второй подъезд пятиэтажного блочного дома, лифтов в котором не было, и поднялась на третий этаж. В этом доме она и заночевала.

Рано утром Баскову сообщили, что гражданка Тарасова живет в квартире № 23, квартира двухкомнатная.

Тарасова ушла из дому в восемь часов, а Сомова осталась.

Басков имел основания думать, что Чистый здесь. Взять его побыстрее — и конец. Но, зная за собой грех нетерпеливости, он вызвал инспекторов Сергея Фокина и Ивана Короткова, выделенных в его распоряжение, с которыми он брал в Харькове Брыся. Они люди основательные, неторопливые, они все уравновесят. Да и не считал он себя вправе самолично разрабатывать, хотя бы и вчерне, операцию по задержанию Чистого, вооруженного пистолетом, тем более что Короткову и Фокину предстоит в ней участвовать.

Самое неприятное заключалось в том, что Чистый окопался в большом густонаселенном доме.

Марат Шилов ходил в соседний дом, точь-в-точь похожий на тот, где обитала Тарасова, в такую же квартиру, объяснив ее хозяевам, что собрался меняться с жильцами из квартиры этажом выше, а их не оказалось на месте. Марат, вернувшись на Петровку, начертил план, и выглядело это так: прямо против входной двери ведущий в кухню короткий узкий коридорчик, на левой стене которого две двери, в ванную и туалет; справа от входной двери — дверь в комнату, слева — еще один коридорчик и в конце его дверь во вторую комнату. Если Чистый пожелает открыть огонь, вошедшему придется худо, так как Чистый может стрелять с трех позиций — или из комнат, которых две, или из кухни.

О том, чтобы проникнуть в квартиру под видом слесаря сантехника, или электрика, или кого-нибудь там еще, ни Басков, ни его помощники и не помышляли. Рассчитывать на наивность Чистого было бы глупо.

Есть, понятно, естественный вариант: объяснить все Тарасовой, приехать вместе с нею, она откроет дверь квартиры, а там — как получится... Вот именно — как получится. А может получиться так, что Чистый начнет

стрелять. А впереди тебя женщина, и вроде ты ею прикрываешься. Не годится... Можно просто взять у Тарасовой ключ от квартиры, войти, а остальное опять же, как говорится, на волю божью. Но затаившийся в своем убежище Чистый не настолько беспечен, чтобы принять вошедших за кого-нибудь, кроме милиции, — все равно откроет огонь. Да и дверь может оказаться на цепочке. И вообще Басков никак не хотел впутывать Тарасову, хотя с его стороны это было несколько непоследовательно: если у нее в квартире именно Чистый, она и так уже впутана...

Но что еще?

Ждать, авось он выползет на улицу? А зачем ему выползать, если две женщины еду и спиртное носят и даже личная парикмахерша на дому навещает. А главное, стрельба на улице совершенно исключалась — по улице люди ходят.

Ну, положим, когда-нибудь он оставит это гнездо, можно будет проводить его до удобного места, чтобы исключить риск для посторонних граждан, и там взять. Но когда ему надоест отсиживаться в Бескудникове? Сколько дней придется держать засаду? Себе дороже...

Нет, тактика пассивного ожидания не годилась. Коротков и Фокин были в этом согласны с Басковым.

— Хорошо, — сказал довольный их решением Басков. — Но надо все-таки потолковать с Тарасовой...

...Антонина Тарасова работала, как и ее подруга Сомова, парикмахером, но в другом салоне. Басков представился заведующей и попросил позвать Тарасову сейчас же, сию минуту. Та пришла с ножницами и расческой в руках — оставила клиента. Басков и ей показал служебное удостоверение, но она глядеть и не подумала — растерянна была, голубые глаза раскрыты широко и не мигают, словно у ребенка, которому рассказывают страшную сказку.

— Вы присядьте, — как можно приветливее пригласил Басков, когда любопытная заведующая вышла и прикрыла за собою дверь.

Тарасова села, опустила руки с ножницами и расческой на колени.

— Извините, Антонина...

Но Тарасова не уловила по паузе, что он не знает ее отчества, и Басков повторил:

— Антонина...

— Михайловна, — наконец робко подсказала она.

— Вы не волнуйтесь, Антонина Михайловна, мы к вам за помощью.

— Пожалуйста.

— Кто у вас живет?

— Знакомый подруги, Зины Сомовой.

— Зовут его как?

— Митя.

— А фамилия?

Она смутилась, пожала плечиком.

— Да вот не знаю. Мы ведь с нею недавно дружим, она не говорила фамилию. Попросила просто, чтобы пожил. Мои сейчас на юге, до школы...

— А он кто?

— Честное слово, не знаю.

— Ничего странного не замечали?

Она понемногу пришла в себя.

— Пьяница, по-моему. И из дому ни ногой.

Басков достал из кармана три фотокарточки, на одной из которых был изображен Чистый, показал их Тарасовой. Она тотчас его узнала, ткнула в карточку расческой.

— Он. — Глаза у нее опять сделались большие и круглые.

— Вы ни о чем не беспокойтесь, но мне нужны ключи от вашей квартиры.

— В сумочке они.

Тарасова сходила за ключами и вернулась уже без ножниц и расчески.

— Я вас попрошу: после смены не уходите с работы, дождитесь, мы вам вернем ключи. Это нетрудно?

— Да нет, что вы.

Уже собравшись уходить, Басков спросил:

— У вас на двери цепочка есть?

— Нету, но он запирает замок на защелку.

— Ну спасибо...

Было ровно 14.00, когда по радию сообщили, что Сомова покинула квартиру в Бескудникове. Басков пошел к начальнику, изложил план и получил одобрение. Через полчаса в его распоряжении была машина с телескопическим подъемником, из тех, что работают на ремонте трамвайных и троллейбусных силовых линий.

В группу захвата вошли сам Басков, Фокин, Коротков и Шилов. Прикрывать их будет ПМГ — подвижная

милицейская группа. Басков попросил отрядить с ним врача из дежурной опергруппы, спокойного молодого человека с рыжеватыми усиками.

В 15.30 четыре машины, три легковые и ремонтная, выехали с 3-го Колобовского переулка.

Свою колонну Басков остановил метров за сто от дома.

— Значит, так, — сказал он. — Коротков и Шилов в подъезд, к квартире. Но тихо, себя не обнаруживать. Если Чистый станет прорываться — стреляйте, но чтоб не напавал. А так — ждите меня.

Коротков и Шилов ушли. Басков уточнил с экипажем ПМГ, как им действовать, если Чистый все-таки сумеет вырваться из дома. Врачу он велел ждать в машине, а сам вместе с Фокиным пересел в желто-красный ремонтный автоагрегат.

Все три окна квартиры № 23 выходили на одну сторону и смотрели на шоссе. Под окнами вдоль дома тянулась полоска кустов барбариса, не успевшего подняться еще и до высоты человеческого роста.

Басков показал шоферу окна, которые его интересовали, и попросил поставить машину с таким расчетом, чтобы корзина, когда она поднимется на телескопической своей шее, оказалась перед одним из крайних окон. Среднее окно — это кухня, а два окна по бокам — комнаты. Во всех трех окнах были открыты только форточки. Окна комнат задернуты тюлевыми занавесками.

Басков хотел своими глазами увидеть, что Чистый на месте.

Машина, тяжело качнувшись с боку на бок при съезде с асфальта, остановилась на траве. Водитель вылез из кабины, помог Баскову устроиться в сплетенной из железного прута корзине, вернулся за баранку и включил механизм, управляющий подъемником. Корзина с Басковым поднялась на высоту третьего этажа, и машина задом медленно двинулась вдоль стены дома...

На комбинацию с ремонтной летучкой натолкнул Баскова случай с соседом. У того жена была в санатории, а сам он, уходя утром на работу, забыл ключи в другом костюме. Он, не будь дурак, сговорил водителя летучки, подняли корзину до четвертого этажа, разбили стекло, и все в порядке, дверь ломать не пришлось...



Корзина застыла перед крайним окном квартиры № 23. Басков постучал согнутым пальцем по стеклу. С полминуты — никакого ответа...

— Это, значит, она, девятая? — крикнул Басков вниз, будто бы какому напарнику.

Квартира № 9 была тоже на третьем этаже, но в соседнем подъезде, встык с квартирой второго подъезда, но не с № 23, а с № 22.

— Бьем, значит? — снова крикнул Басков.

Но тут тюлевая занавеска чуть откинулась, и Басков увидел Чистого. Лицо опухшее, искаженное многодневной пьянкой, но Басков его узнал. Спутать невозможно, хотя на тюремных карточках Чистого запечатлевали трезвым.

— Извини, друг, тут в девятой мужик дверь захлопнул, а ключи забыл, — сказал Басков в открытую форточку и махнул рукой водителю. Тот сдал машину на метр назад и опустил корзину вниз.

Басков начал с этого момента слышать стук собственного сердца.

Выхватить бы из-под мышки «Макарова», всадить девятимиллиметровую пулю в правое плечо — и вся недолга... Мог бы, да нельзя. Может, у Чистого давно и нет того пистолета, выбросил где-нибудь в речку. Ему, Баскову, первому в таких неопределенных обстоятельствах стрелять не положено.

Уловка на этом была исчерпана. Бить стекла в квартире № 9 Басков не собирався.

Он вылез из корзины, Фокин занял его место, успев шепнуть:

— На месте?

Басков кивнул и тихо сказал:

— Услышишь стрельбу — лезь в комнату... И по обстановочке...

Басков обогнул дом, вошел в подъезд, поднялся на третий этаж, где в простенке между дверьми стояли Коротков и Шилов. Коротков держал в руке маленький ломик — фомку.

На двери квартиры № 23, обитой черным дерматином, поблескивал выпученный, как у страдающего базедовой болезнью, глазок. Ни к чему был сейчас этот глазок...

Басков подмигнул Короткову и заметно побледневшему Шилову и попробовал открыть дверь ключом.

Она не открывалась. Тогда он нажал кнопку звонка и присел на корточки — это была непростительная ошибка. Он тут же, ровно в один миг, услышал глухой хлопок, увидел возникшую вдруг в черном дерматине дверной обивки маленькую дырочку на уровне своей груди, чуть левее, и ощутил ожог на левом боку. «Касательное», — мелькнуло в голове, а Коротков, схватив его за плечо, оттащил от двери к простенку.

Басков крикнул:

— Чистый, сдавайся!

— Куда тебя? — спросил Коротков.

Басков разогнулся, выпрямился во весь рост, растегнул пуговицу пиджака, выпростал из-под брюк рубаху и майку. На левом боку, пальца на три пониже соска, кровоточила длинная рана — словно Басков ободрался о сук.

— Я ж говорю — касательное. — Басков об этом не говорил, а только подумал, но сейчас было не до того. Он заправил рубаху и майку, и тут они услышали звон разбитого стекла и еще один хлопок, погромче первого. Значит, Фокин проник в квартиру и успел выстрелить.

Еще один хлопок — Чистый стрелял. И голос Фокина:

— Он в комнате справа от вас.

— Давай! — обернулся Басков к Короткову.

Коротков поддел ломиком дверь у самого замка, нажал — дверь открылась. Чистый справа выстрелил дважды через комнатную дверь. Две дырки, на метр от пола, брызнули какой-то трухой, и дважды истерически взвизгнули в противоположной комнате скриковавшие пули.

Басков проскочил в кухню, следом — Коротков и Шилов. Коротков тоже уже держал в руке пистолет.

— Сергей, — сказал Басков Фокину, — ты оставайся там.

— Хорошо, — откликнулся Фокин, стоявший за косяком в той комнате, куда улетели пули.

После двух последних выстрелов Чистого уши немного заложило, и Баскову казалось, что он говорит слишком тихо, а на самом деле он крикнул в полный голос, когда вновь обратился к Чистому:

— Последний раз предлагаю: сдавайся, Чистый! У тебя пять патронов, а нас тут много.

— А этого не хотел? — крикнул из-за двери Чистый. Судя по голосу, он был пьян.

Басков поглядел на Короткова.

— Прения затягиваются, Ваня. Что делать будем?

— Может, Фокину подвинуться в люльке к тому окошку?

— Чистый по нему палить начнет. Зачем подставляться?

— Верно. — Коротков по своей привычке прицокнул языком, подумал и спросил: — А охотничка помнишь?

— Ну?

Это была первая их с Коротковым совместная операция. Вернувшийся с удачной охоты и совершенно обезумевший от выпитого житель одного пригородного поселка открыл огонь из двустволки по соседнему дому, где жили люди, которых он почему-то считал своими недоброжелателями. Ранил старуху и малолетнего парнишку. Счастье еще, что дробь была мелкая, шестой номер. Когда пришел участковый, охотник забаррикадировался в бывшей котельной и в ответ на увещевания грозил, что изрешетит всякого, кто посмеет сунуться в дверь. Посланные на место происшествия Басков и Коротков поступили тогда просто. Вышибли дверь и пошли на озверевшего охотника. Коротков нес перед собою пуленепробиваемый щит, а Басков у него за спиной — с пистолетом в руке, чтобы, выбрав миг, выстрелить наверняка. Но стрелять не пришлось. Охотник шархнул из обоих стволов разом — Коротков еле на ногах устоял от удара дроби в щит, а низкий закопченный потолок покрылся свинцовыми брызгами. Перезарядить ружье охотник, конечно, не успел...

— Тут не охотничек, Ваня, — после недолгого молчания буркнул Басков.

— А какая разница?

— Не скажи. У Чистого еще пять патронов.

В комнате, где был Чистый, что-то загремело. Коротков тронул Баскова за плечо.

— Смотри-ка.

Басков взглянул туда, куда глядел ствол Иванова пистолета. На полке над вешалкой в коридорчике покоилась, как отрезанная, женская голова. Лицо розовое, красные губки бантиком и глупые голубые эмалевые глаза. И на голове лиловая шляпка с узенькими полями. Басков не сразу сообразил, что это муляж.

— Ну и что? — спросил он Короткова.

— Покажем ему. Дверь ногой нараспашку, я сверху сую эту головку, ты стреляешь. А хочешь — наоборот.

— Он на эту рожу посмотрелся уже.

— Не разберется.

— Не будем, Ваня. Давай проще, — тихо сказал Басков, а добавил громче: — Фокин, как свистну, стреляй три раза по двери — и за нами. — И опять тихо, уже Шилову: — А ты открой в кухне окно и наблюдай. — Басков подвинулся ближе к закрытой двери. — Жалко, знать бы, как там мебель стоит... Ну ладно, начнем, Иван.

Басков тонко свистнул. Трижды грохнул пистолет Фокина. Басков пнул ногой дверь комнаты и плашмя упал на пол. Коротков метнулся за стоявший слева шкаф. Басков не ожидал увидеть того, что увидел: Чистый, пригнувшись, враскоряку стоял на подоконнике, в проеме распахнутого окна, спиной к ним, готовый прыгнуть вниз. Все это была секунда, может, полсекунды. Басков, приподнявшись на левой руке, вскинул пистолет и выстрелил — в правое плечо. Чистого словно сдуло с подоконника, а снизу, с улицы, донесся протяжный звериный вой...

Басков увидел валявшийся на полу под окном расколовшийся горшок и черный ком земли с торчавшим из него кустиком аспарагуса, и с уже ненужной догадкой подумал, что это горшок загремел, когда Чистый открывал окно...

Они с Коротковым вместе перегнулись через подоконник, поглядели вниз. Чистый лежал на траве, лицом в небо и монотонно скулил. На запястьях у него были наручники. Над ним стояли лейтенант и сержант из ПМГ.

— Отпрыгался, — сказал Коротков.

— Шилов! — позвал Басков.

Марат пришел из кухни. Следом без зова явился Фокин.

— Ты, Шилов, останься... организуй тут... Замок, дверь... И вообще приборочку... — Басков оглянулся, словно ища, не забыл ли чего. — А мы поедем.

— Слушаюсь, товарищ майор! — крикнул Марат.

— Да тише ты. — Басков поморщился. — И так шуму подняли. На́ ключи, отвезешь Тарасовой, она ждет.

— И дырок понаделали — сквозняк будет, хозяйка простудится, — подначил Коротков.

Они втроем вышли на лестницу, и на площадке между третьим и вторым этажами Коротков что-то поднял, повертел в пальцах.

— Гляди-ка, твоя, — сказал он, протягивая Баскову желтовато-серый цилиндр с закругленным и слегка сплюснутым мыском. Это была пуля от ТТ.

Басков опустил ее в карман пиджака и тут только ощутил, как саднит бок.

Спустившись и обойдя дом, они увидели все три легковые, на которых сюда прибыли. Ремонтная летучка уже уехала.

Врач осматривал обнаженное плечо Чистого. Потом, открыв свой чемоданчик, достал шприц, ампулы и сделал ему укол в руку.

— Ну как? — спросил Басков.

— Сквозное, — ответил врач, бинтуя Чистому плечевой сустав. — Плечевая кость раздроблена в верхней трети.

— А что упал, ничего?

— Кажется, без последствий.

— Большой везун, — заметил Коротков. — Ему бы в «Спортлото» играть.

Чистый все скулил, лежа с закрытыми глазами.

— Давайте его в машину, а то простудится, — в тон Короткову сказал Басков. — «Скорую» не вызывали?

— Нет.

— Ну и хорошо. Поехали.

Фокин и Коротков подхватили Чистого и усадили на заднее сиденье «Волги» между собою. Врач хотел сесть на переднее сиденье в ту же машину, но Коротков остановил его:

— Там майора царапнуло малость. Вы бы, как мастер своего дела...

— Понял, — перебил его врач и сел во вторую «Волгу», рядом с Басковым.

Он осмотрел Баскова и сказал:

— Счастливый случай.

Рана уже не кровоточила. Врач смазал ее йодом, достал из чемодана шприц в стерильном чехольчике.

— А это чего? — Басков покосился на шприц. Он

терпеть не мог уколов, малодушно оправдывая себя популярным соображением: «А кто их любит?»

— Противостолбнячное и антигангренозное, — объяснил врач.

Сделав укол, врач пообещал:

— Сегодня через три часа — еще один противостолбнячный, а потом еще.

— А может, не надо?

— Непременно надо.

Басков посмотрел на часы. Было без десяти пять. С Колобовского они выехали в половине четвертого — значит, на все про все ушло час двадцать. Восемьдесят минут. А ему казалось, что перестрелка в квартире № 23 происходила во сне, который снился ему ну не менее как неделю назад.

— Трогай, Юра, — сказал Басков шоферу и взглянул на дом.

При Чистом оказалось четырнадцать с половиной тысяч рублей. Басков подсчитал: в Ленинграде они с Брысем оставили себе по три тысячи, а тринадцать Брысь отдал Шальневу для его сестры Ольги. У Брыся при аресте было две с половиной. Из совхозной кассы они унесли двадцать три. Значит, до Ленинграда и в Ленинграде потратили вместе четыре тысячи, а врозь — две. Что ж, для казны не так уж и плохо — заполучить обратно семнадцать тысяч, могло бы быть и хуже.

Но денежный вопрос, поскольку с ним все ясно, сам по себе больше не интересовал Баскова. То, что государству возвращается такая солидная часть украденного, радовало его из-за Балакина: на суде этот факт, безусловно, будет иметь значение. Он никак не мог вытравить в себе симпатию к вору, возникшую из рассказа Анатолия Ивановича Серегина, и желал ему только одного — чтобы срок был поменьше. Ну, пусть десять, пусть двенадцать лет... Лишь бы не высшая...

К Чистому у него не было ни капли жалости. Впервые за всю свою жизнь в угрозыске Басков испытывал чувство неприлично злорадное, но не поддающееся, как он ни старался, протестующим доводам разума, чувство, что вот он изловил человека, который заслуживает приговора на всю катушку и, может быть, услышит та-

кой приговор. И дело тут было вовсе не в том, что Чистый ранил его. Подумаешь, царапина...

На первом допросе Чистый пытался выкручиваться насчет ограбления кассы, валил все на Брыся.

— А куда вы девали черную перчатку со свинцовым блином? — спросил Басков, раздражаясь.

— Какие перчатки? — с улыбочкой удивился Чистый. — Лето же, гражданин начальник.

— А охранника вы чем по затылку ударили?

— Да что вы на меня вешаете! Какой охранник?!

— Хорошо, я сегодня же устрою вам очную ставку с Брысем.

Чистый вдруг сорвался в крик:

— Не надо! Не хочу! На кой мне эта пасть!

— А вот он очень бы хотел с вами встретиться, — не утерпел Басков, с отвращением ловя себя на том, что ему нравится панический страх Чистого перед Брысем.

Он сознавал, что эти слова имеют для Чистого один смысл, когда речь идет лишь об ограблении кассы, и приобретают совсем другой, более серьезный, если Чистый увидел в них намек на ограбление Шальнева. Похоже было на второе...

Чистый разыграл обморок, схватился за перевязанное плечо и сполз со стула.

Басков вызвал врача. Врач пришел, дал Чистому понюхать нашатыря и, пощупав пульс, сказал, что ни сердечного, ни другого какого приступа не наблюдается.

Басков понял, что не сумеет оставаться спокойным при допросе Чистого, и ему представилось унижительным и противным тратить на этого человекоподобного свои нервные клетки, которые, как известно даже эстрадным конференсье, не восстанавливаются.

— Вот что, — сказал Басков, — мне из вас по капле показания добывать не хочется. Давайте так: я сейчас кое-что спрошу, а вы прикиньте, чем следствие располагает. Думаю, всем станет легче.

— Валяйте, — развязно согласился Чистый.

— Первое. Из Ленинграда вы уехали с тремя тысячами. Откуда четырнадцать с половиной?

— Нашел.

— Ладно, это мы уточним. Второе: зачем вы положили в карман Шальневу паспорт Брыся? И зачем послали Зыкову три сотни от имени Брыся? Замазать его хотели?

Чистый даже головой покрутил.

— Ну, начальничек! А может, Брысь сам и подкинул? Ксива-то не моя, а Брыся.

Баскову вспомнилась его собственная мысль о таком витиеватом варианте, и он с интересом посмотрел на Чистого. Этот тип, оказывается, способен на иезуитские штучки. Выходит, именно на такой вариант он и рассчитывал?

— Хорошо, на эти вопросы можете не отвечать, это вам, как говорится, информация к размышлению, — сказал Басков, чувствуя раздражение. — А вот насчет перчатки советую не тянуть.

Перчатка нужна была Баскову до зарезу: для следствия и на суде она окажется самым убедительным вещественным доказательством в ряду прочих. Тут молчание не устраивало его.

— Где перчатка? — спросил он сквозь зубы.

Чистый ответил не сразу, а когда заговорил, Басков не узнал его тона.

— Шальнев живой?

— Тут я спрашиваю, а не вы. Где перчатка?

— Выбросил.

Баскову стало легче. Чистый, несмотря на свое иезуитство, вероятно, не шибко-то разбирается в основах судопроизводства, коль признался в существовании перчатки — орудия двух преступлений, совершенных им. Но это были пока лишь слова, от слов на суде и отказаться не поздно.

Однако у него есть еще один способ попробовать отыскать перчатку.

У Тарасовой обыска не производили, так как было установлено, что о деяниях Чистого она не имела никакого понятия, а кров ему предоставила, как она сама говорила Баскову, исключительно из дружеского отношения к Сомовой, по ее просьбе. Не спрятал ли Чистый свою перчатку у нее в квартире?

В тот же день Басков встретился с Антониной Тарасовой у нее на работе и попросил, когда придет домой, хорошенько поискать, нет ли среди ее вещей чего чужого, постороннего — он не сказал, что это может быть черная мужская перчатка с зашитым за подкладку свинцовым блином. И записал ей свой рабочий телефон.

Она позвонила вечером, и голос у нее был растерян-



ный, как в тот раз, когда Басков приезжал за ключами.

— Нашла, товарищ майор.

— Что нашли?

— Перчатка черная. Большая и страшно тяжелая. Что-то там вложено.

— Где она была?

— В шкафу стенном, на полке, наверху. Там у меня коробка с зимними сапожками. В голенище засунута.

— Прошу вас, Антонина Михайловна, сделайте вот что. Положите ее в коробку, как лежала, и поставьте коробку на место. — И, помолчав секунду, спросил: — Вы когда завтра работаете?

— Во вторую.

— Можете побыть до двенадцати дома?

— Конечно.

— Мы к вам заедем. Большой компанией. Вы уж не ругайте за беспокойство. Это в последний раз.

— Да нет, ничего...

На допрос Басков вызвал Чистого в девять часов утра.

— Прошу ответить только одно: где перчатка? — спросил он, когда Чистый сел.

— Не было никакой перчатки, — зло сказал Чистый.

— Вы же говорили — выбросили ее.

— Шутил. Хотел в лист вам сыграть, гражданин начальник, вижу, нравятся вам перчатки.

— Ну так вот, Чистый, сейчас поедem к Тарасовой, и вы покажете, где перчатка. В какой сапожок ее засунули.

Чистый хохотнул, но ничего не сказал. И Басков прибавил:

— А будете дурака ломать — мол, не моя, — так Брысь ее опознает... На очной ставке...

— Не надо очной ставки! — Чистого словно иглой кольнули.

— Так покажете?

— Чтоб я пропал! — Чистый выругался, помолчал, поднялся со стула и сказал: — Поехали, начальничек.

Через час жильцы дома в Бескудникове стали свидетелями не столь уж частого зрелища. Сначала у дома остановилась машина, в каких возят преступников. Затем подъехала «Волга», из нее появилась Тоша Тара-

сова в сопровождении интересного молодого мужчины, похожего вроде бы на кого-то из киноартистов. А из зеленой машины двое конвойных высадили долговязого верзилу, того, что прыгнул из окна на прошлой неделе. И все скрылись в подъезде.

Больше других повезло двум соседям Тарасовой, которых пригласили в понятые. После они много раз со всеми подробностями рассказывали, как тот, что похож на артиста, войдя в квартиру, попросил арестованного показать, где спрятана черная перчатка, как арестованный сам открыл стеной шкаф, попросил стул, встал на него, снял с верхней полки коробку, из коробки вынул бордового цвета дамский сапожок, а из сапожка — черную мужскую перчатку, как потом ее дали понятым подержать, и она оказалась очень тяжелая, килограмма два, не меньше, и как киноартист чуть подпорол подкладку и показал понятым, что в перчатке зашит свинцовый блин, и как в конце концов был составлен протокол, и его дали подписать понятым. А Тоша плакала, а когда арестованного повели вниз, она сказала: «Подлец! Боже, какой ужас!»

Уходя, Басков оглянулся и увидел на подоконнике в комнате нежно зеленевший в маленьком новом горшочке аспарагус — тот самый, что Чистый свалил на пол, когда открыл окно и собирался прыгнуть вниз...

## Глава XII || ЧТО ПРОИЗОШЛО НА БУЛЬВАРЕ КАРБЫЩЕВА

### РЕКОНСТРУКЦИЯ ПО ПОКАЗАНИЯМ ЧИСТОГО

Ему с самого начала не понравился этот каприз Брыся — поехать в Ленинград. Мужу под шестьдесят, и вдруг такие детские рыдания — захотелось повидать друга, которого знал еще до войны. Ну, понятно, не ради самого друга, а ради его сестры. Так и ехал бы прямо к ней, и при чем тут Ленинград? Но Чистый не имел права сказать поперек, потому что Брысь обеспечил ему жизнь после колонии, когда пригласил взять кассу в совхозе.

А вообще ему многое не нравилось в Брысе, например, полное отрицание разницы между понятиями «мое» и «твое». В глубине души Чистый презирал Брыся, но боялся его. Особенно противно было сознавать Чистому, что, несмотря на разницу в двадцать пять лет, Брысь был гораздо сильнее его физически, а Чистого бог силой не обидел.

Ленинградский дружок Брыся показался Чистому таким нулем во всех отношениях, что его тайное и самому непонятное презрение к Брысю сразу как бы получило объяснение — по принципу «скажи мне, кто твой друг...».

Чистый чутко прислушивался к разговорам Шальнева с Брысем и вначале только посмеивался над их старомодными слезами. Но когда понял, что Брысю словно шлея под хвост попала, Чистый озлился. Взятые деньги Брысь поделил поровну и сделал это по своей доброй воле, хотя был хозяин поделить по-другому. Чистый сказал, что принятое решение обратного хода не имеет, и, когда Брысь потребовал у него шесть с половиной тысяч для отдачи сестре Шальнева, Чистый скрипел зубами. Но что он мог поделаться? Он отдал деньги и затаил свой план.

Кое-чего о Шальневе и его сестре он наслышался от соседа, Кости Зыкова, и о сыне Шальнева тоже. А потом расспросил самого Шальнева — тот пьяненький был, все подробно рассказал. Главное — фамилию сына его Чистый узнал, а остальное, как говорится, дело техники.

Клял себя Чистый, что не сдержался однажды, когда Брысь уже отбыл, вырвалось у него, облаял Шальнева из-за денег, но в конце-то концов это пошло на пользу: совсем не мог подозревать его Шальнев после такой стычки.

Приехав в Москву и устроившись у Тоши Тарасовой, Чистый узнал через справочное бюро адрес Юрия Мучникова. Мысль запутать Брыся появилась у него еще в тот момент, когда Брысь отобрал у него деньги, а схема созрела по дороге в Москву. Насчет того, что по отпечаткам пальцев следствие обнаружит липу, он не сомневался, — само собой, обнаружит, но какое это имеет значение? Для следствия что он, что Брысь — разницы после совхозной кассы нет, но у Шальнева в кармане найдут паспорт Брыся, и пусть потом разби-

раются, как это получилось. Главное — время пройдет. Они, конечно, доберутся и до Зыкова, и тут надо устроить хорошую замазку. Отрывать от себя три сотни Чистому было мучительно, однако он счел нужным выдержать придуманную схему во всех деталях и послал Зыкову деньги от имени Брыся. А Шальневу отправил телеграмму от сына.

20 июля Чистый явился на проспект маршала Жукова утром в половине девятого, чтобы было без ошибки: Шальнев мог приехать из Ленинграда на «Красной стреле», а она приходит в Москву в восемь двадцать пять. Чистый устроился за павильончиком троллейбусной остановки напротив дома, где жили Мучниковы. Шальнев мимо его глаз никак пройти не мог.

Шальнев приехал на такси в начале десятого. Расплатившись и выйдя из машины, он закурил сигарету, поглядел, закинув голову, на окна дома, где обитал его сын, — видно, не раз глядел вот так, исподтишка, и раньше, — и пошел к будкам телефонов-автоматов. Звонил он долго, но, по всей видимости, бесполезно. Оставив телефон, Шальнев с обтерханным чемоданчиком в руке пошел в сторону Серебряного бора, не торопясь, низко опустив голову. Чистый следовал за ним по другой стороне проспекта, не боясь, что Шальнев заметит его.

Чистый был доволен собою: его схема сработала безотказно, этот малахольный Шальнев прискакал по первому свисту. И пожалуй, напрасно было рисковать — ездить сюда, в триста восьмое почтовое отделение, чтобы послать телеграмму. Наверняка не рассматривал Шальнев, откуда послано. Просто одурел от счастья...

Теперь нужно определить, при нем ли деньги, а если да, то где — в чемоданчике или в кармане? Шальнев был в новом костюме какого-то странного грязного цвета и, шагая под жарким уже солнцем, не снимал пиджака — может, потому, что в кармане тринадцать тысяч? Но карманы, как успел заметить Чистый, не оттопыриваются, а деньги ему дадены не сотенными купюрами, а помельче, в основном четвертными, тринадцать тысяч в карман не уложишь. Значит, в чемодане.

А вообще это не имело значения. Важно, что будет делать Шальнев дальше. От проспекта Жукова теперь уже Шальнева не оторвешь, пока он не встретится со

своим сыном или не поговорит с ним по телефону. Это ясно, и тут для Чистого была опасность. Узнает Шальнев, что сын никакой телеграммы не посылал, — настоится. Но что он может при этом подумать? Такому лопуху и в голову не придет, что его просто подловили, он сочинит для себя какую-нибудь душеспасительную историю.

До шести часов вечера Чистый, во всяком случае, мог не беспокоиться. Зинаида развела, хоть и артачилась, что сын Шальнева и его мать работают именно до шести, а бывшая теща Шальнева живет на даче. У Чистого даже мелькнула мысль, что квартиру Мучниковых при случае можно легко будет взять, но сейчас не до этого...

Шальнев остановился у табачного киоска, купил сигарет и зашагал дальше. Чистый сообразил, что, наверное, он собирается скоротать день в Серебряном бору, а туда еще топать и топать. Шальнев может сесть в двадцатый или двадцать первый троллейбус, и тогда Чистый его потеряет. Это было бы непростительно...

Чистый перешел на ту сторону проспекта, по которой шагал Шальнев, и стал ловить машину. Притормозила черная «Волга», и как раз вовремя — Шальнев, дойдя до троллейбусной остановки, стал в ожидании. «Командир, — сказал Чистый водителю, — минутку задержимся, не волнуйся, не обижу». Шальнев сел в подошедшую двадцатку. Чистый попросил водителя ехать за троллейбусом, не обгоняя.

Шальнев сошел на кругу в Серебряном бору. Расплатившись, Чистый не сразу покинул машину — посмотрел, куда Шальнев пойдет. Тот направился к зеленому дощатому забору на углу, над которым висела вывеска «Шашлычная». Но калитка в заборе была закрыта — рано еще, нет и десяти, а заведение начинает работу в одиннадцать. Шальнев двинулся прямо, по маршруту № 21, который вел к Москве-реке, и Чистый последовал за ним. Теперь он был спокоен: Шальнева потерять здесь невозможно. Чистый снял пиджак, во внутреннем кармане которого лежала тяжелая черная кожаная перчатка, и ощутил приятную прохладу...

Шальнев дошел до реки и сел в тени кустов, покурил. В одиннадцать поднялся и пошел обратно, к кругу. Чистый думал, что он приземлится в шашлычной, но Шальнев предпочел пельменную — она наискосок от

шашлычной, на другой стороне улицы, по которой ходит троллейбус № 21.

Он просидел там два часа. Что пил и ел, Чистому было неизвестно, однако он с удовлетворением отметил, что появился Шальнев из пельменной повеселевшим и бодрым. В полусотне метров от пельменной, на кругу, стояли будки телефонов-автоматов. Шальнев звонил минут десять, вернее, пробовал звонить, потому что ему никто не ответил, и Чистый из этого заключил, что ему известен только домашний телефон сына, а рабочего он не знает. Тоже к счастью...

От автоматов Шальнев вернулся в пельменную, и Чистый, проторчав на жаре еще два часа, начинал понемногу злиться, но осадил себя. Чем больше примет Шальнев спиртного, тем лучше. Вот если бы и самому пожрать, совсем бы хорошо, да не может он ни в пельменную зайти, ни в шашлычную, нельзя ни на минуту упускать Шальнева из-под контроля. И Чистый продолжал прогуливаться по песчаной дорожке для пешеходов, заменявшей тротуар на противоположной от пельменной стороне улицы...

Шальнев повторил вылазку к телефонам, но опять безрезультатно. А потом пошел к реке, но другим путем — мимо летнего кинотеатра. Сел на скамью у самой воды.

Солнце уже перевалило к западу, светило Шальневу в самую макушку, и он сидел как истукан и курил одну за одной сигареты. Чистый лежал в тени под соснами, и ему и то было жарко, а этот малахольный парился в своем идиотском костюме на самом солнцепеке, и хоть бы хны. Чистый чувствовал, как в нем наливается презрительная злоба, и ему не терпелось вот сию же минуту подойти к Шальневу, дать ему по морде, отобрать чемоданчик и спокойно уйти... Но нельзя. Кругом люди, и по берегу гуляют, и под соснами, да и лодочная станция рядом, а там милиция — это Чистому было известно, он Серебряный бор знал вдоль и поперек.

В шесть часов вечера Шальнев пошел на круг и снова попытался звонить, и снова ему никто не ответил. Тогда он побрел, опустив голову, через мост на проспект Жукова и в половине седьмого зашел в ресторан «Серебряный бор». Он просидел там до десяти, но пять раз спускался и звонил по телефону-автомату, по-прежнему

напрасно. И каждый раз в руке у него был серый фибровый чемоданчик, из чего Чистый наконец точно вывел, что деньги в чемоданчике. И только это немного смиряло созревшую в нем ненависть к Шальневу — ненависть за все: за бесцельное шатание, за понурый вид, даже за неспособность понять свое идиотское положение.

В десять Шальнев, к удивлению Чистого, не очень-то пьяный, вышел из ресторана, кажется, окончательно. Опять позвонил и отправился в сторону Беговой улицы. Но, погуляв часик, вернулся к ресторану, поднялся наверх.

У Чистого все дрожало внутри от злобы. Единственное утешало его: еще минут двадцать, полчаса — и он с этим покончит.

Народу на проспекте уже почти не было. Троллейбусы шли пустые. Чистый решил подправить свой план и завершить дело здесь, сейчас...

Шальнев вышел раньше, чем он рассчитывал. Чистый подумал: «Перехватил в буфете», — и пошел следом за Шальневым, направлявшимся к асфальтовой ленте проспекта. На ходу он достал из кармана перчатку и надел ее на руку. Можно было бы ударить тут же, но сквер перед рестораном — слишком открытое место и прохожие все-таки есть.

Опасаясь, что Шальнев захочет взять такси или «левого», Чистый нагнал его на тротуаре и сказал в спину:

— Минутку, Игорь Андреевич.

Тот, как кукла, дернул головой от неожиданности, обернулся и спросил:

— Кто это?

— Не узнаете?

Шальнев взгляделся.

— А-а, Митя. Чем могу служить? — Он уже не удивлялся, как будто все так и должно быть.

Чистого покорежило от такого идиотизма.

— Вот что, Игорь Андреевич, ваш друг Брысь раздумал насчет денег.

— Не понимаю. — Шальнев обнял чемоданчик обеими руками, прижал к себе.

— Он поручил мне взять деньги обратно.

— Я вам не верю, что за чепуха!

— Вы потише, вон люди ходят, — сказал Чистый сквозь зубы. — Не верите — не надо. Он сам вас ждет, вон там. — Чистый показал на бульвар Карбышева.

Шальнев растерялся. Чистый взял его левой рукой, без перчатки, под локоть.

— Идем.

Он перевел Шальнева через проспект, они прошли по бульвару — прямо по траве — метров сто, потом немного по дорожке. На ходу Чистый огляделся. Вокруг не было ни души.

В темной полосе, куда не достигал свет редких уличных светильников, Чистый ударил Шальнева по затылку, вложив в этот удар всю накопившуюся за день злобу. Оттащив его под куст и опустив спиной на землю, он нанес такой же страшный удар по лицу. Потом открыл чемоданчик, нащупал под тряпками три толстые пачки. Сунул их себе в карманы. Затем обшарил карманы Шальнева и забрал все, кроме носового платка, а во внутренний карман пиджака положил Шальневу паспорт Брыся.

Сняв и спрятав перчатку за пазуху, подрубаху, Чистый вышел на проспект. Он был спокоен, он был уверен, что Шальневу не жить. Скоро подошел троллейбус, Чистый доехал до метро «Беговая», спустился, сделал пересадку на Красной Пресне, вышел у Белорусского, а там, постояв в очереди, сел в такси и отправился в Бескудниково, к Тоше Тарасовой, где его ждала Зинаида...

### *Глава XIII* || СОН ШАЛЬНЕВА

Его сознание медленно выплывало из тьмы, как выплывает человек с большой глубины сквозь толщу мутной воды на поверхность. Он еще не прорвал ту колеблющуюся и всегда одинаково тонкую пленку, которая разделяет воду и воздух. Но он уже начал видеть сны. Врач знал это: глаза Шальнева, вернее, его глазные яблоки, прикрытые фиолетовыми веками, стали как бы крутиться и днем и вечером.

Шальнева вынули из гамака и положили на постель. Его стали кормить куриным бульоном с ложечки, и при



этом сестра, женщина лет тридцати, с мощными ласковыми руками, поддерживала его под затылок, а ему, только выползавшему из беспамятства, казалось иногда, что его поднимают в гору, где воздух пахнет цветами.

Потом включилось зрение. Однажды утром свет солнца прорвался через его закрытые веки, как через плотную штору, и в голове у него вспыхнула звезда, и лучи ее острыми стрелами пронзили его глаза. И он проснулся, и впервые после того страшного вечера на бульваре Карбышева ему посветила надежда — вот он жив еще и, может быть, будет жить, хоть немного.

Он позвал тихо:

— Кто-нибудь...

Сестра как раз стояла рядом, за головой у него. Она сказала:

— Значит, в порядке.

И дала выпить из рюмки какую-то жидкость.

Он совсем поднялся на поверхность из своей темной глубины и спросил:

— Где я?

Сестра погладила его по щеке и сказала:

— Вы были очень далеко, но сейчас вы в больнице.

— А деньги? — спросил он.

Сестра не поняла, потому что ничего не знала ни о деньгах, ни о том, что произошло на бульваре Карбышева.

— Какие деньги? — недоуменно спросила она.

И тут включилось в жизнь все его сознание, и он понял, что сестра ничего не знает, и спросил:

— Я сюда не сам пришел?

— Вас привезли, — сказала она.

Шальнев приподнялся на локте, посмотрел на нее улыбкой и сказал:

— А вы можете познакомить меня с человеком, который меня сюда привез?

— Я его не знаю, — сказал сестра. — Майор Басков из милиции все время интересуется вами.

— Так позовите этого майора.

— Сейчас позвоню.

Сестра вышла из палаты, а Шальнев уснул. И увидел он сон, сон о своем первом бое. У этого сна не было никакой логической связи с тем, что произошло на

бульваре Карбышева, но Шальнев смотрел его, и сердце у него билось часто и сильно.

Вот что он видел.

...Минуло всего каких-нибудь пять часов с тех пор, как их — сто человек пополнения — разбили на группы и торопливо развели по наступавшим ротам.

А Игорю Шальневу казалось, что прошло уже много времени: вместе с другими он успел пробежать через несколько деревень, несчетное число раз он падал и вставал, автоматически повинаясь хриплому голосу, принадлежавшему, вероятно, командиру взвода или роты. Шальнев так громко кричал «ура», что совсем потерял голос и уже не слышал себя. Но он ни разу еще не выстрелил, потому что не видел, в кого стрелять, не видел стрелявшего врага, хотя несколько раз безотчетно отмечал краем глаза, как в наступавшей цепи падал то один, то другой и оставались лежать на белом снегу.

И вот бой остановился. Цепь лежала в редком кустарнике. Позади, метрах в ста, ритмично, через одинаковые промежутки, ухали взрывы: это бросал мины «скрипач» — шестиствольный немецкий миномет. Впереди было чистое ровное снежное поле, упиравшееся в продолговатый коричневый холм.

А когда цепь вышла из кустарника и продвинулась вперед на десяток шагов, на холме судорожно засверкали огоньки. Цепь сразу залегла: били крупнокалиберные пулеметы. Когда бежали, Игорь Шальнев видел, как у его соседа, высокого парня с бледным лицом, за спиной словно выросли крылья — это клочьями взметнулась растерзанная шинель: пуля была разрывная.

Цепь лежала. Огоньки на холме погасли. Игорь Шальнев руками, по-собачьи, разгреб заледеневшую корку впереди себя, ткнулся лицом вниз, машинально следил, как от его дыхания рыхлеет, превращаясь в кристаллики, снег. Он чувствовал усталость, хотелось спать. И пришла вдруг мысль: вот сейчас, очень скоро, все двинется вперед, а он останется. Может, его ранило, может, убило?

Но тут кто-то подполз к нему справа. Игорь Шальнев повернул голову. Рядом в таком же положении прилег какой-то солдат. Лицо у него было немолодое, хитроватое лицо.

— Вот попали, — тихо, как будто опасаясь, что его услышат другие, сказал солдат.

Игорь Шальнев неожиданно для себя вздохнул, коротко, словно всхлипнул, и отвернулся.

— Неважное наше дело, а? — переходя на шепот, сказал солдат.

Игорь Шальнев молчал. «Скрипач» перенес огонь, и взрывы мин сзади заметно приблизились. Игорю Шальневу сделалось не по себе от голоса солдата, но он все молчал.

— Хорошо, кто не боится, — сказал солдат.

Раздражение медленно накаливалось в душе у Шальнева. Он повернулся к солдату и посмотрел на него презрительно. Тот спрятал свое хитроватое лицо в снег и дернул плечами.

Шальнев зло прошептал:

— И без тебя тошно.

— Страшно. И сам, поди, боишься, — не поднимая головы, заметил солдат.

Шальнев толкнул солдата в плечо.

— Слушай, давай вместе держаться...

Сказав так, Шальнев почувствовал себя сильнее и как-то взрослее этого пожилого солдата. Так было однажды в детстве, когда он и еще два его друга-приятеля заблудились в лесу и проплутали до ночи. Шальнев очень боялся, но только до тех пор, пока не боялись или делали вид, что не боялись, его приятели. Но когда выяснилось, что им тоже страшно, собственный страх у него исчез. И они выбрались тогда из леса, наверное, только потому, что Игорь Шальнев вдруг почувствовал себя взрослым среди этих дрожавших в темноте парнишек...

Хриплый голос крикнул:

— Вперед!

Шальнев посмотрел на соседа — тот лежал, по-прежнему уткнувшись лицом в снег.

И справа и слева солдаты короткими перебежками продвигались к холму. Холм пока молчал...

Шальнев тронул соседа рукой за плечо.

— Давай!

— Подожди, — сказал солдат спокойно и без страха.

Шальнев обозлился.

— Вставай, говорю! — И ткнул солдата прикладом в бок.

Они встали вместе.

Снова сухими огоньками засверкал коричневый холм. Но Шальнев уже не видел ничего, он следил только за тем, чтобы солдат не отставал от него.

Вдвоем они продвигались не короткими перебежками, а в полный рост, не пригибаясь.

Добежав до холма, Шальнев впервые увидел врагов, стрелявших в наступавшую цепь, и впервые сам стал стрелять.

Они заняли большую станцию. Она была всего в каких-нибудь двадцати километрах от Пулковских высот, откуда начал свой путь Игорь Шальнев, но ему казалось, что он прошел под огнем по меньшей мере полгода...

Скоро приехали кухни. Был густой, как каша, рисовый суп со свиной тушенкой. Шальнев поел, вычистил котелок снегом и, закулив, подошел к двум разговаривавшим между собою солдатам.

Они были постарше Шальнева. Вероятно, не из пополнения, как он, а уже старые солдаты полка. Шальневу хотелось познакомиться с кем-нибудь из старых.

— Здорово, гвардейцы! — бойко сказал он.

— Здорово, если не шутишь, — ответил один из них, с аккуратными усами, и посмотрел на Шальнева.

— Что скажешь? — спросил другой.

В эту минуту Шальнев заметил того самого солдата, которого он вел в атаку на холм. Солдат стоял, окруженный молодыми ребятами из пополнения, и что-то рассказывал им.

«Видно, он забыл свой страх там, перед холмом», — подумал Шальнев и сказал:

— Гляди, как хорохорится мужик!

— Кто? — спросил усатый.

Шальнев показал.

— Ну и что?

Шальнев красочно рассказал все, что случилось на снегу перед коричневым холмом, и закончил так:

— А сейчас вон какой смелый!

Солдаты, слушавшие его, переглянулись, и тот, что был с усами, спросил:

— Слушай, война, ты давно в полку?

— С нынешнего дня, а что?

Солдаты расхохотались.

— А то, — сказал усатый, — этот самый мужик в нашем полку второй год, а в нашей роте с лета парт-

оргом. Хотя мы тут почти все беспартийные. Пока только комсомольцы...

Шальнев усталился на парторга. Тот заметил его, оставил ребят и подошел.

— Ну что, парень, держаться возле тебя или не надо?

Шальнев, глядя на носки своих сапог, ответил:

— Пожалуй, больше не надо.

И он подумал, что, наверное, у парторга в детстве был такой же случай, как у него, когда он с приятелями заблудился в лесу...

Следователь Степанов, которому Басков передал Чистого и Брыся, сказал полушутя-полусерьезно:

— Всех переловил, радоваться надо, а ты что-то, брат, невесел.

— Всех не переловишь, — механически отшутился Басков, а сам подумал, что Степанов угадал: невесело.

У Баскова были дела и пострашнее, и видел он негодяев омерзительнее Чистого, и истинно благородных людей, так же не приспособленных к жизни, как Игорь Андреевич Шальнев, но умевших постоять за себя в трудную минуту.

Он трезво сознавал специфику своей работы: сыщик на то и сыщик, чтобы ходить по стопам преступников и ощущать их смрадное дыхание. Но он не переносил пороки и вожделения своих подопечных противников на все человечество.

Распутывая дело Брыся — Чистого, он прикоснулся к вещам, о которых прежде не ведал, и это хоть немного, но все же обогатило его опыт. Он подружился с полковником Серегиным, которого глубоко уважал, и ему блеснул издалека свет простой души — няньки Матрены, отраженный памятью знавших ее.

Так отчего же невесело ему?

Устал, конечно, в отпуск пора. Но это, так сказать, обычная годовая цикличность. Нет, не в том причина...

Басков не принадлежал к числу тех, кто, рассмеявшись, тут же себя суеверно одергивает: «Ох, не к добру, не было б беды». Зато, когда ему было безмотивно тоскливо, он непременно доискивался до мотива и всегда его находил. А сейчас не получалось...

Может, жалость заговорила в нем — жалость к

Шальневу, к его изломанной судьбе? Отчасти. Но Шальнев и сам повинен в том, что с ним приключилось, не надо быть таким размазней в пятьдесят с лишним лет.

Может, горчит осадок, оставшийся в сердце от общения с не преступившими закона, но не менее несимпатичными Баскову, чем преступники, личностями — Зыковым и Ниной Матвеевной Мучниковой? Опять-таки отчасти.

«Не мудри, — сказал себе Басков. — Жизнь есть жизнь. И не всегда тебе должно быть весело».

## СОДЕРЖАНИЕ

Скатерть на траве. Повесть . . . . .	3
Три черепахи. Роман . . . . .	87

**Шмелев О. М.**

**Ш 72** Три черепахи. — М.: Мол. гвардия, 1984. — 271 с. — (Стрела).

В пер.: 1 р. 10 к. 100 000 экз.

Книга состоит из двух произведений. Повесть «Скатерть на траве» — о судьбе человека, который не сумел в трудный для себя час проявить твердость воли, пошел на сделку с собственной совестью и окончил жизнь трагически.

В остросюжетном романе «Три черепахи» рассказывается о друзьях, которые росли в одной среде, но судьба их сложилась так, что в зрелые годы они оказались на совершенно разных позициях. Книга должна послужить делу воспитания молодых людей в духе честного отношения к своим обязанностям перед обществом.

**Ш** 4702010200—092  
078(02)—84 Без объявл.

**ББК 84Р7**  
**Р2**

ИБ № 4080

**Олег Михайлович Шмелев**

**ТРИ ЧЕРЕПАХИ**

Редактор **Н. Притулина**

Рецензент **С. Высоцкий**

Художник **Х. Нуриманов**

Художественный редактор **Б. Федотов**

Технический редактор **Г. Прохорова**

Корректоры **Т. Песнова, Е. Сахарова**

Сдано в набор 03.11.83. Подписано в печать 14.03.84. А00641. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 14,28. Условн. кр.-отт. 14,9. Учетно-изд. л. 14,9. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 10 к. Заказ 1742.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Суцневская, 21.



Scan Kreyder - 27.05.2018 - STERLITAMAK

**Олег Михайлович Шмелев родился в 1924 году в Московской области.**

**В 1942 году призван на флот. Служил в отряде подводного плавания Балтийского флота, затем в стрелковых частях Ленинградского фронта. Участвовал в боях, был дважды ранен. Награжден медалью «За отвагу» и другими медалями.**

**Демобилизовавшись в 1945 году, в январе 1946 года поступил в газету «Комсомольская правда». Несколько лет работал в Издательстве иностранной литературы, с декабря 1952 года — в редакции журнала «Огонек».**

**О. Шмелев написал книги «Ошибка резидента», «Возвращение резидента»; «Знакомый почерк» (в соавторстве с В. Востоковым), по которым на студии имени Горького и на «Мосфильме» поставлены кинокартины. Он автор многих повестей, рассказов и очерков, публиковавшихся в центральных журналах и выходивших отдельными изданиями.**